

# Счастье-

В ПРОЗЕ И СТИХАХ

*Дмитрий  
Быков*

*Наринэ  
Абгарян*

*Евгений  
Водолазкин*

*Марина  
Степнова*

*Дмитрий  
Воденников*

*Анна  
Матвеева*

*Сергей  
Шаргунов*

*Ана  
Вагнер*

*Александр  
Тенис*

# какое!

СОСТАВИТЕЛЬ **МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ**

*Счастье-*

**ТО**

**В ПРОЗЕ И СТИХАХ**

*какое!*

СОСТАВИТЕЛЬ **МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ**



Издательство  
АСТ

Издательство

**АСТ**

Москва

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
С93

Составители *Майя Кучерская, Алла Шлыкова*

Художник *Андрей Рыбаков*

Издательство благодарит литературные агентства  
“Banke, Goumen & Smirnova” и “Elkost Intl”  
за содействие в приобретении прав

С93 **Счастье-то какое! В прозе и стихах / Сост. Майя Кучерская, Алла Шлыкова. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. — 429, [3] с. — (Русский рассказ).**

ISBN 978-5-17-107201-8

«Милости просим. Заходите в пестрый мир нового русского счастья... Вы и сами не заметите, как в погоне за его призраком окажетесь в сладком уединении, в чужом городе — однако ненадолго; как поколотите замучившего всех гада, как будете ждать рождения нового человека, как встретите брата из армии, жадными ложками будете глотать свадебный торт, запивая испанским хересом, — словом, заживете жизнью героев всех помещенных в сборнике историй».

В сборник вошли новые рассказы известных писателей (Н.Абгарян, М.Степновой, А.Гениса, М.Москвиной, Е.Бабушкина и многих других), стихотворения М.Степановой, К.Капович, П.Барсковой, С.Гандлевского, Л.Оборина, Д.Воденникова, Д.Быкова, а также лучшая проза выпускников Школы литературного мастерства “Creative Writing School”.

УДК 821.161.1-32

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Н.Ю.Абгарян, Е.А.Бабушкин,  
П.Ю.Барскова и др., 2018.

© Составление, оформление.

ООО «Издательство АСТ», 2018.

ISBN 978-5-17-107201-8

## Содержание

- Майя Кучерская** Счастливо значит долго 7
- Дмитрий Быков** Счастье 15
- Марина Степнова** Эфир 19
- Наринз Абгарян** Ангелы 37
- Марина Вишневецкая** Что есть счастье 49
- Анна Матвеева** Ида и вуэльта 57
- Ксения Букша** Я – Максим 75
- Катя Капович** Бабочка огонь перелетела 89
- Евгения Некрасова** Лакшми 93
- Сергей Носов** Судьба 117
- Ирина Жукова** На счастье 125
- Полина Барскова** Вещь, полезная для злых и добрых 133
- Тимур Валитов** Новая земля 137



- Сергей Шаргунов** Ты – моя находка 147
- Дмитрий Воденников** Повторяй за мной 159
- Евгений Водолазкин** Детский сад 163
- Сергей Гандлевский** Счастье есть 175
- Татьяна Кокусева** Дерись! 181
- Ярослава Пулинович** Кредит 191
- Игорь Сахновский** Аленький цветочек 219
- Екатерина Златорунская** Голубое или розовое 227
- Алексей Слаповский** Новая жизнь 237
- Михаил Кузнецов** Мне не страшно 289
- Лев Оборин** Движение по прямой 307
- Евгения Костинская** Совы на руках 311
- Мария Степанова** Золотое зеркало 319
- Александра Шевелева** Шопен 325
- Яна Вагнер** Один нормальный день 331
- Евгений Бабушкин** Сказка про серебро 355
- Матвей Булавин** Безмятежность 361
- Марина Москвина** Глория мунди 377
- Александр Генис** Уколы счастья 417

Об авторах 426

# Майя Кучерская

## Счастливо значит долго

### Вместо предисловия

Известный историк раннего кино Юрий Цивьян ввел замечательное понятие: *Russian endings*, русские финалы. Цивьян обнаружил: фильмы, сделанные в России и рассчитанные на нашу аудиторию, обычно завершались трагически, но в тех же самых фильмах, предназначенных на экспорт, конец нередко изменялся с печального на счастливый. Русская версия картины «Рукою матери» Якова Протазанова, например, венчалась гибелью героини и гробом, американская — неожиданным спасением бедной Лидочки.

«Несчастные» русские финалы в черно-белом кино стали логичным продолжением печальных финалов, отлично освоенных русской литературой. Начиная с «Бедной Лизы» Карамзина, русская словесность исполняла нескончаемую погребальную песнь по счастью, из романа в роман, из пьесы в пьесу оплакивая раннюю смерть или гибель героев, заламывая руки над абсолютной невозможностью любить любимых и никакими силами неотменимой нуждой оставаться с постылыми. Исключения, редкие и словно бы случайные, только усиливали этот общий поминальный настрой.

## Мая Кучерская

Хелпи-энд — это не про нас, русская литература лучше всего умеет рыдать. Изредка строить утопии из алюминия и стекла, смешные и нежизнеспособные. В крайнем случае рассказывать об озарениях, которые вполне заменяют пережившим их героям счастье; а поскольку к этому особенно склонны лучшие наши авторы, то прозрения в русской прозе получаются действительно сильными. Живой колеблющийся глобус Пьера Безухова, звездное небо Алёши Карамазова, не говоря уж о небе с ползущими облаками Андрея Болконского. Но и это почти всегда — довольно странное счастье, как правило, полученное ценой довольно ощутимых утрат.

Неужели описание полноценного, спокойного счастья — действительно экзотика для русской литературы? Неужели счастье на русском языке невозможно? Так думала я каждый раз, открывая очередной русский роман и замирая: может быть, здесь?

Вот очередной. Герой влюблен, очарован, наконец-то он дозрел до подлинной глубины чувства, и вот он гуляет в любовной горячке вокруг *ее* дома, тут и *она* выходит в сад. Они сталкиваются.

Повезло-то! Встретил в полночь ту самую, о которой мечтал, вот она перед тобой, в ночном саду, выкрикни ей поскорее: люблю! А он выкаркивает, выхаркивает, еле-еле:

«— Я не думал прийти сюда, — начал он, — меня привело... Я... я... я люблю вас, — произнес он с невольным ужасом».

С ужасом. Еще бы, наконец-то влюбился всерьез, может ли быть что-то ужаснее?

Что же она? Рада, улыбается ему? Разумеется, нет! Тоже ужасается и плачет. Юная, красивая, ясная вступает в рассвет своей женской жизни, полюбил добрый, порядочный, благородный человек, чего ж еще? Но нет.

«Он встал и сел подле нее на скамейку. Она уже не плакала и внимательно глядела на него своими влажными глазами.

— Мне страшно; что это мы делаем? — повторила она.

— Я вас люблю, — проговорил он снова, — я готов отдать вам всю жизнь мою.

## Счастливо значит долго

Она опять вздрогнула, как будто ее что-то ужалило, и подняла взоры к небу.

— Это всё в божьей власти, — промолвила она.

— Но вы меня любите, Лиза? Мы будем счастливы?

Она опустила глаза; он тихо привлек ее к себе, и голова ее упала к нему на плечо... Он отклонил немного свою голову и коснулся ее бледных губ».

«Дворянское гнездо» Тургенева. Вместо сцены обретения полноты — сцена почти изнасилования. Изнасилования счастьем, которое тургеневским девушкам не нужно даром.

И не только тургеневским. Один знаменитый роман целиком теме счастья посвящен.

Вот Анна Каренина возвращается из Москвы, где ей удалось помирить Долли и Стиву, параллельно расколов мир Кити и навсегда пленив Вронского. В поезде Анна читает роман. Это английский роман. Ей хочется жить жизнью его героев, делать всё то же, что они, — ухаживать за больными, скакать на лошади. Но чем дальше, тем Анне делается беспокойнее.

«Герой романа уже начал достигать своего английского счастья, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого. Но чего же ему стыдно? “Чего же мне стыдно?” — спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было».

Было, было стыдное! Счастье. Счастье стыдно. Тем более английское, оскорбительно низкое, материальное, с баронетством и имением.

Потому и Вронский, добившись, наконец, от Анны того, чего желал целый год, восклицая, что она жизнь его, что теперь достигнуто именно оно (о наконец-то!), счастье, слышит в ответ:

«Какое счастье! — с отвращением и ужасом сказала она, и ужас невольно сообщился ему. — Ради бога, ни слова, ни слова больше».

## Майя Кучерская

В осуществлении желания, в соединении двух любящих людей один только ужас, отвращение. Но именование Воздвиженское Вронский и Анна, подобно героям читанного в поезде романа, все-таки обустроют, и на английский манер, с щегольством и роскошью; Анна даже признается приехавшей к ней в Воздвиженское Долли, что «счастлива до неприличия». Впрочем, и это вскоре обернется мороком, самообманом, а там и «угасшей свечой».

Вот и разгадка феномена русских финалов. Вот почему вскоре тот же закон переместился в кино. Русские по-другому не понимают и не чувствуют. Так что когда американцы и европейцы под титры ликовали, радовались соединению возлюбленных, внезапному наследству, прощению, преображению, освобождению героев от всех бед и невзгод, русские испытывали катарсис, наблюдая, как главный герой умирает, а любящие друг друга люди разъезжаются навсегда. В мгновение счастья обязательно заколачивался гвоздь.

Формула этой любви скрыта в стихотворении Батюшкова, посвятившего свой текст как раз Аркадии счастливой и жившей в ней пастушке.

Подруги милые! в беспечности игривой  
Под плясовой напев вы рѣзвитесь в лугах.  
И я, как вы, жила в Аркадии счастливой;  
И я, на утре дней, в сих рощах и лугах  
Минутны радости вкусила:  
Любовь в мечтах златых мне счастье сулила;  
Но что ж досталось мне в прекрасных сих местах?  
Могила!

Но, вопреки очевидному, мне отчего-то по-прежнему хотелось прочесть, наконец, истории на русском языке — о счастье, не лубочном, не украденном на два часа, а глубоком, долгом, свободном, безбрежном, без крышек и могил. И пусть любимый русскими авторами механизм, который они ошибочно связывали кто с христианской системой ценностей, кто с закона-

## Счастливо значит долго

ми бытия — «счастье надо заслужить», — наконец хряпнет и сломается, потому что он ложь, обман, сужение бесконечности неба. Ничего не надо заслуживать. Бог милостив. Радуйся и веселись. И еще мне хотелось понять, какое же оно, наше русское счастье сейчас, сегодня, в XXI веке. При каких условиях и в каких пределах возможно.

Так и родился этот сборник.

Вместе с Редакцией Елены Шубиной мы попросили современных авторов написать рассказ или эссе про счастье. А чтобы картина получилась полноцветной, обратились не только к известным, но и совсем к молодым писателям, в том числе выпускникам литературной школы Creative Writing School, которой я руковожу. Нам подумалось, может быть, у непоротого поколения со счастьем дело обстоит иначе? И конечно, пригласили поэтов.

И — поразительно! — получилось.

Легче всего про счастье говорить, разумеется, стихотворцам. Им же не говорить — петь, курлыкать, а поется про счастье проще.

Однако и многие авторы прозаических текстов рассказали о счастье так, как, кажется, прежде о нем не говорили.

Милости просим. Заходите в пестрый мир нового русского счастья вместе с нами. Вы и сами не заметите, как в погоне за его призраком окажетесь в сладком уединении, в чужом городе — однако ненадолго, как поколотите замучившего всех гада, как будете дышать паром в гладильной туберкулезного диспансера, как с перехваченным от ужаса горлом будете ждать рождения нового человека, как испытаете отчаяние перед входом в детский сад, встретите брата из армии, жадными ложками будете глотать розовый свадебный торт, запивая испанским хересом, — словом, заживете жизнью героев всех помещенных в сборнике историй и из всех переделок внезапно вынырнете счастливым. Потому что эти рассказы действительно про счастье. Даже удивительно, как всем авторам удалось передать это ощущение, ощущение реальности и абсолютной возможности счастья. Может быть, секрет здесь в множественности этих возможностей.

## Майя Кучерская

Счастье — это когда ты живой. Ешь борщ из щавеля, смотришь красивый фильм, дышишь. Потому что жизнь — трудная, сплетенная из разлук, боли, утрат — дар.

Счастье — это когда ты взрослый и отвечаешь за себя.

Счастье — это движение вперед.

Счастье — это когда ты спокоен.

Счастье — это внутренняя трезвость.

Счастье — когда ты любишь, ну, конечно.

Счастье — это иногда укол, мгновение, но оно может оказаться длиной в жизнь, оно запросто может стать синонимом «долго», да-да, как совсем в другом варианте русского финала: жили они долго и счастливо.

Счастливо = долго.

*Счастье-то  
какое!*



# Дмитрий Быков

## Счастье

### 1.

Старое, а в чем-то новое  
чувство начала февраля,  
Небо серое, потом лиловое,  
крупный снег идет из фонаря.

Но ясно по наклону почерка,  
что всё пошло за перевал,  
Напор ослаб, завод кончился,  
я пережил, перезимовал.

Лети, снег, лети, вода замерзшая,  
посвети, фонарь, позолоти.  
Всё еще нахмурено, наморщено,  
но худшее уже позади.

## Дмитрий Быков

И сколько ни выпади, ни вытеки —  
все равно сроки истекли.

(Я вам клянусь: никакой политики,  
это пейзажные стихи.)

Лети, щекочущее крошево, гладь лицо,  
касайся волос.

Ты слышишь — всё кончено, всё кончено,  
отпраздновалось, надорвалось.

Прощай, я пережил тебя, прости меня,  
всё было так бело и черно,  
Я прожил тут самое противное и вел себя,  
в общем, ничего.

Снег, снег, в сумятицу спущусь твою,  
пройду, куда все еще спят, —  
И главное, я чувствую, чувствую,  
как моя жизнь пошла на спад.

Теперь бы и жить, чего проще-то,  
довольно я ждал и горевал, —  
Но ясно по наклону почерка,  
что всё идет за перевал.

Кружится блестящее, плавное,  
подобное веретену.  
При мне свершилось тайное, главное,  
до явного я не дотяну.

## Счастье

Бессонница. Ночь фиолетова.  
Но я еще наплюсь, наплюсь.  
Всё вверх пойдет от снегопада этого,  
а жизнь моя — на спуск, на спуск.

Нравится мне это испытание  
на разрыв души моей самой.  
Нравится мне это сочетание,  
нравится до дрожи, Боже мой.

## 2.

Но почему-то очень часто  
в припадке хмурого родства  
Мне видится как образ счастья  
твой мокрый пригород, Москва.  
Дожливый вечер, вечно осень,  
дворы в окурках и листве,  
Уютно очень, грязно очень,  
спокойно очень, как во сне.  
Люблю названья этих станций,  
их креозотный, теплый чад —  
В них нету ветра дальних странствий,  
они наречьями звучат,  
Подобьем облака ночного  
объяв бессонную Москву:  
Как вы живете? Одинцово,  
бескудниково я живу.  
Поток натруженного люда  
и безысходного труда,  
И падать некуда оттуда,

## Дмитрий Быков

и не подняться никуда.  
Нахлынет сон, и веки тяжки,  
и руки — только покажи  
Дворы, дожди, пятиэтажки,  
пятиэтажки, гаражи.  
Ведь счастье — для души и тела —  
не в переменах и езде,  
А в чувстве полноты, предела,  
и это чувство тут везде.  
Отходит с криком электричка,  
уносит музыку свою:  
Сегодня пятница, отлично,  
два дня покоя, как в раю,  
Толпа проходит молчаливо,  
стук замирает вдалеке,  
Темнеет, можно выпить пива  
в пристанционном кабаке,  
Размякнуть, сбросить груз недели,  
в тепло туманное войти —  
Всё на границе, на пределе,  
в полуживотном забытьи;  
И дождь идет такой смиренный,  
и мир так тускло озарен —  
Каким манком, какой сиреной  
меня заманивает он?  
Всё неприютно, некрасиво,  
неприбрано, несправедливо,  
ни холодно, ни горячо,  
Погода дрянь, дрянное пиво,  
а счастье подлинное, чо.

# Марина Степнова

## Эфир

Утром 31 марта 1870 года стало ясно, что до вечера Надежда Александровна Борятинская не доживет.

Это понимали все — и князь, и Танюшка, и терпеливо дремлющий в гостиной батюшка, уже дважды соборовавший не заметившую этого страдальицу, и петербургский доктор, месяц проживший в доме, но так и оставшийся безымянным, чужим. Попрятались по им одним известным закоулкам и углам сбитые с толку, напуганные слуги, и сам дом застыл, сжался, словно готовился к удару извне. Только сад шумел как ни в чем не бывало — мокрый, черный, веселый, словно лаком залитый гладким солнечным светом. Сад чавкал жидкой грязью, шуршал недавно вернувшимися грачами, то и дело встряхивался, роняя огромные радостные капли.

Набирался сил.

И Надежда Александровна, слушая этот влажный радостный заоконный шелест и переплеск, единственная не знала, что умирает.

## Марина Степнова

Она рожала вторые сутки и последние несколько часов уже не чувствовала боли, потому что наконец вся находилась внутри нее, как будто в сердцевине тонкого, докрасна раскаленного, жидкого шара, который всё выдувал и выдувал из трубки громадный меднорукий ремесленник из Мурано, и всякий раз, когда шар, медленно поворачиваясь, вспыхивал огненным и золотым, Надежда Александровна изумленно всплескивала руками и, забыв приличия, всё тянула за рукав молодого мужа, который вдруг, в незамеченный ею момент, превратился в отца и взял восхищенную маленькую Наденьку на руки, а стеклодув всё округлял херувимно щеки, усердствуя, и густой стеклянный пузырь становился больше и больше, так что Наденька и боялась, что он лопнет, и хотела этого. Сквозь тягучее и алое изредка мелькали чьи-то лица, неузнаваемые, далекие, чужие, а потом отец тоже исчез, и Надежда Александровна, жмурясь от жара, осталась внутри огненного шара одна.

Нет, не одна, это она теперь держала на руках ребенка — девочку лет пяти, горячую, необыкновенно тяжелую, и девочка эта непостижимым образом была и ее дочь, и она сама. Девочка подпрыгивала, тянулась к чему-то, чего Надежда Александровна не видела и не могла, но всякий раз, когда мягкие детские кудряшки, подхваченные рдеющими шелковыми лентами, касались ее щеки, испытывала острую, долгую судорогу счастья.

В том, что Борятинская умирала и не знала об этом, было великое милосердие, громадный и ясный промысел, который она ощущала так же верно, как тяжесть ребенка, сидящего на ее правой руке, и тот же промысел переполнял живительными соками мокрый сад за окном, и только шум этого пробуждающегося весеннего сада и держал еще Наде-

жду Александровну в этом мире, точнее — она держалась за этот шум, будто за прохладную, немного влажную ладонь кого-то самого важного в жизни, родного.

Вся эта громадная, напряженная жизнь умирания никак не была видна снаружи, и для всех вокруг Надежда Александровна, измученная, с плоским, серым лицом, просто лежала у себя в спальне, придавленная громадным, изредка шевелящимся животом, и каждые четверть часа кричала так ужасно, что в сотне шагов от дома лошади в конюшне шараялись, будто от выстрела, и копытами выбивали из стен сочную щепу. Постель под Надеждой Александровной, холодную, тяжелую, промокшую от пота насквозь, переменяли тоже каждую четверть часа — и весь страх был в том, что эта четверть часа, отмерявшая промежутки от одной муки до другой, не менялась, не уменьшалась, хотя должна была. Это все понимали, даже нерожалая Танюшка, самолично перестилавшая гладкие простыни, ладонью проверявшая каждую складочку на очередной сорочке — чтобы не заломилась, не дай Бог, не принесла лишней боли.

Зареванная так, что едва видела свет сквозь глянцевые слипшиеся напухшие веки, Танюшка все эти страшные дни не пила, не ела, выходила из спальни княгини только для того, чтобы шикнуть на ошалелую от усталости прислугу, но сквозь непритворную, по жилкам распускающую жалость все-таки тихо гордилась тем, что всего-то ее стараниями у господ напасено вдоволь — и простыней, и полотенец, и салфеток. Уж, кажется, десятками, сотнями изводили, а в лавандой надушенных шкафах всё не убывало, и на кухне вторые сутки дрожала в медных котлах тихая густая вода: одно полешко добавишь — в минуту закипит, и даже сыты в доме эти дни все были ее, Танюшкиными, умелыми

## Марина Степнова

незаметными распоряжениями. Ненавидела себя за гордыню эту греховную. Чего только ни перепробовала — и молитву преподобному Алексею, человеку Божьему, по молитвослову вычитывала, и под коленкой себя до синевы щипала, — а всё равно гордилась. А еще — нет-нет да и выгадывала — быстро, будто кусок со стола воровала, — что и как будет, когда... Князь ведь — и года не пройдет как заново женится. И конец всему тогда — власти, покою, уважению. Как бы и вовсе из дому не попросили. А то и самой наперед уйти, не унижаться. Да куда только? Ведь с тринадцати годков при барышне. Всю свою жизнь ей под ножки белые положила. Танюшка взывала внутри себя, низко, жутко, густо — ыыыы! Тыкалась в край только что перестеленной постели, искала губами хозяйкину руку, но пальцы, прежде бесчувственно стиснутые, в полдень 31 марта вдруг ускользнули — побежали суетливо по одеялу, по простыням, пригладили волосы, затеребили на рукавах сорочки кружева и мережки, будто готовясь к близкой уже, немислимо важной встрече.

Надежда Александровна обиралась.

Танюшка присмотрелась — и завыла уже в голос, открыто, забыв про подлые свои мысли — от животной, невозможной жалости; и словно в ответ, закричала, корчась от новой бесполезной схватки, Надежда Александровна — и на двойной этот крик сорвался с кушетки в своем кабинете Борятинский, от отчаяния за эти дни совершенно оцепеневший, прибежал, колыхая чревом, батюшка, грохнула хрупкую стопу фарфора ошалелая кухарка, загомонили, сталкиваясь, слуги — кончается, ой, помилуйгосподи, кончается-а-а-а-а!!! И даже на гладком голубоватом лице доктора мелькнуло что-то вроде человеческого чувства.



Потрудитесь посторониться, господа, да господа же! вы мешаете мне осмотреть больную!

За всеобщей бессмысленной суматохой никто не заметил, как хлопнула входная, парадная дверь. Хлопнула — и снова распахнулась, да так и осталась полуоткрытой. А когда хватились — кто входил? кто выходил? — ничего так и не добились, и на полу не было ни следочка — ни человеческого, ни звериного, только пара прошлогодних листьев лежала на мраморной плитке — ссохшихся, будто обугленных, завернувшихся по краям.

Это смерть вошла наконец в дом.

Тронула занавеси. Подышала на зеркала. Поднялась, не касаясь перил, наверх. Заглянула во все комнаты — тихая, милосердная. Шум очень мешал ей, и свет, и человеческий ужас, и суета. Смерть нуждалась в темноте и в укромности, но не хотела мучить Надежду Александровну до самой ночи. Она вообще не хотела мучить. Да, пожалуй, и не могла. Мучила жизнь. Смерть даровала только покой. Потому в два часа пополудни, когда смерть окончательно заполнила дом, заснули все — и челядь, и господа, и кухаркин любимец кенарь, и даже собаки. Свалились, кто где стоял и сидел, — намучившиеся, измаявшиеся от чужого страдания без всякой меры. И даже сад застыл у окна Надежды Александровны, приподнявшись на цыпочки и боясь шелохнуться.

Борятинская внутри своего шара прикрыла уставшие от потустороннего жара глаза. Она больше не видела ничего снаружи — стеклянные стенки стремительно густели, застывали, становясь непроницаемыми, а девочка, которую она держала, становилась всё тяжелее и тяжелее, брыкала толстыми ножками, вырывалась. Но Надежда Алексан-

## Марина Степнова

дровна почему-то знала, что отпустить ребенка нельзя, невозможно, и потому прижимала девочку к себе всё крепче и крепче, пытаясь укачать — шшш, ааа, шшш, ааа.

Петербургский доктор, единственный человек в доме, который не заснул, не подчинился смерти и даже, кажется, не заметил ее, наклонился к Борятинской, прислушался к короткому, стонущему дыханию.

Шшш, ааа, шшш, ааа.

Схватки не прекратились, но Надежда Александровна больше не кричала — и ему это не нравилось. Честно говоря, в усадьбе с нелепым именем Анна ему не нравилось всё — и старый неловкий дом, и такая же старая неловкая роженица, осмелившаяся взяться за труд, не всегда посильный и для молодых здоровых женщин, и князь, целый месяц изводивший его своими ипохондриями. Даже воистину непристойный гонорар, который доктор заломил за свой приезд, теперь не радовал, а раздражал безмерно. Он бы давно отказался и уехал, порекомендовав княгиню любому согласившемуся коллеге, но не учел того, что весна в Петербурге и в провинции отличалась столь же сильно, как нравы и моды. Март, в столице звонкий и гладкий от последних морозов, в Воронежской губернии обернулся сущим бедствием. В считанные дни мягко, почти беззвучно открылись реки, туман аккуратнo, споро, будто кот простоквашу, подожрал осевший снег — и всё разбухло, полезло через край, могучее, непристойное, живое. Жирная сытная воронежская грязь попросту заперла доктора в усадьбе — и до обитаемого мира было не добраться ни вплавь, ни на лошадях, ни пешком.

Доктор достал акушерскую трубку — гладкую, деревянную, еще раз сложился циркульно, выслушивая огромный

живой живот. Маленькое сердце внутри билось сильно и ровно, но уже немного чаще, чем нужно. Ребенок был жив и хотел родиться. Он был готов. И мог. Но мать не пускала его. Здравый смысл, долг и руководство к изучению женских болезней Китера наперебой требовали немедленно произвести кесарево сечение и извлечь ребенка из утробы, но — доктор еще раз приложил трубку к животу Борятинской, пробежал чуткими пальцами по болезненно натянутой коже — было поздно. Слишком поздно. Головка уже вошла в лонное сочленение. Ребенок оказался в ловушке. Еще пара часов, и он начнет задыхаться. А потом умрет. Сначала мать. А после он.

И это будет долгая смерть. Очень долгая. И страшная.

Доктор представил себе ребенка, заживо погребенного внутри мертвой матери, и передернул горлом. Сын своего века, он вырос под мрачные рассказы о воскресших в могиле покойниках и больше загробных мук, больше порки даже, в детстве боялся летаргии.

Оставались, конечно, шипцы. Старые добрые шипцы Симпсона. Но он их забыл. Забыл. Оставил в Петербурге. В кабинете. В правом верхнем ящике стола. Идиот! Нет, дважды идиот — потому что обнаружил это только сегодня утром, беспощадно выпотрошив весь багаж. Книги. Подтяжки. Исподнее. Носовые платки. Хрустнувшая под подошвой любимая лупа. Даже если бы послать за шипцами (куда? в Воронеж? за девяносто с гаком верст?) было возможно теоретически, всё равно — поздно. А уж по грязи этой несусветной...

Сад за плотно занавешенным окном шумно встряхнулся — словно злорадно хохотнул — и швырнул в стекло пригоршню громких капель.

## Марина Степнова

Доктор посмотрел на Борятинскую с ненавистью. Если бы эта благородная немочь согласилась ему помочь! Если бы потрудилась хоть немного потужиться!

Ваше сиятельство!

Шшш, ааа, шшш, ааа.

Девочка наконец перестала вырываться, положила на плечо Борятинской горячую тяжелую голову и затихла. Сейчас заснет наконец, слава Богу. Борятинская попыталась пересадить ребенка поудобнее, но не смогла — правая рука была совсем мертвая, деревянная. И такой же мертвый, деревянный был теперь воздух вокруг. Радостные жаркие переливы ушли, стало заметно темнее и прохладнее.

Шар стремительно остывал. Мир Борятинской тоже.

Вот и хорошо. Видишь, солнышко село. Танюша наша гардины задернула. Спи, ангел мой. Спи. И мама тоже немного поспит.

Шшш, ааа, шшш, ааа.

Вы меня слышите, ваше сиятельство?

Борятинская молчала. От носа к губам неторопливо ползла синюшная тень. Схватка, недолгая, как рябь по воде, еще раз смяла распластанное на постели тело. Доктор машинально сверился с часами — вместо четверти часа прошло двадцать минут. Не хочет больше рожать. Не может. Устала. Провалилась всю жизнь в мягких креслах — и устала!

Доктор открыл саквояж, достал тяжелую темную склянку. Потянул было из кармана платок, но передумал. Поискал глазами — да вот же! — и подобрал с пола тонкое смятое полотенце. Зубами выдернул тугую пробку — стекло неприятно скрипнуло на зубах, холодком обожгло пересохший

## Эфир

рот. В комнате запахло — резко, сладко, сильно. Доктор, стараясь не дышать носом, прижал горлышко флакона к сложенному вчетверо полотенцу.

Он не был первым и не собирался. Первыми были, к сожалению, другие. Впервые новорожденного, явившегося миру под эфирным наркозом, принял еще двадцать с лишним лет назад Джеймс Симпсон, шотландский гинеколог, выдающейся смелости нахал, великий выскочка, которого акушеры всего мира почитали как Бога, а попы едва не сожрали живьем. Ибо умножая умножу печали твоя и зачатие твое, и в болезнях родиши чада. В тех первых эфирных родах младенец умер. Девочка. Девочек почему-то не так жалко. Симпсон тогда поставил на хлороформ — и преуспел. В 1853 году под хлороформным наркозом родила своего седьмого ребенка, принца Леопольда, сама королева Виктория — и муки первородного греха в Европе отменились практически официально. Но до России всё доходило медленно, слишком медленно. Даже самые знатные пациентки доктора предпочитали рожать чада в предначертанных страданиях. Потому наркоза — ни эфирного, ни хлороформного — он не давал ни разу в жизни. Только читал в «Ланцете», как это делали другие.

Хлороформа у него, впрочем, всё равно не было. Как щипцов. И хоть малейшей уверенности в том, что он поступает правильно.

Полотенце наконец пропиталось эфиром полностью. Доктор медленно закупорил почти опустевший флакон. Конечно, ему следовало заручиться согласием. Мужа. Самой пациентки. Перечислить риски. Выслушать сомнения. Хотя бы спросить. Но спрашивать было некого. Доктор представил себе, как он долго будит камердинера их сия-

## Марина Степнова

тельства, который только и смеет тревожить священный хозяйский сон, и как их сиятельство так же долго отказываются просыпаться, а потом еще дольше занимаются туалетом и кушают свой кофий, потому что светские приличия не позволяют князю быть на людях неприбранным и несвежим, зато прекрасно позволяют его жене умереть в глуши только потому, что этот старый дурак не соизволил отвезти ее рожать в Петербург.

Надежда Александровна!

Доктор вдруг понял, что едва ли не впервые называет свою пациентку по имени — это тоже запрещали светские приличия, условности, липкие, как паутина, и такие же невидимые. Он был человеком второго сорта. Здесь, в этом доме. И вообще. Место в самом дальнем углу стола. Если к столу вообще приглашали. Да, его помощи искали, его советами не осмеливались пренебрегать. В конце концов, его боялись и даже ненавидели — как полномочного представителя смерти, обладающего правом отсрочки приговора. Но даже всё это вместе не давало ему права считаться порядочным человеком.

Доктор взвесил полотенце на ладони.

Что ж, пусть. По крайней мере, он хотя бы попытается.

Надежда Александровна. Старайтесь дышать глубже и ничего не бойтесь. Я дам вам наркоз.

Борятинская чуть приподняла брови, будто изумляясь такой дерзости. Синяя тень залила ее лицо почти полностью — тень смерти, которая давно вошла в комнату и стояла у кровати, сострадательно наклонясь.

Доктор вдохнул всей грудью, словно наркоз предназначался ему самому, и прижал к лицу Надежды Александровны тяжелое от эфира, ледяное полотенце.

Десять. Девять. Восемь.

Шар лопнул разом, весь — пошел хрустящими трещинами, как утренний ледок под неосторожной стопой, но вместо грязной густой воды сквозь осколки хлынул свет, такой нестерпимый, что Надежда Александровна вскрикнула, зажмурясь, и почти сразу же поняла, что потеряла ребенка.

Семь. Шесть. Пять.

Девочки нигде не было, хотя Надежда Александровна была уверена, что не разжимала рук, скрюченных от многочасовой усталости. Она бы и не могла бы их разжать, пожалуй — не сумела физически, но девочки не было. Не было! Дочки! Ее дочки. Борятинская завертелась внутри безжалостного света — ослепленная, обескураженная, моргая голыми мокрыми веками.

Господи! Не вижу. Не вижу ничего. Отчего так светло?!

Она хотела позвать — но не знала как. Имя ребенка, которое она давно выбрала сама и твердо помнила еще несколько минут назад, ускользало, вместо него зудело в голове имя давно выросшей Лизы, и Борятинская отмахнулась от него, как от назойливой осы.

Не Лиза, нет.

Как?!

Перед глазами плыли, сливаясь, алые и черные пятна.

Мама! Мама-а-а-а-а!

Надежда Александровна, совсем уже слепая, вскинулась, побежала на этот крик, натываясь руками на какие-то голые ветки, — вокруг всё хрустело, рушилось, рвалось, лопались невидимые плотные пленки, а девочка всё звала откуда-то из глубины холодного сладкого света — мама! мама!

И вдруг Борятинская вспомнила.

## Марина Степнова

Наташа! — закричала она в ответ — и свет разом погас.

И только в темноте, такой же непроницаемой, как свет, детский голос сказал отчетливо и сердито:

Не Наташа. А Туся.

Где-то далеко хлопнула дверь — и весенний сквознячок тотчас нежно и торопливо ткнулся в Надежду Александровну упругими холодными губами. Приложился ко лбу, к векам — будто приласкался.

Это смерть — поняла Надежда Александровна без всякого страха.

Дверь хлопнула еще раз.

Закрылась.

После этого осталась только темнота.

\* \* \*

Когда князь наконец проснулся — последним в доме вынырнув из короткого дневного морока, всё было кончено. В спальне жены гомонили, и он поспешил на этот шум, боясь вслушаться (неужто плачут? Исусе! Помилуй и обнеси!). Рванул дверь на себя, запрыгал испуганными глазами — опрокинутый таз, мокрые простыни, доктор, ожесточенно копающийся в саквояже, — руки так и ходят от крупной дрожи, князь машинально отметил — будто после боя — и тут же забыл, потому что увидел Наденьку, слава Богу, живую. Она сидела в постели, остро подняв обтянутые измятой сорочкой колени, и, странно наклонив голову, смотрела куда-то вниз. Волосы, светлые, прекрасные, сбились за эти дни в большой колтун, который пыталась разобрать зареванная еще пуше прежнего Танюшка, при-



читая про косыньки мои косыньки, да неужто отрезать придется?

Вот кто выл, значит. Старая дура!

Ma chère âme!\*

Надежда Александровна отвела Танюшкины руки, будто лезущую в глаза назойливую ветку, и подняла на Борятинского глаза — почти черные от огромных, плавающих зрачков.

Тссс! — сказала она строго. Тссс! Поди вон! Ты не смеешь... Нет-нет, иди ближе! Я... Мне надо тебе сказать.

Она так странно, с особым усердием складывала неловкие, словно онемелые губы, так старалась смотреть Борятинскому прямо в глаза, что князю на мгновение показалось, что жена его мертвецки пьяна, — мысль настолько дикая, что он и додумать ее не посмел.

Я умерла! — сказала Борятинская звонко. — Умерла. Со всем.

Борятинский беспомощно посмотрел на доктора. Точно — пьяна. Надралась почище гвардейского ротмистра. Или свихнулась?

Доктор, не поднимая головы, продолжал копать в саквояже.

И мне было видение. Я всё знаю теперь. Всё! Да что ты стоишь? Подойди же!

Борятинский подошел, осторожно, будто жена могла кинуться на него, повел даже носом, но нет — в комнате пахло только потом, запекающейся, умирающей кровью — будто правда после боя, и чем-то еще — свежим и сладким.

Смысл жизни теперь открыт мне. Вот, смотри!

\* Душа моя! (фр.)

## Марина Степнова

Надежда Александровна опустила колени — на животе у нее лежал, кривя беззвучный ротик, крепким поленцем спеленутый ребенок, краснолицый, сморщенный и жуткий, как все новорожденные.

Je le trouve adorable, cet enfant-là!\*

Это не мальчик. Это Туся. Моя дочь. Она и есть смысл всего.

Лицо Борятинской исковеркала, почти изуродовала судорога счастья.

Борятинский снова посмотрел на доктора. Тот шелкнул наконец застежкой саквояжа. Распрямился. Руки у него больше не дрожали. Наконец.

Mon Dieu, qu'est-ce qu'il lui arrive? Je\*\*... Я... Я не понимаю. Это горячка?

Опомнившись, что совершил бестактность, князь перешел на русский, приличествующий в разговоре с людьми другого круга, и доктор, сильно покраснев, ответил по-французски, с правильным, хотя и немного деревянным выговором.

Их сиятельство и младенец здоровы. Это результат... — доктор замялся на мгновение, — чрезмерного напряжения и долгих родов. Через несколько часов всё будет благополучно. — Доктор вдруг вздернул голову и потребовал почти оскорбительно резко: — Извольте распорядиться, чтобы мне дали лошадей. Мои услуги в этом доме больше не требуются. Я возвращаюсь в Петербург.

Князь невнимательно кивнул, он смотрел на Надежду Александровну. Надежда Александровна не отрывала глаз

\* Я нахожу этого мальчика очаровательным! (фр.)

\*\* Боже, что с ней случилось? Я... (фр.)

от ребенка — это был новый узор их жизни, отныне и на долгие годы, навсегда, просто Борятинский еще не догадывался об этом.

Главное, Наденька была жива и здорова, здорова и жива.

Доктор сумел вырваться из раскисшей в грязи Анны только через сутки, но до Петербурга так и не добрался, хотя истратил большую часть своего баснословного гонорара на то, чтобы подхлестнуть смелость самых беспутных и отчаявшихся местных ямщиков. По-нильски щедро разлившийся Икорец всё равно пришлось преодолевать то волоком, то по пояс в густой черной жиже, вполне уже русской — безжалостной, цепкой, ледяной.

Боже милостивый, как же холодно! Холодно! Как болит голова!

Он потерял сознание в пяти верстах от Воронежа, успев распорядиться, чтобы его непременно отвезли в больницу. Боялся тифа, заразы, э-э-пидемии только н-не хватало. Оказалось — пневмония, от которой доктор и умер спустя три дня в просторной воронежской земской губернской больнице, в полном и ясном рассудке — человеческом и медицинском, на руках у старшего врача, Константина Васильевича Федяевского.

Последними его земными словами были: «Не хочу в эту грязь. Отдайте всё науке».

Федяевский, человек сердобольный и деятельный (что и позволило ему в итоге сделать блестящую общественную карьеру), волю коллеги выполнил — и самолично разъял тело петербургского доктора на препараты, на которых, как мыслил Федяевский, молодые воронежские лекари должны были восполнять недостаток практического образования.

## Марина Степнова

Однако то ли Федяевский (вообще-то офтальмолог) оказался скверным гистологом, то ли бездушные местные сторожа не вынесли долгого соседства с сосудами, полными спирта, но спустя несколько лет образцы были признаны безвозвратно испорченными и отправлены на свалку (Господь милостив — жаркую, летнюю, сухую). И только череп доктора, желтоватый, ладный, с безупречным зубным рядом, жил еще долго-долго, потому что Константин Васильевич Федяевский из уважения к коллеге (впрочем, понятого довольно превратно) оставил его у себя и хранил на столе в кабинете. Федяевский даже советовался с черепом в сложных случаях — не из суеверия, а всё из того же уважения, которое со временем переродилось просто в странноватую привычку.

В 1895 году к Федяевскому в Воронеж захала Туся, двадцатипятилетняя, энергичная, ненадолго увлекшаяся общественной жизнью (Федяевский только что открыл в Малышево школу для крестьянских детей, Туся хотела такую же — в Анне), и весь десятиминутный визит, во время которого Федяевский, пуша ухоженную бороду, сыпал восторженными трюизмами, машинально поглаживала лежащий на столе череп своего физического восприемника — маленькой крепкой рукой, затянутой в смуглую горячую лайку.

Совпадение, невозможное в романе, но такое обыкновенное в человеческой жизни.

К слову сказать о пользе просвещения, любезнейшая Наталья Владимировна, череп сей принадлежал счастливейшему из смертных, эскулапу, который даже смерть свою сумел обратить на пользу науки. Звали его...

Федяевский запнулся, припоминая, и Туся, воспользовавшись паузой, прервала наскучивший разговор. В экипа-

## Эфир

же она понюхала перчатку и, сморщившись, бросила ее на мостовую.

Эфир! Не выношу этот запах.

А Федяевский, маясь, как от зубной боли, расхаживал по кабинету еще несколько часов, пока не выудил-таки из немолодой уже памяти имя петербургского доктора.

Михаил Павлович Литуновский.

Вот как его звали.

Действительно — счастливейший из смертных.

## Наринэ Абгарян Ангелы

Больничный коридор — безликий и долгий тянулся мимо палат и процедурных кабинетов, огибал углы и путался в закутах, натыкался на медицинское оборудование и тележки со сменным бельем, старательно их обходил и тек дальше, мимо скамеек, мимо кадок с фикусами и выставленных аккуратным рядом кресел на колесах — если присмотреться, на боку каждого можно разглядеть нарисованное мелом сердце — к посту дежурных медсестер. Обогнув пост и резко повернув налево, коридор выбирался к просторному, занятому паутинным декабрьским сумраком лифтовому холлу, перейдя который пропадал в лабиринтах соседнего отделения.

Тоня которой уже раз подмечала опостылевшую обстановку клиники: тускло-рассеянное свечение потолочных ламп, обвешанные гладкими картинами серые стены, надменные металлические двери с простыми пластиковыми ручками, смотрящимися на стальном так же нелепо, как де-

## Наринз Абгарян

шевые пуговицы на дорогом осеннем пальто. Желтоватое покрытие пола украшал ломкий узор — если идти, не фокусируя внимания, а словно бы скользя взглядом поверх, кажется, что под ногами — водная рябь.

Тоня ступала по этой ряби коломенской купчихой, чуть откинувшись назад и вздернув нос, прижимала к груди сумку с припасами — неизменный куриный бульон, овощи на пару, клюквенный морс, яблоки. От больничной еды привычно отказались — мать уже много лет обходилась без сахара и соли, да и к пище, приготовленной чужими руками, относилась с недоверием, потому никогда не посещала ресторанов и даже в приснопамятные девяностые, когда очередь к первому «Макдоналдсу» змеилась аж до концертного зала Чайковского, желания хотя бы заглянуть туда не выказала и дочь не пустила — затопчут! Тоня сходила с одноклассниками и потом рассказывала взахлеб о бургерах и шоколадном коктейле: мамочка, это невозможная вкуснотища, ты такого никогда не пробовала, сходи, ну пожалуйста! Мать отчитывать ее за то, что ослушалась, не стала, только пожала плечом — ну и травись, раз охота!

— Один раз живем! — отмахнулась Тоня и, вспомнив о лекарствах, забеспокоилась: — Ты таблетки приняла?

Мать всю жизнь маялась сердцем: врожденный порок, поздние роды, усугубившие положение, инфаркт в сорок лет, второй — в пятьдесят пять. После смерти бабушки, ушедшей, когда Тоне едва исполнилось двенадцать, она могла рассчитывать только на заботу дочери — из родных рядом никого не осталось, одни перебрались в Америку, другие давно оборвали общение — большой город, нелегкая жизнь, со своими проблемами бы справиться. Тоня до боли любила и беспокоилась за мать, ухаживала самозабвенно

и преданно. Водила по врачам, строго следила, чтобы она принимала лекарства, настаивала на ежегодной госпитализации — к середине осени у нее всегда начинало скакать давление, справиться с которым без специального наблюдения не удавалось.

Отца Тоня не знала. Мать сначала отмахивалась от ее расспросов, а однажды, посчитав, что дочь достаточно выросла, чтобы всё верно понять, призналась, что родила от женатого коллеги, никакой любви, простая договоренность, он здоровый, красивый, и дети у него хорошие, я и попросила... Она оборвала себя, замялась, отвела взгляд.

— Переспать, — подсказала Тоня.

— От него не убыло, а мне счастья прибавилось, — улыбнулась мать.

Тоня говорить ничего не стала, но потом заперлась в ванной комнате и вдоволь наплакалась — она отлично знала цену, которую пришлось заплатить за такое счастье. Решиться с непростым пороком сердца на роды не всякая сможет, но мать на это пошла, невзирая на строгий запрет кардиологов. На учет встала на четвертом месяце, из страха, что если покажется раньше — заставят избавиться от плода. Прележала на сохранении оставшийся срок, родила здоровую девочку, но надорвалась так, что через полгода получила первый инфаркт. Чудом выкарабкалась — в те времена о стентировании ничего не знали; если больные и выживали после обширного сердечного приступа, то только чудом.

Тоне было четырнадцать лет, когда мать заработала свой второй инфаркт, безысходный, тяжелейший. К счастью, «скорая» отвезла ее не в заштатную клинику, а в одну из ведущих, и попала она не к слабому специалисту, а к светилу Давиду Иоселиани. Он ее и спас, буквально вытащил с того



## Наринз Абгарян

света. Мать, очнувшись после наркоза, еле ворочая распухшим языком и мучаясь от накатывающих приступов боли, прошептала Тоне, которую, сжалившись над ее мольбами, пустили ненадолго в реанимационное отделение, что, кажется, умерла и на несколько секунд оказалась в раю. Тоня глотала слезы, наблюдая, буквально впитывая глазами резко осунувшееся мертвенно-бледное ее лицо, потемневшие пергаментные веки, капельки пота на лбу. Приподняла простынь, заметила расплзшееся под голым бедром пятно, побежала за медсестрой, чтобы попросить перестелить. «Видно, катетер не до конца ввели», — хлопнула себя та по бокам и заспешила в палату. Обратного Тоню не пустили, и она всю ночь просидела в приемном отделении, ушла под самое утро — вымотанная, со слипающимися глазами, но не домой, а в школу, где ее ждала контрольная по тригонометрии, пропустить которую было нельзя.

За высоким бортиком поста дежурных медсестер маячил край колпака, «только бы не Соболевская», взмолилась Тоня и ускорила шаг, но проскочить незамеченной не смогла — колпак вздрогнул и вынырнул из-за светлой перегородки.

— Здравствуйте, Мария Львовна, — скороговоркой поздоровалась Тоня и, навесив на лицо непроницаемое выражение, заторопилась мимо.

— Что несем? — каркнула вместо приветствия Соболевская.

Еще два шага — и дежурный пост остался бы позади, Тоня могла притвориться, что не расслышала вопроса, но делать этого не стала, памятуя о въедливом характере старшей медсестры, которую терпеть не могла за категорич-

ность и откровенную нахрапистость. Бабушка о таких говорила — совесть под каблуком, а стыд под подошвой. «Чтоб тебя жабы понадкусывали!» — в сердцах прошептав под нос ее любимое ругательство, Тоня вернулась к стойке и со стуком поставила на нее сумку. Соболевская хмыкнула, но возмущаться не стала, расстегнула молнию, нырнула туда носом, пошарила короткими толстыми пальцами — на безымянном блеснул кровавым круглый рубин в пошлом червонном золоте, ювелирная совковая штамповка. «Вылитая жаба», — со злым удовлетворением подумала Тоня, отметив про себя дряблосе, обсыпанное возрастными пятнами лицо медсестры, близорукие, в вечном прищуре, бесцветные глаза и заметный пушок над верхней губой — подобно многим женщинам с примесью восточной крови, Соболевская старела стремительно и безвозвратно, навсегда растрачивая свою когда-то яркую и сочную красоту.

— Бульон куриный? — любопытствовала она, ткнув пальцем в прозрачный термос с нежно-золотистой жидкостью. Тоня растерялась, поймав насмешливый взгляд Соболевской — та смотрела так, словно прочитала ее мысли.

— Да! — ответила она, и, предвосхищая следующий вопрос, с поспешностью добавила: — Курицу брала, где вы советовали.

— Ладно, иди, — разрешила Соболевская и, почесав лоб под колпаком, уселась на место.

Тоне, которой пришлось через полгорода тащиться в Марьину Рошу за курицей, нестерпимо захотелось ее уязвить.

— Это магазин вашего родственника? — спросила она и сразу же застыдилась своей бесцеремонности — в конце концов, ее туда не под дулом пистолета повели, сама пошла.

## Наринз Абгарян

Соболевская вздернула в недоумении бровь.

— Какого родственника?

— Ну, кошерных продуктовых в Москве немало, я и подумала, что вы меня специально в тот отправили, чтобы... — Тоня стушеввалась, но упорно гнула свою линию, — чтобы вашему родственнику прибыль была.

— Иди к матери, — вздохнула Соболевская, — да смотри не расстраивай ее завихрениями своего пытливого ума: мы ей давление с вечера сбить не можем.

Тоня, позабыв обо всем, побежала в палату.

Перед тем как выйти, Антон с Вадиком заглянули попрощаться. Тоня лежала на боку, накрыв голову подушкой, и пыталась приноровиться к мучительной боли, ледяным панцирем затянувшей лоб и левый висок.

— Не отпускает? — спросил Антон, плотно придвигая края задернутых штор таким образом, чтоб не осталось даже малейшего просвета. Тоня приподняла край подушки, слабо помотала головой и сразу же скривилась — к горлу резко подступила тошнота. Она задержала дыхание, унимая дурноту, но на всякий случай подвинулась к краю кровати, чтобы можно было сразу подняться, если возникнет надобность бежать в ванную.

Вадик погладил ее по затылку — неловко, против роста волос, спросил срывающимся, сладко пахнущим какао и вафлями — Антон не стал затеваться с овсянкой — шепотом:

— Мамочка, ты же попгавишься?

Тоня нашарила его руку, поцеловала в горячую ладонь.

— Конечно! Мигрень — это так, ерунда. К вечеру буду как новенькая. Веришь?

Вадик ткнулся круглым лбом ей в щеку — вею! У Тони зашипало в носу, она шмыгнула и, чмокнув сына, снова накрылась подушкой.

Антон поставил на прикроватную тумбочку стакан с водой, пододвинул блистер с таблетками.

— Ты бы меньше плакала, родная.

— Хорошо.

Тоня подождала, пока за ними закроется дверь, — и заскулила — тонко и беспросветно. Вот уже две недели как нет мамы. Нет и не будет уже никогда, и с этим нужно что-то делать и как-то жить, ходить, работать, дышать. За день до ухода, словно зная, что времени осталось совсем мало, она снова завела разговор о привидевшемся ей потусторонье, Тоня суеверно хотела отмахнуться, но не рискнула перечить, да и Соболевская бы не дала — они с матерью подружились, и теперь каждую свободную минуту та проводила в ее палате, раздражая своим непрошеным присутствием Тоню, не желающую допускать в личное, лелеемое годами живое пространство отношений матери и дочери кого-то постороннего.

— Зачем она постоянно ошивается у тебя?! — шипела она вслед медсестре, когда та покидала палату.

— Не ревнуй, пожалуйста, — просила мать.

— Не ревную, мне просто неуютно в ее присутствии!

— Она хорошая и умная, и с ней есть о чем поговорить, когда тебя нет рядом.

— Ты же знаешь, у меня Антон и Вадик...

— Что ты, дочка, я же не в укор. Не обижай меня оправданиями, — мать улыбнулась и легко коснулась ее щеки.

В тот оказавшийся последним день она снова вспоминала причудлившийся ей рай: буйство невиданных цветов, зву-

## Наринз Абгарян

чание невообразимо прекрасной музыки, ангелов-великанов, что встречали ее у врат: «Мы ведь думаем, что они маленькие, а они ростом с холмы, и все очень разные, у одних до того страшные лица, что больно смотреть, — они поглощают мировую скорбь, а у других лица сияют, словно солнца, любуешься и не можешь налюбоваться, — эти ангелы создают радость».

Мать рассказывала, что один такой ангел объяснил ей, как на самом деле устроена земная жизнь. Перед тем как родиться, человек выбирает себе судьбу. Он соглашается на своих детей, родных и близких, на людей, которых полюбит и которые его предадут. Он соглашается на испытания и преграды, с которыми ему придется столкнуться и через которые придется пройти. На болезни и горе. Он выбирает себе ровно столько, сколько сможет вынести, — и лишь после этого рождается. Потому нет в человеческой жизни ничего такого, с чем ему нет возможности справиться.

Мать старалась соответствовать открывшейся ей истине: не роптала и не жаловалась, а каждый прожитый день проводила с радостью и благодарностью. Тоня верила только в то, что видит, относилась к рассказу матери с иронией и справлялась с проблемами с холодной и даже яростной обстоятельностью, записывая любую победу в доказательство собственной неуязвимости. Однако в тот день, когда не стало мамы, вся ее уверенность, весь тщательно выстроенный каркас из убежденности в собственных силах рухнул в один миг — Тоня почувствовала такое опустошение, такую муку, словно предала самое родное, дорогое и близкое, что было в ее жизни.

После похорон она взяла на работе отпуск, дни проводила словно в полутьме — отмалчивалась, уставившись в одну

точку, или лежала в постели, укрывшись с головой, и изводила себя плачем. Попытки мужа вывести ее из этого состояния твердо отмела, попросила дать время выплакаться.

— Ты же меня знаешь, чем меньше буду сдерживать эмоции, тем скорее приду в себя.

Антон скрепя сердце уступил. Заботился о пятилетнем Вадике, с грехом пополам прибирался в квартире, готовил всякое несъедобное. Терпеливо ждал, когда у жены наступит просвет. Но просвета не наступало.

Звонок домофона просверлил в голове дыру — Тоня поморщилась, повернулась на другой бок, подтянула колени к подбородку, накрылась одеялом так, чтоб не слышать назойливого трезвона. Домофон захлебнулся, но через минуту проснулся дверной звонок. Тоня какое-то время прислушивалась к его надоедливой мелодии, потом поднялась, натянула халат, прошла, цепляясь за стену, в прихожую. Посмотрела в глазок. На лестничной площадке стояла тепло укутанная женщина и через короткие промежутки времени надавливала на кнопку звонка.

— Вам кого? — спросила с раздражением Тоня.

— Посылку из больницы передали, — ответила женщина противно колючим голосом и, чуть помедлив, добавила: — от мамы.

Тоня открыла дверь. Женщина надвинула на лоб вязаную шапку, нырнула носом в шарф и заговорила, мелко кашляя:

— Извините, что кутаюсь, — простыла, пришла к вам с температурой, но не прийти не могла. Я в отделении кардиологии санитаркой работаю, вы меня вряд ли вспомните, мы с вами не пересекались.

## Наринэ Абгарян

— Вы собирались передать посылку, — перебила ее Тоня.

— Я сказала — посылку? Извините, я имела в виду послание. Это, в общем, дико будет звучать, но что поделаешь, расскажу как есть. Мне ваша мама приснилась. Просила передать, что всё у нее хорошо. И что оказалась она в том месте, о котором вам часто рассказывала. И что ангелы именно такие, какими они ей когда-то привиделись. Ваша мама счастлива, потому что обрела покой: она окружена теми, кого всегда любила, она дышит полной грудью, потому что забыла, что такое боль. И еще она просила передать, что у вас впереди долгая и прекрасная жизнь. Долгая, прекрасная — и очень счастливая. А чтобы вы мне поверили, она просила сказать, что у мишутки золотые глазки. Я не поняла, что она имела в виду, но, может, вы...

Тоня прислонилась ноющим виском к прохладному дверному косяку. Про мишутку с золотыми глазками знали только мама с бабушкой и больше никто. Это был стишок, который придумала совсем маленькая Тоня в день бабушкиного рождения, — у мишутки глазки золотые, а лапы мягкие, как пух. Она вывела его каракулями на обратной стороне единственной ненадписанной открытки, которую нашла в секретере, и торжественно вручила имениннице. Мама и бабушка потом очень смеялись, потому что открытка оказалась к 23 Февраля...

Женщина меж тем, кашлянув, поплотнее надвинула шапку и затянула концы вязаного шарфа на груди. Тоня спохватилась, посторонилась, приглашая ее в квартиру, но та отрицательно замотала головой — мне уже пора, и вызвала лифт.

— Может, хотя бы чаю... я вам так признательна... зачем вы больной поехали... я вызову и оплачу такси... — враз поверившая в происходящее Тоня бессвязно тараторила, не

в силах справиться с волнением. Но женщина, не дождав-  
шись лифта, пошла вниз.

— Я сейчас, я вас провожу, — заметалась по прихожей  
Тоня, залезая в сапоги и натягивая пальто.

— Не нужно, мне недалеко ехать, всего две остановки.

— Подождите! Ну что вы так уходите! — Тоня побежала  
по ступенькам, на ходу застегивая пальто.

Женщина остановилась, нехотя обернулась. Кусачая  
шапка лезла ей в глаза. Она поддела ее край, почесала лоб  
смутно знакомым жестом — фалангой большого пальца, на  
безымянном блеснула толстая дужка червонного кольца  
с тиснением. Тоня сама так часто поступала, оборачивала  
кольцо камнем внутрь, чтобы легче было надеть перчатку.  
Она не стала бы обращать внимания на обернутое кольцо,  
но жест, которым женщина почесала лоб, ее насторожил.  
Пронзенная смутной догадкой, она запнулась-замешка-  
лась, но потом схватила ее руку, обернула ладонью вверх,  
узнала рубин. Разом всё поняла.

— Мария Львовна?

Соболевская со вздохом стащила кусачую шапку, рас-  
слабила узел шарфа, потом и вовсе стащила его с шеи. Лишь  
сейчас Тоня заметила ее нелепый макияж — толстый слой  
тонального крема, неумело обведенные глаза, густо накра-  
шенные ресницы. Старания не пропали даром — ее дей-  
ствительно невозможно было узнать.

Тоня молча ждала.

— Твоя мама переживала за тебя. И я, дура, обещала  
ей, — наконец выдавила Соболевская.

— Что обещали?

— Вот это и обещала. Я знала, что ничего путного не  
выйдет, но отказать ей не смогла.



## Наринэ Абгарян

И Соболевская виновато развела руками.

За секунду Тоня пережила, казалось, все возможные эмоции — от горькой обиды и отчаяния до гнева и разочарования. Но следом, внезапным прозрением, наступило высвобождение. Словно переболев чем-то тяжелым, она поднялась, чтобы заново обрести силы. Словно кто-то одним касанием руки развеял сковывающий сердце слой толстой, душной пыли.

Тоня прерывисто вздохнула и обняла Соболевскую, зарылась носом в ворот ее пальто, почувствовала запах цветочных духов и едва уловимый, до боли знакомый — больничный. Значит, она приехала к ней сразу после ночной смены, вымотанная и невыспавшаяся.

— Теть Маш, пойдём, что ли, чай пить? — бережно, чтоб не спугнуть плескавшийся в душе покой, спросила Тоня.

— Пойдем, — легко согласилась Соболевская.

На пороге квартиры Тоня обернулась:

— Мама ведь действительно вам приснилась?!

Соболевская молча погладила ее по руке.

Тоня спрашивать снова не стала. Ей так хотелось верить, что всё это правда, что она верила.

# Марина Вишневецкая

## Что есть счастье

### О цели слов

Один поэт так любил закаты, что каждый называл неповторимым, подходящим только ему образом: эргбунц, валаам, лёнг-длёнг, фиреенд, онь, горджубай — всего пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть наименований. И когда он умер, никто не смог разобрать, что он под этим имел в виду.

А один мальчик сумел выучить в школе только пять букв: «ё», «п», «р», «с» и «т». И когда вырос, гордился, что ему их по жизни вполне хватало, и когда подступали чувства, произносил эти буквы подряд, а когда накачивали события — группировал их по обстоятельствам: ёп, сёр, пст, прёт, спёр, трёп... И люди вокруг ценили его за внятность и острословие.

А один мужчина всех своих жен и подруг называл Лапик. И когда они на его поминках про это разговорились, то не все смогли к этому отнестись однозначно, и шесть из них возвратились на кладбище и стали безутешно кричать: Зая! Масик! Вован! Рыбик! Бяша! Котюн! Как же ты мог?! —

## Марина Вишневецкая

и бились о свеженасыпанный холм. И тогда на голову каждой из них откуда-то сверху упало по еловому лапику. И несчастные женщины в испуге затихли, заплакали и обнялись.

Три вышеописанных случая приводят нас к мысли: слова используют человека как средство вторжения в мир, но их цель до сих пор никому не известна.

### Мечта и мечта

Один сварщик мечтал сварить такую конструкцию, чтобы добраться по ней до самого неба.

А одна женщина мечтала сварить такой борщ, чтобы этот сварщик остался рядом с ней до самой смерти.

И из года в год они варили каждый свое, но достичь своей цели у них не получалось.

И вот когда во всей округе не осталось ни кусочка железного лома, ни даже подковы, ни даже болта, сварщик решил уйти из этого города.

А эта женщина нашла в одной древней книге рецепт приворотного зелья, и собрала по углам немного мышиноного помета, и в огороде отыскала кожу змеи, и вынула из стены последний гвоздь, который этот сварщик еще не заметил и поэтому не унес с собой, и устроила ему прощальный ужин. И сварщик съел три полные тарелки борща и еще попросил четвертую, но съесть ее уже не смог, потому что на руках у этой женщины умер. Таким неожиданным образом и исполнилась мечта ее жизни.

А душа сварщика тем временем добралась до самого неба — причем посредством одного-единственного гвоздя. Добралась и впервые в жизни возликовала.

## Что есть счастье

Вывод, который мы вправе сделать из этой истории, таков: мечтая о невозможном, мы обретаем непостижимое.

### Новое поколение

Одна женщина не пошла на аборт, а решила родить, чтобы удержать возле себя мужа. И на недолгое время у нее это получилось.

Другая женщина решила родить, чтобы наполнить свою жизнь смыслом. И на некоторое время ей это удалось.

Третья женщина решила оставить ребенка, чтобы на старости лет не быть одинокой. Но ребенок, как только выучился, навсегда уехал жить за границу.

Четвертая женщина родила, чтобы было кому всю жизнь восхищаться ее красотой, добротой и умом. Но мальчик вырос и рассудил по-другому.

Пятая женщина родила ребенка с целью досадить своей незамужней подруге, но та и сама родила через год с целью показать, что она не хуже других.

Шестая женщина родила ребенка, чтобы прописаться с ним вместе на жилплощади свекра. Но родители мужа в этом ей отказали.

А седьмая женщина вообще сорок лет не хотела иметь детей и решила родить только после того, как во сне увидела ангела, пообещавшего, что ее ребенок будет вторым Леонардо да Винчи.

Случаев много, а вывод один: новое поколение, чтобы пробиться на свет, туманит мозг своих матерей всеми известными ему способами.

## Что есть счастье

Одна моль всю жизнь прожила в кроличьем тулупе и для своих детей мечтала о норковой шубе, потому что каждое следующее поколение должно жить лучше предыдущего. И когда старый шкаф со всем его содержимым вдруг понесли на помойку, она кричала: историю не повернуть вспять! — и билась о дверцы. И на свалке за городом дверцу все-таки высадила, разлетелась, взвилась — и увидела на пригорке норковое раздолье — воротник, шапку и палантин. И закричала: дети, за мной! И хотя в следующий миг ее проглотил воробей, она уже знала, что жила и мучилась не напрасно. А ее дети от неожиданности спикировали в синие шерстяные рейтузы спортивного типа и прожили в них весь свой век — долго и счастливо.

А одна курица страстно хотела, чтобы ее дети научились летать. И регулярно сбегала с птичьего двора, чтобы снести свое яйцо в гнездо чибиса или козодоя. За срыв плана по яйценоскости этой курице грозила большая беда. Но сильнее страха была в ней мечта однажды увидеть своих огольцов высоко в небе, как они строятся вместе с другими птицами в клин и прощально ей кукарекают. И даже когда эту курицу потащили на плаху, она успела кудахтнуть, что ни о чем не жалеет и что ее дети будут жить среди баобабов и пальм. Какие дети? — удивились на птицеферме. А однажды в начале зимы на деревьях, растущих вдоль теплотрассы, группа биологов обнаружила гомонливое племя молодых диких кур, перекрикивающихся между собой голосами чибиса и козодоя. «Трудно представить большую идиллию», — записал в блокноте молодой биолог, имея в виду не только красоту куриного пения, но и обустроенность птичьей жизни на ветках и в дуплах. Участок вскоре огоро-

## Что есть счастье

дили, назвали заказником, снабдили кормушками и утепленными домиками, а гомонливое племя занесли в Красную книгу.

Две эти истории красноречиво свидетельствуют: счастье — не проект, а здоровая реакция организма на новые обстоятельства.

### **Семь и семь**

У одной женщины было двенадцать человек детей, и только один из них попал под машину. И она радовалась тому, что не будет одинокой на старости лет.

А у другой женщины не было детей совсем. И она радовалась, что от нее не родился ни Гитлер, ни Сталин, ни наркоман, ни какой-нибудь олигофрен.

У третьей женщины был только один ребенок, и она радовалась тому, что ей не надо делить свою любовь ни с кем другим.

А у четвертой женщины очень долго своих детей не было, и тогда она взяла трех детей из детдома. И была очень рада, что сделала их счастливыми.

А у пятой женщины один сын был и умер. И она была рада тому, что он больше не мучается на этом свете, а целыми днями слушает пение ангелов и серафимов.

А у шестой женщины было пять человек детей, и четверо из них погибли во время войны. И она была рада, что хоть один ребенок у нее остался.

А седьмая женщина всю жизнь была мужчиной, а потом собрала денег и сделала себе операцию и была рада тому, что мечта ее жизни сбылась.

## Марина Вишневецкая

Этих семи случаев достаточно, чтобы сделать вывод: женщина рождена не для счастья, а для одной только радости.

У одного мужчины было семеро сыновей, и он горевал, что у него нет ни одной дочки.

А у другого мужчины не было детей совсем. И он горевал, что после него не останется его семени.

А у третьего мужчины было одиннадцать дочерей. И он горевал, что после него не останется его фамилии.

У четвертого мужчины было три сына и девять дочерей. И он горевал, что ему нечем их прокормить.

А у пятого мужчины было двадцать детей от тринадцати женщин. И он горевал, что не знает даже их всех по именам.

У шестого мужчины было три дочери и пять сыновей, но они все боялись зайти к нему на живодерню. И он горевал, что ему некому завещать дело своей жизни.

А седьмой мужчина всю жизнь любил только других мужчин и горевал оттого, что они ему изменяли.

Этих семи случаев вполне достаточно, чтобы заключить: мужчина рожден для счастья, а счастья нет.

## Голая правда

Один мужчина всем говорил в лицо одну голую правду. И за это его никто не любил, а многие даже притесняли. Так, например, директор школы при полном одобрении педагогического состава исключил его еще из начальных классов, а родители, едва он достиг шестнадцати лет, выгнали его из дома. В дальнейшем на какую бы никудышнюю работу он

ни устраивался, его на второй, третий или максимум четвертый день увольняли. А когда он устроился подметальщиком аллеи в зоопарке, то низшие животные тут же вымерли от полной утраты аппетита, а у высших, наоборот, проснулась страсть к людоедству, и они бросались на прутья своих клеток, только-только этот человек еще приближался к зоопарку.

И лишь одна женщина, хотя он прямо ей сказал при первой же встрече, что у нее кривые ноги, впалая грудь и на редкость невозбуждающая походка, его пожалела и пустила жить к себе в дом. И стала его кормить, поить и рожать от него детей. А он и детям своим, еще с колыбели, говорил прямо в лицо, как они страшно всем обликом походят на свою некрасивую мать, а глупостью на мать своей матери, а необузданностью страстей на его старшего брата, и еще прочие горькие вещи. И все его дети, как только, бывало, научатся ездить на трехколесном велосипеде, немедленно уезжали прочь и больше не возвращались. И только одна эта женщина всё продолжала и продолжала с ним жить, пока, наконец, не заболела чахоткой и не умерла. И возле ее открытой могилы и еще потом на поминках этот человек опять говорил одну горькую правду, как эта женщина его мучила всю его жизнь своим молчаливым упорством, своим пособничеством проступкам детей и некультурностью речи. И тогда ее брат, а потом еще и отец сказали, что эта женщина от самого своего рождения была глухонемая и поэтому речь у нее носила главным образом скрытный характер, хотя книги она, например, читала и любила смотреть старые кинофильмы с субтитрами. И услышав такие для себя неожиданные слова, этот мужчина заплакал, потому что понял, что нашел в этой женщине свой ошибочный



## **Марина Вишневецкая**

идеал, а она оказалась бессердечнее всех, кого он на этом свете встречал, и наиболее равнодушной к любому, даже самому наболевшему его слову. И он пошел на чердак и там удавился.

Вывод из этой истории можно сделать любой, но хоть какой-нибудь вывод сделать обязательно нужно. Например, что правда хорошо, а счастье лучше. Или что нет в жизни счастья. Или что человек — сам его кузнец.

# Анна Матвеева

## Ида и вуэльта

*Светлой памяти Лорны Д.*

Дочь сказала:

— Дожили бы вместе, мам!

На ее месте мне тоже хотелось бы, чтобы мама и папа дожили свою жизнь вдвоем. Но каждая из нас — на своем месте, и с моего открывается исчерпывающий обзор неудачного брака, «двадцать лет коту под хвост». И все-таки на развод я тогда не решилась. Это так сложно — разводиться, разводить в разные стороны свою жизнь и жизнь человека, с которым вы провели вместе столько лет, пусть даже не слишком счастливых.

Вместо развода я тогда полетела в Испанию.

Дочь привезла меня в аэропорт на рассвете, обняла, помахала на прощанье — и поехала домой, *досыпать*. От ее куртки пахло табаком и духами, воротник пуховика с одной стороны был выпачкан тональным кремом. Я вспомнила запах детской присыпки, испачканные кремом от опрелостей пеленки и сладкий вкус люголя.



В Испании жил мой старый приятель — английский профессор, который в позапрошлом году вышел на пенсию и переехал, по доброй британской традиции, в теплые края. Профессора зовут Рэймонд Марк Стоун, для меня просто Рэй. Мы познакомились в начале девяностых, когда он еще не был профессором, а работал в таможенной службе Великобритании и приехал в только что переименованный Екатеринбург на семинар для узких специалистов. Еще была жива принцесса Диана. В моде, если верить иностранным журналам, царили крупные украшения, длинные пиджаки и короткие юбки. Узкие специалисты носили широкие штаны, парящие на ветру. Я рассекала в строгих костюмах, взятых напрокат у знакомой девочки, родители которой работали в Монголии — и без усталости наряжали свою Наташу, не подозревая о том, что наряжают еще и меня.

На семинаре для специалистов я была кем-то вроде секретаря по общим вопросам. Водила четырех иностранцев (два англичанина, бельгиец и датчанин) по ледяному Екатеринбургу. Показывала достопримечательности — Плотинку, деревянные купеческие дома, еще не снесенные в строительно-финансовом раже, и тот особняк с атлантами на улице 8 Марта, который с детства казался мне очень красивым. Гостей, впрочем, значительно сильнее интересовали памятник Ленину, тянущемуся рукой вверх, как бы в бессильной попытке ухватить журавля в небе; рыбаки, крутившие лунки на пруду; замерзшее собачье дерьмо в парках, а также здания, построенные в тридцатых годах (слово «конструктивизм» мы тогда еще не знали и не гордились роддомом с ленточными окнами, полукруглым фаса-

дом типографии «Уральский рабочий» и выпуклой гостиницей «Исеть»). Всё это иностранцы без устали фотографировали, включая уже упомянутое собачье дерьмо и жалкие, вечно текущие унитазаы в конторе, где проходил семинар. Мои объяснения, не менее жалкие — да еще и хромые по причине средненького в ту пору английского, — внимательно слушал только Рэй. Лет ему было столько, сколько сейчас мне, — я искренне считала его стариком.

Наташа, безропотно выдавая вечером очередной костюм, спрашивала, что мне подарили, — все тогда ждали подарков от иностранцев, обычно это были колготки, сигареты и шоколад. Колготки! Представляю лицо дочери, если бы я вдруг решила подарить ей колготки к какому-нибудь празднику. Но тогда это была настоящая роскошь.

— Помнишь, как ты дарил мне колготки? — спросила я Рэя, когда мы наконец встретились в Санта-Поле после долгих телефонных обсуждений, кто, куда и за кем заедет. Он улыбнулся и сказал, что да, кажется, припоминает. Им на инструктаже объясняли, что колготкам русские женщины радуются сильнее всего. Поэтому они закупали по пять пар самых дешевых — и везли колготки с собой в Екатеринбург, Пермь, Уфу или Пензу.

— Жуткие времена, — сказал Рэй и тут же умело перевел разговор. Как же он рад меня видеть! Он до последнего не верил, что я приеду. Он ведь помнит, что я не люблю Испанию.

Это правда. Женщина, радовавшаяся колготкам, теперь может позволить себе не любить какую-нибудь заморскую страну. Но что поделать, если отношения с Испанией у меня категорически не складываются. Мне не нравятся ни испанский язык, ни местная кухня, ни литература, ни музыка. Вот разве что живопись — Веласкес, Гойя, Эль Греко

(он, впрочем, грек). Ну и еще кофе — здесь даже в самом захудалом баре варят чудесный кофе. Испания чувствует, что я ее не люблю, — и мстит за это самыми разнообразными способами. Когда бы я ни приехала, обязательно случится какая-нибудь пакость. То кошелек вытащат со всеми деньгами и картами. То в аварию попаду — да такую, что за руль потом целый год не решусь садиться. То заболею — в первый же день — и буду хворать всю поездку. То выяснится, что пока я тут отдыхаю, дома случилась беда — дочку в школе ударила одноклассница, сломала ей палец на правой руке. И теперь мама девочки звонит мне, рыдая, и обещает купить самую дорогую куклу в знак раскаяния. И мне теперь жаль уже не только своего искалеченного ребенка, но и эту несчастную тетку...

В общем, я и в этот раз ждала от Испании какого-нибудь подвоха или тщательно спланированной гадости, на которую не способны другие страны.

— Обожаю Испанию! — сказал Рэй. — Смотри, какая красота! Еще только январь, а здесь уже пахнет весной.

Мы ехали мимо соляных озер, где сустились десятки фламинго. Рэй забрал меня из дома, ключи от которого мне доверила совершенно незнакомая женщина — подруга моих друзей. Я никогда не видела этой женщины, но как только вошла в ее квартиру, то сразу же поняла, что мы с ней могли бы подружиться. Книжки на полках, посуда, мебель — всё это могла бы выбрать я, мои книжки, посуда и мебель были бы точно такими же.

Жаль, что в квартире было очень холодно. Испанцы не приезжают в Санта-Полу зимой, этот курортный городок в январе стоит почти пустым и напоминает декорацию. Дома не отапливаются, только если кондиционером, — но

он дует совсем не туда, куда нужно, к тому же я опасалась, что хозяйке придется оплачивать чрезмерные счета за электричество. Утром я просыпалась от того, что у меня замерзал нос, и первое, что видела, было мое же собственное дыхание, облачком рвущееся изо рта, как пустой филактер, словесный пузырь из комиксов. Ложилась спать под целой кучей одеял и курток, но согреться всё равно не могла — только на второй неделе додумалась набирать в пластиковые бутылки горячую воду и укладывалась с ними, как с грелками. На улице было теплее — поэтому я вставала спозаранок и уходила к морю. Небо здесь менялось каждую минуту. На рассвете оно было окрашено в младенческие цвета, нежно-розовые и голубые, как ленты для новорожденных. На закате в небесах пылал огонь и тоненько улыбалась луна. По набережной я доходила до центра спящего городка, покупала в магазине миндальное молоко и пирог со шпинатом. Ночью, засыпая, представляла себя красной точкой, одиноко пульсирующей в сплошной темноте.

Рэй постарел за те годы, что мы не виделись, — теперь он был совершенно седой и с видимым усилием поднимался с места, когда приходилось долго сидеть.

— Ты не мерзнешь здесь? — спросила я, и тут же поняла, какую сморозила глупость. Англичане не мерзнут. Они стоически переносят любой дискомфорт, потому и смогли в свое время завоевать полмира. Это самая неизбалованная нация на земле — во всяком случае, в поколении моего друга.

— У меня есть обогреватель, — сказал Рэй, деликатно не заметив моей глупости, — но я его редко включаю. Ну и потом, здесь целый год такая жара, что даже приятно бывает чуточку охладиться, не находишь?

## Анна Матвеева

Машину он водил совсем не по-стариковски — так резво обгонял грузовики, что я вдавливалась в свое сиденье, дрожала от страха и впечатывала ногой в пол несуществующую педаль тормоза. Как любой водитель, я не люблю быть пассажиром, стараюсь в таком случае занять заднее сиденье, но сейчас это было невозможно и невежливо.

Англичане — очень вежливые.

\* \* \*

Мы никогда не говорили с Рэем о наших семьях — моей реальной и его предполагаемой. Так повелось с самого начала. Я догадывалась, что предпочтения моего друга далеки от традиционных, — по некоторым нюансам, обмолвкам, взглядам. Но никогда, никогда мы об этом не говорили! И обо мне он знал только самые общие вещи — что есть муж, взрослая дочь и какие-то неразрешимые проблемы, о которых я говорить не хочу.

Коты — другое дело! Котов мы обсуждали страстно и с удовольствием.

После того как дочь сняла себе квартиру и мы остались с мужем вдвоем, именно кот поставил себе задачу сохранить нашу семью, а точнее, то, что от нее осталось. Он ничего не знал про «двадцать лет коту под хвост». Мы прятались друг от друга в разных комнатах, но кот упрямо ходил из одной в другую — истошно орал, выгибал спину, мурлыкал и повторял всё перечисленное снова и снова, пока мы не поняли наконец, что должны находиться в одной комнате. Что ему, коту, так удобнее.

Поначалу я устроила себе спальню в бывшей дочкиной комнате, и кот стал метить там территорию — раньше он

позволял себе такое только в кладовке, где несколько лет назад им же была обнаружена и казнена залетная мышь. Как только я вернулась на семейное ложе, гадости в дочкиной комнате тут же прекратились — кот показательно скребся в своих лоточках и провожал меня внимательным взглядом слегка прищуренных глаз.

У Рэя было три кошки — две переехали с ним вместе из Оксфорда и довольно быстро опростились, научившись охоте и ночным гуляньям. Третью попросила взять Ида, подруга Рэя, — она переехала сюда тридцать лет назад, и сегодня мне предстояло с ней познакомиться. С Идой, не с кошкой.

Мы уезжали всё дальше от моря, поднимались вверх выше и выше. За окном я видела сухую желтую землю, какие-то глиняные горы и вишневые деревья, кое-где уже подернутые цветочной дымкой. Зимняя весна!

Когда свернули на проселок, я решила, что Рэй хочет показать мне какой-то местный монастырь, — впереди теснились кипарисы, скрывавшие за собой обширное поместье. Площадке для парковки позавидовал бы торговый центр. Навстречу выбежали два кота и крошечная белая собачка в черной «полумаске». Коты, не скрывая своего разочарования, тут же исчезли, а причудливо раскрашенная природой собачка начала выписывать вокруг машины кренделя, так что Рэй прикрикнул на нее из окна:

— Пинки! А ну прекрати!

Пинки (по-нашему Розочка), приветливо твякая, бежала к дому, то и дело оглядываясь, проверяя, идем ли мы следом.

Дом Иды был даже не дом, а, наверное, небольшой замок — или маленький дворец. Мы прошли по террасе с живописно облупившейся штукатуркой. Стены прихожей



## Анна Матвеева

были выкрашены в ярко-синий цвет. Я крутила головой по сторонам не хуже Розочки, разглядывая картины, викторианские вышивки, фарфор и бронзу в честных старых шкафчиках.

— Ида! — крикнул Рэй. — Мы здесь!

Но вместо Иды к нам вышла Мария — улыбочивая испанка, домработница. Она кивнула мне, расцеловалась с Рэем, потом взяла у него пакет и унесла в кладовую.

— Я привожу им продукты, когда еду мимо, — объяснил профессор. — Вблизи нет супермаркетов.

В разные стороны, как салют, брызнули кошки — едва не запнувшись об одного из своих питомцев, но гордо устояв на собственных ногах, появилась хозяйка дома.

\* \* \*

Отцом Иды был мэр Бристоля; мать, которую она терпеть не могла, была истинной леди. Имелись три младшие сестры — но все, как сказала Ида, давно в могиле.

— Потому что не выпивали, — заметила она, прихватывая со стола свой «походный» стакан с хересом. Поход — или «гранд-тур», как выразилась хозяйка, — по ее дому, купленному четверть века назад у зажиточных испанских помещиков, требовал подкрепления: гости вполне могли проголодаться во время долгой экскурсии, у них пересыхало в горле, кто-то мог упасть на один из диванов, расставленных в стратегически верных местах, и забыться коротким освежающим сном.

Ида шла впереди, в стакане ее сверкал херес, под ногами крутилась Розочка.

— Почему такое имя? — спросила я. — Что в ней розового?

— Ободок вокруг глаз, — объяснила Ида.

Котов звали одинаково — Флаффи (Пушок по-нашему). Коты здесь были на вторых ролях, заправляла хозяйством Розочка: суетилась в каждой новой комнате, приглашая радоваться прекрасному вкусу Иды. Всё здесь было перестроено и переделано — бывшая конюшня для осликов стала желтой гостиной, большой холл превратился в мастерскую, потому что здесь самый лучший свет.

— Я уехала из дома в семнадцать лет. Хотела стать художником. Мать этого не понимала, ей надо было представить меня ко двору — вот это было важно. И я сбежала, уехала, и мы увиделись с ней только через десять лет, совсем другими людьми. А ко двору была представлена Маргарита, моя младшая сестра.

Фотопортрет на стене — спелая барышня в белом платье, губки — тугой бутон. Снимок черно-белый, но чувствуется, что на щеках румянец.

Ида дружески щелкает барышню по носу:

— Маргарита умерла семь лет назад.

Стакан с хересом выскользнул из рук, но Ида поймала его в воздухе. Рассыпала — как крошки перед птицами — пригоршню сухих смешков.

Я долго не могла рассмотреть Иду, потому что она была в постоянном движении и так ловко избегала прямого света, как умеют делать только актрисы и кокетки с полувековым стажем. Когда мы сели за стол, покрытый пожелтевшей, но явно ценной скатертью, Ида закуталась в тень, как в покрывало, — я видела лишь рукав синей кофточки и сверкающий камень на пальце. От Иды хоро-

## Анна Матвеева

шо пахло — как от младенца: свежестью, теплом, молоком. Никакой старческой затхлости, изношенной кожи, умирающей плоти. В свои девяносто пять Ида лишь начала жить.

\* \* \*

Мы выпили по бокалу — херес цельным сгустком проскользнул в желудок, внутри, как пятно бензина в луже, разлился масляный покой. Я сидела, подперев голову рукой, и наслаждалась мыслью о том, что никто не может найти меня в этой комнате, в компании людей, которых не знают ни моя дочь, ни муж, ни родители, ни друзья. Это было такое приятное, сильное, утешительное чувство, что я чуть не прослезилась от благодарности.

— Эй, — сказал Рэй, — у тебя тоже розовый ободок вокруг глаз. Как у Пинки.

Собачка, услышав свое имя, завозила на диване. Прямо над диваном висела картина Иды — пляж, мужские спины, шеи, плечи. И ни одной женщины.

— Она не слишком любит женщин, но ты ей, кажется, понравилась, — шепнул Рэй.

Ида пишет картины маслом, режет витражи, вдохновляет павших духом друзей. Она никогда не была замужем, у нее нет детей.

Хлопает в ладоши:

— Теперь гранд-тур! Я уже показывала вам дом?

Рэй разводит руками, нет, ну а что ты хотела? Посмотрю на тебя в девяносто пять. Или нет, не посмотрю. Сама всё увидишь. И тут же забудешь!

Мы встаем из-за стола и под предводительством Розочки вновь выходим на прежний маршрут. Ида шелкает по носу трезвенницу Маргариту, вспоминает, как мать хотела представить ее ко двору, роняет сухарики смешков, заворачивается в тень, как в покрывало. Тень сползает с плеч, день, как рассказ, движется к финалу. Розочка в отчаянии — хозяйка и гости уезжают обедать в ресторан! Коты индифферентно провожают нас до машины, и тут я вижу, что Ида садится за руль.

— О нет! — я дергаю Рэя за руку.

— О да! — смеется он. — Тут совсем недалеко, пусть развлечется. Пристегнись.

Ида ведет машину аккуратно, не то что Рэй. Она как будто продолжает резать витраж — тщательно отмеряет угол поворота, просчитывает силу давления, едет по дороге как по стеклу.

Ресторан в деревне, куда мы приехали через десять минут (Ида не без шика припарковалась в тени грузовика), принадлежит двум братьям. Я бы сказала, это не ресторан, а столовая (девушка с колготками из девяностых смотрит на меня с уважением) — пластиковые скатерти, бумажные салфетки, вопящий телевизор. Из неожиданного — англичане за каждым столом. Здесь еще в шестидесятых сформировалась целая британская колония, и многие, как утверждает Рэй, так и не удосужились за всё это время выучить испанский язык. Лично он, к примеру, берет уроки в Аликанте у некоего Эзры — и уже очень продвинулся. «Льего ля ора де ля комида» — «Настал час обеда».

— А я не продвинулась! — заявляет Ида, обворожительно улыбаясь одному из братьев-владельцев. Он как раз идет к нам: раскланивается со мной, жмет руку профессору и бережно обнимает Иду. Целует розовую щеку, гладит по голове, как ребенка, — и с наслаждением вдыхает младенче-

## Анна Матвеева

ский аромат ее волос. Ида, в чем твой секрет? Обычные старики плохо пахнут: часто находиться рядом с ними — просто испытание. Я уверена, что в старости буду невероятно гадкой старухой — что дочь будет вынуждена сдать меня в дом для престарелых, где я быстро угасну по причине несоответствия качества услуг заявленным ценам. Я не против! Но прежде хочу узнать Идин секрет.

За всеми столиками англичане едят паэлью. Желтый рис плоским слоем размазан по черным сковородам. Попадают островки мяса — у кого-то кролик, у кого-то курица, у нас улитки. Ида ест с аппетитом, пьет розовое вино, потом виски, потом коньяк. У нее идет носом кровь, и тут же прибегает официант с салфетками.

— У тебя есть братья или сестры? — спрашивает меня Ида.

Мой единственный брат умер десять лет назад, и я об этом никогда не рассказываю. Пока не рассказываешь, веришь, что он всё еще жив. Все эти годы я вижу его в чужих машинах, в кино, в ресторанах: он жив, но не может ко мне подойти, вот и всё.

Только Иде я рассказываю правду. Рэй вытягивается в струну: мы с ним никогда не обсуждаем наши семьи.

На десерт принесли флан. Остатки паэльки официант сложил в пакет — для Розочки и котов. Прежде чем подняться из-за стола, Ида спрашивает:

— У тебя есть братья или сестры?

\* \* \*

Мне тяжело дается выбор — над меню в ресторанах я сижу дольше всех: официанты засыпают, повара уходят домой,

счет оплачен, а я так ничего и не съела. Растерянная женщина с охапкой одежды в руках на входе в примерочную, и она же, с пустыми руками, на выходе — это я. Муж однажды в шутку спросил, какую картину я забрала бы с выставки Рембрандта, если бы имелась такая возможность, — этот вопрос вверг меня в панику. Я долго ходила среди портретов, и они смотрели на меня с сожалением, потому что я так ничего и не выбрала. Даже в шутку.

А тут — развод. Или-или, как погоны на плечах.

Ночами я подолгу не могу заснуть из-за холода — и потому, что надо выбирать.

Много лет назад мы с мужем были на отдыхе и жили в гостинице, где от лифта до номера нужно было идти так долго, что хотелось взять с собой еду и книги. Коридор был бесконечным, казалось, что в конце его — зеркало, и люди, идущие навстречу, — это наши отражения. Мы шли, напряженно всматриваясь в отражения, которые были всего лишь другими людьми, — и в какой-то момент начинали верить, что поменяемся с ними местами, лишь только встретимся. Бытовой Кортасар. Борхес для бедных. Другая пара, мужчина и женщина, возможно, думали о том же самом — поэтому так быстро шагали мимо, опасаясь посмотреть нам в глаза. А я оборачивалась и долго потом думала о той, чужой жизни, промелькнувшей мимо меня в секунду, как пейзаж за окном разогнавшегося поезда.

В Санта-Поле идет дождь. Рэй пригласил меня в путешествие на остров Табарку, где живет всего сто тридцать человек. Плыли на лодке — барке. Рифмовали: «барка-табарка». Профессор выглядел счастливым. Мы собирали странные зеленоватые камни, считали улиток, любовались морскими волнами — пышно взбитыми, как оборки на платье.

## Анна Матвеева

По Аликанте я гуляла одна. Здесь любят красить дома в яркие цвета, но эта яркость слегка припудренная, приглушенная. Полынные и бледно-розовые тона, блестящие плиты мостовых, надраенных трудолюбивым дождем... Повсюду пальмы, под которыми расточительно валяются горы фиников.

Ночью дул такой сильный ветер, что я боялась — вдруг вылетят стекла.

А утром на море был полный штиль. Я долго шла по берегу — набрела на казематы гражданской войны, похожие на головы штурмовиков из «Звездных войн», видела скелет лодки и табурет, вынесенный морем на берег.

Апельсиновые деревца на набережной покрыты лакированными листьями.

Море сияет как шелк.

Я купила билет на поезд в Бенидорм, потому что мне понравилось название. На билете стоит отметка — «ида и вуэльта». По-испански — «туда и обратно».

\* \* \*

Дочь звонит каждый вечер, но говорить нам не о чем — жизнь молодого человека важнее, объемнее, ярче существования того, кто «доживает». Но она всё равно звонит, сообщает, что сегодня была у папы. Рассказывает, что он ел. Говорит, что кот в первую неделю очень скучал — сидел в прихожей, сверлил дверь взглядом, но я так и не появилась, и он принял решение жить дальше.

Мы обе прощаемся с облегчением.

В Бенидорм ходит трамвай-метро — он заезжает в туннели, проносится по берегу моря, летит по мостам, взбирается

в горы. Бенидорм красив не только названием — на пляжах, как деревья, растут небоскребы, по стволам пальм бегают белки, а из фонтанов пьют воду белые голуби.

Я рассказывала о белых голубях в Мурсии, за обедом с Идой и Рэем.

— Какой симпатичный официант, ты заметила? — спросила Ида, подзывая кивком головы ничем, кроме своей молодости, не примечательного юношу, подававшего нам блюда: салат из свежих листьев шпината, дораду с картофелем и тыквенный суп.

Через секунду мы фотографировались втроем с официантом, Рэй держал камеру, в руке Иды слегка дрожал бокал с розовым вином.

В Мурсию ехали в машине Рэя. Ида, пристегнутая ремнем на заднем сиденье, дремала всю дорогу. Оставили машину на берегу реки Сегуры и пошли пешком к собору. Рэй хотел показать мне собор Санта-Мария, а Ида настаивала, что я должна увидеть бывший мужской клуб-казино, где «псевдомавританский стиль щедро разбавлен модерном». Клуб отделан керамическими плитками изумительной красоты, но с ними соседствуют пластиковые стулья, и когда Ида увидела эти стулья («Раньше их не было, клянусь!»), то заплакала. Но уже через минуту забыла о поруганной красоте и, улыбаясь, спросила, хочу ли я увидеть собор Санта-Мария.

После обеда Рэй оставил нас в кафе на площади, вблизи Епископского дворца. Ему нужно встретиться с кем-то по делу — но через час он вернется. «Не заказывай ей слишком много виски, — шепнул Рэй мне на ухо. — Сегодня она пьет как рыба».

Здесь рано темнеет. Ида попросила не виски, а чашку чая с молоком. Мы пили чай, любуясь подсветкой дворца.



## Анна Матвеева

— В чем твой секрет, Ида? — спросила я. — Где ты берешь силы быть счастливой? Мне их не хватает даже для того, чтобы просто жить каждый день.

— Никаких секретов, — говорит она. — Я просто выпиваю понемногу, а еще очень люблю мужчин и свою работу.

Уже совсем стемнело. Чай остыл. Официант принес счет. Я никогда не понимала людей, которые ищут ответы у гадалок, психологов и старцев, — и вот сама зачем-то пытаю полужнакомую старушку с ясным взглядом, жду, чтобы она отсыпала мне своего счастья, которого у нее полные карманы. Ну или чтобы написала точный рецепт — сколько нужно взвесить, с чем перемешать, по сколько ложек принимать.

— Поверь в то, что нет никакого счастья, — говорит Ида. — И сама не заметишь, как тут же станешь счастливой.

Рэй пришел точно в указанное время. Англичане очень пунктуальные. Когда мы садились в машину, Ида дернула меня за рукав:

— Всё забываю спросить, у тебя есть братья или сестры?

\* \* \*

Последний испанский день был бесконечным. На берегу моря я видела огромных черных гагар, сушивших крылья, как белье. Цветет гибискус, цикламены, «корона кайзера». Редко попадаются розы. В городе Эльче, в Саду священника, стоит императорская пальма, которой никак не дают умереть: дереву полторы сотни лет, и оно со всех сторон укреплено подпорками. Счастлива ли эта пальма?

Обедали с Идой и Рэем в очередном простецком кафе, где местные жители играют в карты, читают газеты и разго-

варивают все одновременно и очень громко. К нашему столику подошел какой-то деятель — он представил нам свою жену, и мои англичане бурно обсуждали потом, что никакая она ему не жена! Ели суп «пелота» с гигантской фрикаделькой, жареную рыбу и крема-каталана. Запивали крепким кофе кортадо, вином и коньяком.

На закате море стало густо-фиолетовым, как старые чернила. Я сорвала апельсин с дерева, он оказался горьким.

Ночью я впервые не замерзла и чуть не проспала — Рэй заехал за мной, когда рассвело, и по дороге в аэропорт я рассказала ему свой сон: там я научилась прыгать до потолка, отталкиваясь ногой от пола.

— Хороший сон, — сказал Рэй. — Всё наладится, вот увидишь. В конце концов всегда всё устраивается.

С трассы он свернул к маяку — там была смотровая площадка с видом на Табарку и пляж Альтет, где Ида тридцать лет подряд рисовала с природы купальщиков. Два молодых велосипедиста позировали третьему, подняв над головой велосипеда. Рэй смотрел на них с интересом и одобрением.

— Ида передает тебе привет, — сказал Рэй на прощание. — Просила узнать, есть ли у тебя братья или сестры... Да шучу я, шучу!

В аэропорту мы крепко обнялись. Профессор поспешил к машине, оставленной на временной (очень дорогой!) стоянке, а я, зарегистрировавшись, пошла было к выходу на посадку, как вдруг захотела еще раз вблизи посмотреть на Испанию. Глиняные горы заливало яркое зимнее солнце. Где-то суетилась Розочка, коты с достоинством выпрашивали завтрак, Ида сидела над очередным витражом с бокалом утреннего хереса. Рэй лихо гнал по трассе в город — чтобы не опоздать на урок с Эзрой.

## Анна Матвеева

Дома меня ждали муж, дочь, кот и открытый, как рана, вопрос о разводе.

А мимо текли попугачики — одни спешили, другие явно тянули время. Кто-то курил в специально отведенном месте, кто-то прощался с кем-то навсегда. Или думал, что навсегда.

Некоторым людям суждено пройти с нами лишь малый участок пути, но именно их мы будем вспоминать впоследствии с благодарностью.

Я не могла знать, что Ида умрет через несколько дней после моего развода, на который я все-таки решусь спустя год. Не знала, что Рэй решит вернуться в Англию. Не догадывалась, что у меня совсем скоро появится внук и я снова вспомню запах детской присыпки и крема от опрелостей.

Тогда я просто стояла у входа в аэропорт города Аликанте и смотрела на синее, в цвет Идиных стен, небо.

А потом повернулась на каблуках, как персонаж старой книги (они почему-то всегда поворачиваются *на каблуках*), — и пошла искать свой выход.

# Ксения Букша Я — Максим

## 1.

Говорят, что люди растут до восемнадцати лет, а я только в девятнадцать начал.

Семья у меня так себе.

Папаша отсидел, потом мать бросил. Алкоголик. Потом помер.

но дело не в этом

многие так живут и семьи у них еще хуже

и ничего — ок норм

а я вот реально — сколько себя помню — я постоянно был

какой-то вечно злобный, озлобленный, в дурном настроении

\* Текст К. Букши дается в авторской редакции и орфографии.

## Ксения Букша

идешь в школу, голуби — хочется их ПНУТЬ  
мать раздражает, все раздражает  
мы в однушке жили  
так стенки все были в дырах  
я потому что их пинал

меня все бесило  
идешь мрачный... не идешь — ноги волочишь

и я так жил до девятнадцати лет, я просто не знал, как так  
по другому-то  
наверное, я бы спился  
если бы не случай

## 2.

в армию меня по здоровью не взяли, зрение минус семь  
было

работал там сям, траву почти каждый день курил  
однажды я иду, и у нас на Туристской улице есть переход  
через железнодорожные пути.

Очень говорят опасный переход, много человек там гибнет.

Каким-то летом даже трое подряд с разницей в несколько дней.

И вот иду с работы  
с овощебазы  
темнота, не вижу ни хрена  
а еще и в наушниках был

## Я – Максим

и электричку проворонил.

Там долго так идешь, идешь по тропинке вдоль железно-  
дорожных путей

а потом поворачиваешь и как-то так получается  
что прямо навстречу электричке ты идешь.

Электрички на Сестрорецк, Зеленогорск там идут.

И я как раз проворонил электричку — и чуть не попал  
под нее!

Как подорвался! еле проскочил!

Вот реально — еле-еле!

Она гудит, тормоза скрежещут... я в кусты! Бежать

И вот тут меня как раз торкнуло.

Меня так не торкало ни с каких там веществ

ни с алкоголя, ни с чего

в голове шумит, темнота вся такая...

как будто цветная

сразу запахи слышишь, все вокруг как...

как какая-то карусель.

И я такой прибалдевший

с лыбой такой

иду-у-у-у себе домой

и мне реально ТАК кайфово стало

И утром я встал и пошел на работу, и тоже

спокойно, вокруг все такое...

волшебное

я просто как будто сбросил все это вот

## Ксения Букша

что на меня давило  
стою в автобусе, не бесит ничего  
как будто люди какие-то другие  
стали вокруг  
улыбаться хочется

### 3.

И в тот же день я пошел и написал заявление.  
Вдруг я понял, что меня бесит мое имя — Игорь.  
А меня тогда звали Игорёк. ОМГ... Игорёк.  
Даже вспоминать неприятно.  
Ну и всё, и очень быстро Игорек остался в прошлом,  
а я стал Максим.  
Я — Максим!

Когда вышел с новым паспортом...  
Это было такое чувство!

Я — Максим!

И пошло.

Как только я Максимом стал, сразу подвернулась работа  
на нашей улице открывался магазин крафтового пива  
а я вообще люблю пиво  
хотя к алкоголю отношение у меня специфическое  
я больше курил травку  
но когда Игорька послал, то и травку уже курить стал  
реже

я устроился в этот магазин  
и стал нормально получать

и я снял комнату  
пусть это дорого было для меня  
я решил снять и подумать просто в одиночестве хоть пару  
месяцев  
без этой бубнежки  
без телевизора

вот как-то так все пошло  
Так все поменялось

#### 4.

Прошло несколько недель, месяц, может, или побольше.  
И я понял, что все возвращается как было.  
Я это понял, потому что познакомился с девушкой хорошей.

А мы в лифте едем — она что-то говорит мне, а я вдруг чувствую...

Чувствую опять. Что хочется ПНУТЬ.

Жесть.

Взял сигареты вышел на балкон  
пятнадцатого этажа

И тут я в первый раз можно сказать задумался  
почему так, сколько во мне злобы-то откуда  
почему все такое вокруг мрачное и тупое  
и все такие дебилы



## Ксения Букша

и все меня бесит и я сам себя

И я пришел к выводу, что надо просто мне продолжать делать это.

Девушке сказал, что надо по делам выйти, посмотрел расписание электричек...

Дальше понятно. Дождался электрички, рассчитал там секунды...

И рванул.

Прямо перед самым носом, в последний момент.

Ух! Там такое началось! Агонь! По-моему, он меня победил догонять просто...

Может, это тот же самый был машинист, не знаю.

Но это неважно.

В тот момент я понял, что вот.

Что это именно — что мне надо.

Это как бы такая перезарядка батареек, и мне нужен вот такой способ.

## 5.

Ну, и вот я стал так жить. Так делать.

Конечно, мне стало понятно, что с электричками лучше так не шутить, а надо что-то еще придумать.

И я стал придумывать.

Записался на парашютах прыгать.

Потом еще есть паркур, бэйс-джампинг.

Я многое перепробовал за эти три года.

## Я – Максим

Видимо, ну вот просто есть породы людей, как породы собак — которым надо экстрим, адреналин, а иначе они закисают становятся такие вот мрачные, как был Игорек.

И с тех пор все стало очень хорошо. И как-то я думал, что я все уже знаю. Про эту жизнь, и вообще.

Девушка у меня там другая потом появилась.  
А с той мы не то что поссорились.  
Просто расстались.  
Нормально мы расстались с ней.

А Вера появилась у меня, и вот теперь мы с Верой.  
И мы с ней, я надеюсь, будем всегда.  
А с ней связана такая история...  
Что мне про нее все говорили и даже в личку писали...  
«Да ты знаешь, что она дебилка? Она ходила в школу для умственно отсталых».

Ё-маё, ну и что? НУ И ЧТО??  
Смешные какие-то люди.

Вот я не понимаю. Если у человека нет такого интеллекта, как у тебя. Это значит, что он какой-то неполноценный, по-твоему?

Да я даже обсуждать это не стал. Просто забанил их, и все.  
Как это вообще — так рассуждать.

Нам отлично с Верой! Я не замечаю ничего того, что о ней другие говорят.

## Ксения Букша

Я не могу сказать, что Вера может брать интегралы. Но она на самом деле УМНЕЕ этих дебилов, которые про нее говорят гадости.

Это человек, на которого я реально могу положиться в этой жизни.

### 6.

Куртка вот на мне. Finn Flare.

Вот про эту куртку хочу сказать — неправда, что счастье нельзя купить.

То есть его, конечно, нельзя.

Но чуть-чуть можно.

Вот куртка — это большая часть моего счастья.

Я ее ношу четвертый год. И до сих пор из нее нитки не полезли.

Хотя говорят, Вьетнам шьет для финнов. Да наплевать кто там шьет.

Я в ней чувствую себя... Человеком. Максимом.

Я до этого все время зимой замерзал. Ходил в чем попало. В кедах каких-то, ветровках идиотских.

А теперь я зимой гуляю. И я чувствую себя — как человек.

Я пошел нормально в торговый центр. В дисконт Finn Flare.

Там висела... эта куртка. На нее была скидка 80%.

Так она стоила... не знаю, больше двадцатки.

А так... Так она стоила меньше пяти.

И я купил себе. Вот взял и купил себе!

Когда я ее купил себе  
в тот день, точнее в ту ночь  
я стал листать фильмы и мне попался фильм Конформист  
старинный по-моему черно-белый еще  
известный это фильм, все смотрели  
еще в советском союзе  
ну там про эту вот гейскую тему еще немножко  
мне она не близка но неважно  
главный герой

вот главный герой меня цепануло  
он очень был похож на меня  
в движениях как бы  
походка, лицо  
и это его как он говорит все время  
«я хочу быть нормальным»  
а он же фашист, даже он предал и убил своего учителя  
в общем он полный мудака, если по фильму

но меня он очень сильно цепанул  
он — это я

## 7.

я купил себе белый маркер  
и стал ходить по району  
и писать разные всякие слова  
потом я стал видеть эти слова  
которые я написал на стенах  
и мне становилось теплее

## Ксения Букша

я вспоминал разные вещи  
когда курил на балконе  
или когда спал с Верой  
и я... ну, я плакал

какая разница — подумаешь — плакал и плакал

### 8.

я думал, что я все про эту жизнь  
знал  
а я еще не все про эту жизнь  
знал

и я хочу рассказать до конца этой истории  
точнее, еще далеко до конца этой  
истории

а вот что случилось со мной  
зимой счас октябрь  
я до сих пор не понимаю, что случилось со мной зимой  
счас  
октябрь

в общем погода была такая был мороз снег  
ничего не поделаешь не попрыгаешь никуда ничего никак  
и я пошел короче к электричке своей опять

хотя я знаю что это опасно  
будешь там валяться с раскочевряженной башкой

## Я – Максим

а у меня еще температура была высокая перед этим ну за  
день

но мне было надо  
я чуть Веру не ударил уже  
достиг предела уже какого то  
и надо было вмазаться как я про себя говорю

и вот я пришел когда по расписанию  
темно дико холодно и снегу столько что рельсов не видно  
и звездочки на небе блестят кошмарно  
и я почему-то подумал — ну вот, прощайся с жизнью па-  
ровоз Максим

(почему-то я подумал ПАРОВОЗ Максим — из мультика  
что ли

в садике показывали вроде)

и такой я стою жду электричку как будет что будет не  
знаю

вот уже должна идти а все не идет не идет

и тут

пилит через пути какой-то дедок древний, в кроссах,  
ваще не по погоде одетый

ковыляет такой с палкой, в наушниках, с БОЛЬШИМ  
рюкзаком за плечами

такой пилит себе  
что он тут делает? — думаю. — в пол-первого ночи?!

И тут электричка из-за поворота  
мягко выезжает

## Ксения Букша

плавно как кошка  
кугук, кугук  
и быстро

а дед чешет  
а дед чешет себе ТУДА и не слышит ничё не видит

и я стоял далеко  
и я такой КАК ЛОМАНУЛСЯ  
тыдыщ!! — грохот звон я ничего не понимаю что проис-  
ходит

мы лежим дедок стонет подо мной вяло шевелит щупаль-  
цами я вызываю скорую  
ничего не понимаю  
холод

мы короче... нас не достало  
электричка проехала  
и все, и больше с тех пор я

я собираю подписи петиции в интернете  
чтобы сделали по-другому с этим переходом  
более безопасно  
чтобы другие ребята  
не могли так перебегать

Мне это уже не нужно  
Мне хочется велик себе купить нормальный  
Я хочу трюковый велик

Я хочу ребенка, трех мальчиков

Я – Максим

Хочу еще нормальный телефон фоткать  
хочу получить образование  
я все хочу

я не знаю, кто этот дед может он тоже  
а я знаю кто я  
я — Максим

Максим



# Катя Капович

## Бабочка огонь перелетела

\* \* \*

Чуден вечер природы  
сразу после дождя,  
водомерка гнет воду  
золотого пруда.

Так вечернее солнце  
напрягло горизонт,  
что вот-вот и вернется  
дальний берег, твой сон.

И стоишь, как на грани,  
своего ничего,  
всё — одно лишь сиянье,  
отражение всё.

**Катя Капович**

### **Памяти Николая Гумилева**

Когда за две недели до расстрела  
он в чайнике заваривал заварку,  
вдруг бабочка огонь перелетела,  
две белые, высокие махалки.

Она порхала там неосторожно  
и в воздухе мелькала под плафоном,  
она всюду кружила по окружной  
в предугреннем пространстве искривленном.

Потом он присела и застыла,  
два крылышка сложила и устала,  
и тихою была, как гроб-могила,  
но в этом мире надпись написала.

В холодном синем воздухе коморки,  
прекрасная, как мебиуса лента,  
что солнце поднимается с Востока,  
что счастье абсолютно, перманентно.

### **Покупка**

Да будет счастье, счастье без причин,  
простое счастье в клетку и в полосу,  
покупка телевизора «Рубин»,  
законное жилье на Димитровской.

## Бабочка огонь перелетела

Я помню, как везли его домой  
и как таксисту оставляли трешку,  
по лестнице несли под «боже мой»,  
и втаскивали в дверь под «осторожно».

Сначала он зеленую тоску,  
потом тоску сиреневую выдал,  
упрямый ящик с дырками в боку,  
он так все лица безнадежно выгнул.

Но кто-то там из общего двора  
пришел, принес, сам приложил усилия,  
из проволоки под общее «ура»  
антенну привинтили, прикрутили.

И в нашей жизни в двести двадцать вольт,  
пусть что угодно утверждают снобы,  
но было, счастье, счастье первый сорт,  
бессмысленное счастье высшей пробы.

## Евгения Некрасова Лакшми

Руки своей жены Овражин попросил три года назад. Она отдала. Солнце вращало прожекторами, жир с шампуров лакировал траву, шипели стаканы из пластика. Лера — длинноногая, тонкокостная веселая синица. Овражин — влюбленная молодая мышца, прямой и весенний. Лере он нравился не до женитьбы, но дома пил отчим, гнила мать, нужно было бежать. Случился нормальный штампованный брак. Сначала обезболивание счастьем, потом настоящая жизнь. Через запятую родились погодки-сыновья. Руку на свою жену Овражин принялся поднимать два месяца назад. Не то чтобы обозлился, просто так он решил спасти свой город.

Тот торчал посреди среднерусской равнины. Спотыкался о годы. Не поспевал за миром, не менялся, а взлохмачивался. В нем самом — ноль чего-то, кроме домов и людей. Горожане потекли работать в соседний пункт с начинкой.

Овражин возил их туда на автобусе. Люди отпахивали свое и возвращались к Овражину в железные двери, набивались усталыми судьбами. Чаще на автовокзале ждали мятые, отработавшие женщины, ждали Овражина страстно — резали пространство наспех подведенными глазами — как не ждали ни одного мужчину — они спешили домой — готовить ужин и растить детей. Его ждали и сами мужчины — как ждут товарища, который вывезет их, сильнораненых, с поля боя, — и они стремились домой — сами не понимая зачем. Когда автобус Овражина показывался на дороге, у всех ждущих радость оккупировала сердце. С утра его тоже ждали, но сонно, спокойно, удивляясь вспоминаящимся сном.

Лера — на восемь лет младше мужа, сама еще не выросла. Она не понимала и не знала, чего хочет. Ее не спрашивали. Пять лет назад она прекратила играть в куклы. Собственные дети казались ей ожившими игрушками. Первая — лысый младенец, который мог лежать, сидеть, мычать «мама», по-настоящему портить пеленки и по-настоящему есть. Вторая — бегающий автоматический щелкунчик, громкий и вездесущий. Детей нельзя было приостановить, выключить, сложить в шкаф, заняться делами, отдохнуть, потом достать и включить снова. Они были беспрерывны. Жизнь не показала Лере ничего больше, кроме родителей-сомнамбул, подруг-мечтательниц, учителей — устаревших роботов, мужа — напряженную мышцу, а теперь детей-игрушек. Лера разглядывала последних с удивлением, но всегда решала, что они + муж и есть то — что ей нужно. По крайней мере, все так говорили.

Три месяца назад Овражина сократили. Он, и так невысокий, — стал ниже. Маршрут его остался — из их города в больший и обратно. Руль его автобуса держал теперь в ру-

ках юный сын директора школы. Тот заплатил, чтобы сыну дали эту работу. Новый шофер водил дурно, ронял пассажиров на поворотах, ломал расписание, но люди мирились. Они и его ждали, как не ждали никого другого, только как Овражина прежде.

Овражин играл две недели. Не со своими детьми. Без еды и сна. Не говорил с женой. На экране один за одним гибли вражеские солдаты. Лера тихо приносила еду, уносила чуть расчесанные вилкой блюда. Она ходила по комнате от лысого к кудрявому и не понимала, как быть дальше.

Она никогда не работала. Овражин не зря так сильно держал руками руль. Работа — подобно кентаврам, единорогам, мамонтам — вымерла в их городке; в крупных городах-соседях она попадалась редко, о ней шатались мифы и легенды. Когда дети шли в третий класс, родители принимались считать год выхода знакомых на пенсию. Потом они отправлялись свататься к самым сговорчивым и расположенным из них, лучше бездетным или с уже работающими детьми. Не получалось — находили другого. Если выходило — работающий знакомый год от года рассказывал начальству о растущей достойной замене. Раз в полгода-год родители подкрепляли дело дорогими подарками работающему знакомому. Так ребенку выбиралась профессия. Но раз в декаду случалась дыра — на моментальную вакансию не находилось человека-заготовки. Как было с Овражиным. Прежний водитель вдруг убежал из пункта. Говорили, любовница увезла его на своей машине в большой город. Так тогдашний двенадцатилетний Овражин, прежде перебивавшийся случайными заработками, самый молодой, самый трезвый из умеющих водить в округе, сел за руль важнейшего автобуса в пункте. Из таких историй лепили

## Евгения Некрасова

мифы. Не делая из своего ребенка заготовку, не надеясь на удачу — работы можно было добиться только важным знакомством или взяткой. Так поступил директор школы, когда его сын захотел водить овражинский автобус.

Важных знакомств и крупных сумм Овражин не нашёл. Из-за прямого и нудного характера у него осталось двое всего друзей. Лера знала, что он никогда не найдёт себе места. Он и не находил себе места. Деньги списывались с дебетовой карты. Кредитных Овражины боялись и не заводили. Дети ели по расписанию, и нужно было искать путь спасения.

Овражин не мыслил практично. Он переживал только о гибели своего героизма. Страшно болело, что он не возил теперь людей до источника их существования и обратно. Враги брызгали кровью на экран, это немного обезболивало. На третью неделю Овражин вдруг захотел прогулки. Под удивленным взглядом жены он встал и шагнул в город.

Тот вдруг поразил коренастое овражинское сердце. Овражин рос тут, но постоянно был занят — сначала детством, потом пубертатом, потом следил за дорогой и собирал с пассажиров деньги, дальше добавил себе семью. Не оглядывался по сторонам. Родной пункт оставался вне овражинского внимания. И вот показался при дневном свете. Овражин, отвыкший ходить, ковылял по городу, заваливаясь на обочины, и растирал по лицу соляной раствор.

Асфальтовые опухоли и морщины, заснувшая навсегда мебельная фабрика, бетонные крепости многоэтажек с мутными, почти слюдяными окнами, серые коробки школы и больницы, ржавые детские площадки, супермаркет-на-месте-книжного, пожелтевшие зубы дэкашных колонн, слепой неудачник Ленин, а главное — серо-прозрачные лица людей,

не несчастливые, а никогда не знавшие, как подвинуть мышцами кожу для того, чтобы выразить собой счастье. Овражин не помнил, всегда ли город был таким или испортился. На улицах попадались ему дневные люди — пенсионеры, дети, неюные женщины и безработные. Но и работающие люди не выглядели счастливыми. Даже сын директора школы, забравший овражинский автобус, ездил мрачный и нервный.

Овражин осознал, что потеря собственной работы — легкая, грустная инфекция по сравнению с громадной, на тридцать тысяч человек эпидемией общегородского несчастья. Он застрадал и запил. Лера терпела пять дней, а потом стала говорить с ним про работу-вахту в Гулливерии или даже на Холоде, куда ездили мужья ее подруг. Тогда Овражин впервые поднял на нее руку. Лера удивилась с непривычки. Отчим бил мать, но Леру никогда, не из благородства, просто ему было странно бить чужого человека. Лера надулась вместе со своей ушибленной рукой, но легла спать с мужем. Больше некуда, Овражины жили в однушке.

Ладушки-ладушки,  
Где были?  
В однушке.  
Что делали?  
Били.  
Кого били?  
Женушку.  
Зачем били?  
Дура.

Утром Овражина затянул стыд. Лера и дети ушли гулять до того, как он проснулся. Он отправился их искать и сразу



## Евгения Некрасова

встретил двух смеющихся старух, то есть чудо. Овражин повеселел, забыл про стыд и заметил, что в многоэтажке на четвертом этаже женщина мыла окно. У гаражей на фонаре аист пытался вить гнездо. Пункт вроде как подтянулся. Овражин решил, что завтра начнет искать работу. После ужина он заговорил с Лерой ласково, распустил руки. Она молчала и не двигалась, не понимая, как лучше себя вести. Овражин разозлился, что жена не ценит его, не радуется, не обнимает его, не хвалит его, что он взял себя в руки и захотел искать работу. Он ударил ее во второй раз. Лера ответила ему толчком в грудь. Он ударил ее гораздо сильнее. Лера стукнулась плечом о косяк.

На следующий день интернет сообщил, что их мебельную фабрику купил некрупный феодал из Гулливерии. Город зашатался, задышал часто в предвкушении новых рабочих мест. И сама фабрика не спала больше, а ворочалась, звенела выбитыми окнами. Овражин выпил со знакомым в пивной. По дороге домой он заметил много симпатичных людей.

Лера как робот кормила детей, убирала за ними, мыла их, передавала им игрушки — бессмысленно показывала игрушки игрушкам. Болели плечо и голова. Было то ли страшно, то ли запутанно. Кудрявый терзал детский синтезатор и не чувствовал мать, лысый — всё еще Леру сосущий — через ее молоко впитывал приторное сочетание боязни и растерянности. Овражин вернулся, обнаружил себе раскладушку на кухне, дошел до комнаты и ударил жену в челюсть. Он не понимал, почему в такое время жена пошла против него. Он лег в их кровать, Лера разместилась на кухонной раскладушке. Утром она взяла детей и перешла к родителям.

Овражин проснулся и отправился гулять. У разинутых фабричных ворот стояли три красивые фуры. В конце улицы Эспланадной открылся первый бутик, крохотный, как дамская комната. Овражин котом походил, почесался о красивые шмотки под взглядом-ударом молодой продавщицы. Там же наступил на ногу бывшей классной руководительнице. Та забыла его имя, но вытянула из памяти его курносое лицо. Плача счастливой водой, она поведала, что внучка поступила в Гулливерии в малодоступный институт.

Дома Овражин обнаружил, что Леры нет с детьми и некоторыми вещами. Он нахмурился, женин мобильный не отвечал, позвонил в ее прежний дом, трубку взяла Лерина мама. Она смушалась, говорила шепотом то куда-то, то Овражину в ухо, что так нельзя и что скоро всё наладится. Под «куда-то» пряталась Лера, а фоном пел старший кудрявый сын. Овражин уловил, как в эту симфонию матернулся отчим. Мать Леры бросила трубку. Овражин не расстроился, чувствуя, что всё само разрешится.

Ладушки-ладушки,  
Где были?  
У бабушки.  
Что делали?  
От мужа-отца спасались.  
Детей кормили.  
Детей спать ложили.  
С отчимом ругались.  
С матерью плакали.

Завтра и послезавтра Овражин кружил по городу в поисках новых счастливых явлений, но никаких, кроме старых, не

## Евгения Некрасова

попадалось. Пункт затужил. Жители носили всё те же мятые лица-авоськи на фоне бетонных стен. Овражин расстраивался, чуял, что город всё-таки тонет, но не думал про сбегавшую семью. Знал — они дышат воздухом пункта рядом, в бетонной коробке тещиной квартиры. Не успел Овражин зарости щетиной, как Лера с детьми вернулись. Овражин сказал ей, что прощает. Лера ответила, что она его нет. Овражин швырнул жену в полосатые обои и ударил ногой в живот.

На следующий день Овражин встретил у стадиона одного-из-двух-своих-друзей Стасова. Тот оказался перерожденным. Обнял Овражина и рассказал, что его жена ждет ребенка после семи лет попыток. Овражин порадовался за друга, а дойдя до мебельной фабрики, где ставили новые окна, вдруг застыл в озарении. Он понял, что счастье пункта находится в его собственных руках. Всё указывало на это. Овражин затрепетал, задышал всем своим телом-мышцей. Пункт — город счастья, Овражин человек-герой!

С этого дня он бил жену ежевечерне, а следующим утром выходил на улицу собирать плоды своей работы. Бил — ходил. Плоды всегда попадались ему, сами шли ему в руки: то встречался завязавший знакомый алкоголик, то красили забор мебельной фабрики, то толпилась у подъезда свадьба (один раз сына-директора-школы), то открывали первый за много лет в пункте книжный, то вдруг просто улыбались на улице. И всё это Овражин считал своей заслугой, своим подвигом.

Овражину сложно было бить любимую жену. Бить приходилось по-настоящему, он проверял: толчки и постукивания не засчитывались. Он полюбил жену сильнее, ведь она одна страдала за целый пункт. Овражин не искал рабо-

ту, сейчас он делал то дело, для которого родился, — осчастливливал. Однажды вечером он сломал Лере ее острый нос, на следующий день его позвали шофером на мебельную фабрику. Овражин подумал, вот и ему достался кусочек счастья. Ничего более ему не нужно, кроме жены, детей и любимой работы. Не то что — пункту. Всех его пунктов не счесть.

Ладушки-ладушки,  
Где были?  
В однушке.  
Что делали?  
Били.  
Кого били?  
Женушку.  
Сильно били?  
Били-били, не убили.  
Зачем били?  
Чтобы город спасти,  
Чтобы работу найти,  
Чтобы фабрику открыть,  
Чтобы семьи накормить,  
Чтобы счастьем одарить.

Лера — нулевая душа, не понимала происходящего. Выходила за одного человека замуж, теперь вон что вышло. Любила больше всего это тело-мышцу, теперь сильнее всего боялась его. Пыталась найти в себе причину-ошибку, молчала, не перечила, делала всё что требовалось, но Овражин не опускал руки. Детей он не трогал, но потерял к ним интерес вовсе. Он не волновался, если дети видели его наступ-

## Евгения Некрасова

ления на мать. Подумаешь, пара маленьких игрушечных глаз, всё равно еще ничего не различают. Раньше ему нравилось отцовствовать, теперь он не глядел ни на лысого, ни на кудрявого, полностью отсутствовал для них. Зачем теперь Овражину дети, когда он — папа всего города?!

Леру принялся крутить страх. Пункт — город-обреченность, Овражин — человек-чудовище. Она распознавала его шаги на улице из окна третьего этажа. Тело принималось болеть заранее, желудок сжимался в мятый пакет. Овражин любил Леру как никогда, Лера узнавала мужа как никогда прежде. Изучила его вдоль и поперек — как ученый исследует опасный вирус или ядовитую тварь. Овражин — супергерой, Лера — суперробот, что сканирует движения через стену, Лера — суперпророк, что предсказывает намерения. По тональности овражинского дыхания Лера научилась понимать, куда он ударит ее сегодня. Когда он приближался с лицом бьющего через силу, она закрывала цель, и он оскорблялся ее противодействию, начинал злиться и бил со звериным выражением.

Лера боялась отбиваться или драться в ответ. Жена — женщина, муж — мужчина. Женщины и мужчины не равны. Женщины не могут быть как мужчины, потому что не могут бить как мужчины. Птица-Лера не способна ударять, как жила-Овражин. По другому поводу Овражин к жене не прикасался, Лера перестала быть для него женщиной, а сделалась вечной такой жертвенностью.

Лера пыталась анализировать. Чувствовать, как действовать дальше. Не хватало опыта и чьей-нибудь помощи. Спросить некого, спрашивать не с кого. К подругам идти — стыдно, к матери снова — бесполезно. Искала правильное следующее движение. Бежать — с двумя ожившими кукла-

ми, которые много едят и не любят холод. Куда? Бежать без них? А разве они не то — что ей нужно? Официальные лица и организации Лера не рассматривала, случилась у нее с ними страшная сказка-история в детстве. Никаких кризисных пунктов в их пункте не находилось.

Через запятую в лебединые двадцать два года Лера узнавала взрослые — разочарование, ужас, страх, гнев, отчаяние и смирение. Последнее шло рука об руку с уютным безумием. Лера так хорошо изучила мужа, что стала им. Жила сама, но смотрела его глазами. Вот он в туалете достает член, чтобы помочиться, вот выглядывает с балкона, чтобы удостовериться — там никого из горожан и можно сбросить пепел, вот он замахивается, чтобы ударить жену в живот. Жизнь вся заболела, посинела черным и превратилась в незаживающую, ноющую гематому. Для собственного утешения Лера оправдала Овражина и принялась терпеть, считать напасть чем-то вроде холеры, переписывая авторство синяков с мужа на судьбу.

От побоев Лера вся сдулась до кости, нос (даже сломанный) вылез далеко в воздух, серые глаза затянулись мутной пленкой, русые волосы поредели. Она, молчунья, перестала говорить вовсе. Из-за синяков надела длинные рукава и шарфы. На детской площадке мамы трындели, что она злоупотребляла наркотики или обратилась в религию. Ее стали обходить стороной. Лысый и кудрявый — свидетели новой родительской жизни — тоже изменились. Кудрявый стал еще громче и резче, лысый еще тише и задумчивее. С кудрявым бросили играть другие невыросшие, а лысый привык пить молоко с привкусом страха и крови.

Овражин ходил героем и светил счастьем. За это его ценили на новой работе. Вместо дерева он принялся возить

## Евгения Некрасова

новое фабричное начальство. Отказывался только от далеких поездок, чтобы не пропускать ни одного дня своего дела. Овражины разбогатели. Муж носил в дом гаджеты, домашнюю технику, дорогие игрушки детям и странные подарки жене: кольцо — на шею в синяках, цветы — не унюхать сломанным носом.

Ладушки-ладушки,  
Что делал?  
Овражился!  
Чего?  
Как герой куражился!

Овражин почувствовал, когда жена смирилась. Понял, что пришло время ее осчастливить, открыться ей. За ужином, держа Лерину руку, он растолковал ей их миссию. Говорил, что она — праведная, юродивая, единственная, важная; он — всего лишь герой, а она — святая, спасительница пункта. Рассказывал, как позже напишет книгу, как добьется признания ее святости, как ее лицо разместят на иконе. Лера слушала и смеялась про себя желудком — муж не стал хуже, муж просто сошел с ума. Тут пожаловал уже повзрослевший, тренированный Лерин страх, замена ума. Объяснил, что хуже всего то, что Овражин во всё это верит. Лера ужаснулась, заорала бесшумно внутри своей груди и попросила не-ясно-что или кого о перемене.

Ладушки-ладушки,  
Где были?  
Нет ответа.  
Что делали?

## Лакшми

Нет ответа.  
Что сказать хотите?  
Не хочу на икону,  
хочу в жизнь  
смотреть,  
на людей  
смотреть.  
Со своего лица,  
а не от стен.  
Что желаете?  
Перемены.

Ближайшей ночью лысый тихо спал кверху лысиной. Кудрявый сопел, приминая кудри. Овражин давно провалился в здоровый геройский сон. И только Лера не могла заснуть от страшного зуда в плечах — неясно откуда свалившегося. Муж гулял сегодня ногами по ее ребрам, вчера по ногам руками, позавчера трогал тумачами в голову. Проснулась рано от неудобства — под каждое плечо будто подложили по пухлой подушке. В зеркале на сине-зеленой спине отразились две огромные бугорчатые опухоли — по одной на каждой оборотной стороне плеч. Лера не успела расстроиться, вспомнила про свои обязанности, накинула халат и отправилась готовить завтрак.

День прокатился обычным образом. Кукольная скука Леры, набившие оскомину игры: в дочки-матери, в повара, в уборщицу, в покупателя магазина. Всё это — с неуклюжей болью в распухших плечах. Из-за них с трудом Лера поместилась в куртку. От сильного ветра дети звенели музыкальными мобилями. На прогулке Лера вспомнила, что она уже просила о перемене прежде: о прекращении скуки. И вот,



## Евгения Некрасова

чтобы сломать ей скуку, осатанел Овражин. После просьбы о второй перемене — в плечах вылезла какая-то страшная болезнь от постоянного битья и теперь, видимо, надвигалась освободительная смерть.

Вечером пришел Овражин. Лера сразу нащупала, как он напряжен, человек-мышца. Овражин трепетал — пункту сильно нужна была подмога. Наговаривал ласковости, хвалил ужин, улыбался, шутил, брал Леру за руки, целовал их. Завтра решалось, появится ли у фабрики второй цех от инвесторов, что означало много новых рабочих мест, то есть мест в жизни. Овражин знал всё от самого директора, которому стал чем-то вроде правой руки. Доели всё наготовленное. У Овражина чесались руки. Лера уложила детей спать и ушла мыть посуду. Она чувствовала за стенкой геройское возбуждение мужа. Овражин покурил на балконе и пришел на кухню. Сердце ворочалось. Он замахнулся — давно уже не зачинал с женой формальную ссору, а бил так. Лера зажмурилась, покрылась ледяной коростой страха. Она вытянула руки, чтобы прикрыться. Вдруг страх ее сменился громадной злостью. Жуткая боль проколола плечи, раздался резкий тростниковый хруст. Лера удивилась, что муж бьет ее в плечи. Внезапно она схватила его за горло. Овражин по-тараканьи завозился лапками. Лера скрутила ему их за спиной. Застыла и только сейчас рассмотрела, что одной парой рук держит Овражина за горло, а другой — сковывает его руки. Овражин резко дернулся. Лера бросила его в стенку. Он отскочил и сполз на пол. Мужское тело лежало, удивленное и ударенное, впервые оскверненное женским отпором. Лера стояла растрепанная, четырехрукая, в перекрученном фартуке и глядела на мужа с жалостью и разочарованием. Овражин пополз к двери, выбежал

## Лакшми

в комнату, дальше на балкон. Тот задрожал от овражинского страха.

В ванной зеркало показало Лере дополнительный набор рук, выросших повыше старых. Эти — новее, без синяков, без поломанных пальцев, не высушенные домашней работой — слушались не хуже ранних и были сильнее и выносливее. Лера замахала всеми четырьмя и засмеялась. Она вернулась на кухню и продолжила мыть посуду: в одной руке держала тарелку, другой терла посудину губкой, третьей рукой споласкивала, четвертой — ставила чистую на полку. Закончила быстро, поправила всеми руками одеяльца на детях и впервые за долгие месяцы заснула спокойным, правильным сном. Овражин, размякший телом-мышцей от страха, торчал старым пуфиком на балконе. Через два часа он отважился, пробрался в комнату, нашел там раскладушку и утащил ее на кухню. Там он не спал всю ночь, ковыряясь глазами в пожелтевшем потолке.

Ладушки-ладушки,  
Ладушки-ладушки,  
Где были?  
В однушке.  
Что делали?  
От мужа отбивались.  
Что еще?  
Посуду мыли.

Ранним утром Овражин тихо выбирался из квартиры. Кудрявый проснулся и посмотрел на отца. Хотел что-то сказать на своем детском языке, но передумал. Овражин не заметил старшего сына. Нужно было проверить город. Улицы не по-

казали герою ничего определенного. Не происходило ничего особенно хорошего или плохого. Жизнь пункта застыла мутным говяжьим холодцом. Тут давно не случалось счастливых всплесков. Овражин мучился, то ли он плохо старался, то ли жертва его уже не годилась. Фабричные переговоры начались, шли сносно — но шагнули на завтра. По дороге домой начальник поинтересовался, не случилось ли чего у затихшего шофера. Погода висела пасмурная, но безветренная, улицы влажнели прожилками глинистой грязи, но без мусора, люди выглядели занятыми, но не расстроенными. Овражину то и дело мерещилось, что у каждого вылезло по дополнительной паре рук. Выходило, что в пункте Овражин самый несчастливый сегодня человек.

Лера провела сегодня хорошо. Лишняя пара рук оказалась полезной в хозяйстве. Верхними — резала морковь, нижними — мешала лук на сковородке, верхними — пылесосила, нижними — вытирала пыль. В супермаркете (пришлось вырезать в свитере и куртке дыры) нижними — катила коляску, верхними набирала продукты. В парке верхними — катила коляску с лысым, нижними — вела за руку кудрявого. Кроме обычных дел, Лера бойко перемыла, перебрала, переставила — всё, до чего не доходили руки в прежние замужние годы. До овражинского рукоприкладства семья существовала в традиционной дрёме, после — в традиционном аду. Сейчас, как чувствовала Лера, приближалась настоящая живая жизнь.

Детям Лера передала смесь спокойствия с радостью. Они очеловечились, перестали казаться куклами. Она трогала верхними и нижними руками лысого и кудрявого за щеки, уши, плечи, макушки — и чувствовала, какие они теперь живые. Она играла и с лысым, и с кудрявым в ладучки обе-

## Лакшми

ими наборами рук одновременно. Верхними — укачивала младшего, нижними — рисовала со старшим. Кудрявому (лысый не умел пока спрашивать) Лера объяснила, что купила дополнительные руки в магазине для помощи по дому. Это был хороший день. Она не знала, откуда взялись вторые руки. Может быть, Лера превратилась в Лакшми, богиню счастья и благополучия, чтобы действительно сделать пункт лучше. А может быть, и нет.

Ладушки-ладушки,  
Ладушки-ладушки,  
Где были?  
В однушке.  
Что делали?  
Детей кормили,  
Посуду мыли,  
Пыль вытирали,  
Детей расколдовывали,  
В ладушки играли,  
Лысого качали,  
Кудрявому читали.

После работы Овражин пошел не домой, а ко второму своему другу — круглому полицейскому Чашину. Лера кормила детей ужином, укладывала их спать. Укачивала верхними руками младшего, держала нижними книжку старшего и читала про Муми-троллей (нашла книжку, решила, хорошая). Потом мылась в ванной, тщательно намыливалась сразу тремя мочалками, потом вытиралась четырьмя руками и двумя полотенцами. Стоя голая в напаренной комнате, ласково расчесывала свои волосы — по гребню в каж-

## Евгения Некрасова

дой правой руке, по пряди в каждой левой. Иногда меняла гребень на прядь или прядь на гребень. Потом заплела в четыре руки себе одновременно две косы и ушла спать. Мышца-Овражин и шар-Чащин пили бражное вино, говорили про политику, чуть коснулись жен, углубились в судьбу пункта. Овражин не проваливался в опьянение, а возвышался, распухал над страхом. Он знал, что город нужно спасти.

В час ночи, прямой и упрямый, как голодный упырь, Овражин вернулся в спокойный, спящий дом. Лера, раскинувшись на простынях четырьмя руками / двумя ногами, сладко спала в супружеской постели. Муж тихо пробрался к ней, взял новую верхнюю правую руку, поцеловал, погладил. Лера улыбнулась в ответ, приняв Овражина за условного, абсолютного мужа, которого никогда не встречала. Овражин взял новую верхнюю левую. Погладил, поцеловал тоже, сложил новые руки жены вместе, как покойнице. Лера почуяла сквозь сон злой овражинский пот. Прежде чем она успела проснуться, Овражин глянул наручниками на ее запястьях и забрался сверху. Овражин одолжил у Чащина наручники под предлогом сложного сексуального приключения. Вторую Лерину пару рук — прежнюю и слабую — Овражин тоже собрал вместе и заковал другими наручниками. Он объяснил круглому полицейскому, что у них с женой особенная любовь. Карябаясь пахом о наручники, Овражин запахнул все четыре женины руки себе между ног, придерживая их одной своей левой за запястья, принялся бить Леру по животу и лицу. Она сжимала зубы, чтобы криком не разбудить детей. Но лысый не спал, а стоял в кроватке и разглядывал родителей. Кудрявый сопел или делал вид, что спит, уже взрослый и понимающий, что лучше делать

вид, что не видишь. Овражин был уверен, что завтра в пункте наступит новая, счастливая эра.

Лера под ударами рассуждала, на сколько хватит мужа и сколько задержится в живых она сама. Думала, кто завтра покормит детей, если она не сможет. Новое, незнакомое ей ощущение вдруг созрело в распухающей голове. Не злость, не обида, не ненависть, а страстное, пульсирующее желание счастья. Счастливого переворота. Сразу после Лера ощутила жуткую боль в лопатках, по сравнению с ней поблекли, понежнели овражинские удары. Лера вцепилась зубами в случайно забредшую в супружескую кровать мягкую зебру, чтобы заглушить свои крики. Громкие раскаты хруста набили комнату. Увлеченный Овражин пропускал происходящее и замахивался в очередной раз. Из-под Лериных лопаток — как и положено, слева и справа — вылезло по сильной, красивой, новой руке. В двух сантиметрах от Лериного окровавленного лица эта новая пара схватила овражинскую руку. Муж замахнулся левой — снова раздался хруст, и стремительно пророс еще один, четвертый набор рук. Он перехватил овражинскую левую и отвел ее в сторону. Может быть, Лера превратилась в Лакшми, богиню счастья и благополучия, чтобы вправду сделать пункт лучшим местом на земле. А может быть, и нет.

Четырьмя свободными руками Лера скинула Овражина на пол. Покачиваясь, поднялась сама. Овражин отполз к стенке. Заметив проснувшегося лысого, Лера взяла его четырьмя руками и принялась укачивать. Две прежние пары ныли в бездействии в наручниках. Овражин чувствовал, что пробил наконец час его героического подвига. Он поднялся на ноги и побежал на жену. Лера отняла от младшего одну пару рук и второй, освободившейся, от-

## Евгения Некрасова

толкнула мужа от себя с ребенком. Овражин ударился о шкаф и упал. Вернув лысого в кроватку, Лера приблизилась к Овражину, достала ключи из кармана его брюк и освободила свои закованные запястья. Муж покатился и сбил ее с ног. Они завалились вместе. Лера обвинилась во круг Овражина двумя ногами и восемью руками. Он задержался всем своим телом-мышцей и заматерился. Самыми верхними руками Лера схватила его со спины за рот и шею, Овражин выдал кряхтенье вместо ругательств. Она заметила два синих глаза кудрявого, глядящих с кроватки. Ослабила хватку на мужниной шее, стиснула свои тощие челюсти, не выпуская добычу из объятий, покачиваясь, поднялась на ноги и всеми восемью руками перетащила Овражина на кухню. Придерживая его обмякшее тело-мышцу новыми четырьмя руками, ударила его двумя свободными парами рук. Потом еще и еще. Била не очень долго, уставая, делая передышки, не из мести даже, а чтобы успокоить. Нижними руками пришлось закрыть ему рот. Дети спали по соседству, а Овражин, в отличие от Леры, совсем не терпел боли.

Ладушки-ладушки,  
Ладушки-ладушки,  
Ладушки-ладушки,  
Ладушки-ладушки,  
Где были?  
В однушке.  
Что делали?  
Били.  
Кого?  
Мужа-перемужа.

## Лакшми

Чем били?  
Руками третьими и четвертыми.  
Чем держали?  
Руками первыми и вторыми.  
Как рот закрывали?  
Руками первыми или вторыми.  
Сильно били?  
Били-били, не убили.  
Зачем били?  
Чтобы случилась перемена.  
Зачем менять?  
Чтобы монстра унять.  
Зачем?  
Чтобы приблизиться к покою,  
А потом к счастью,  
Мне и детям — бывшим игрушкам.

Утром Овражина увезли на «скорой», которую он сам себе вызвал. К Лере прикатился круглый взволнованный Чашин. Она в опухшем до пуховика халате, с опухшим от побоев лицом сказала, что муж пришел домой уже битый. Чашин — не слепой, заподозрил тут взаимную связь повреждений. Но, помня, что сам одолжил другу наручники (которые нашел на полу и тихо забрал), решил всё замять.

Фабричный начальник заперезживал о правой своей руке, приехал лично в больницу и заплатил за медицинские услуги. Потом позвонил жене шофера — протянуть руку помощи, но Лера сказала, что справляется, держа трубку в одной ладони, чашку чая в другой, блин с вареньем в третьей, управляя прядь четвертой.



## Евгения Некрасова

Три недели Овражин пролежал на самом дне своего страха в больнице. Лера водила к нему детей и носила го-стинцы. При их появлении Овражин вжимался в стену и молчал, круглыми от ужаса глазами щупая широкое Ле-рино пальто, под которым жили вторые, третьи и четвертые руки. Кудрявый говорил с отцом, лысый гугукал, но Овражин не реагировал. Лера улыбалась и разносила по палате печенье. Муж всё равно ничего не ел из ее рук. Соседи по палате сочувствовали, что парень никак не придет в себя.

Раз приходил начальник, рассказывал, что сильно ждет Овражина, особенно сейчас — в начале строительства вто-рого фабричного здания. Когда через две недели пациента стали выписывать, Овражин личными своими деньгами уговорил оставить его на дольше. Овражин прятался еще неделю. На ее исходе позвонила фабричная секретарша спросить, когда же он выйдет на работу. Тот поклялся по-явиться сегодня же. Он действительно собрался и шагнул из больницы с крохотной сумкой. Не глядя по сторонам — ни в лица людей, ни на городские виды, равнодушный ко всем ним, заспешил на остановку. Там он погрузил свое тело-мышцу в автобус, и сын-директора-школы увез его из пункта. Пункт — город-пропасть, Овражин — человек-пропасть и совсем не герой.

Овражин больше не вернулся. Может быть, вторые, тре-тьи, четвертые руки появились у Леры оттого, что она стала Лакшми, многорукой богиней счастья и благополучия, ко-торой суждено было сделать пункт лучше. А может, вторые, третьи, четвертые руки появились у нее только для того, чтобы дать отпор мужу. С тех пор говорили, что во многих пунктах у женщин стали вырастать дополнительные руки,

## Лакшми

чтобы отбиваться от мужей и сожителей. Говорили, что у некоторых появлялись вторые ноги и что ими бить гораздо удобней. Но всё это — мифы и легенды малых пунктов и городов.

Ладушки-ладушки,  
Где были? Всюду.  
Что делали?  
Били.  
Кого били?  
Мужей-крепежей.  
Сожителей-воителей.  
Сильно били?  
Били-били. Не убили.  
Чем били?  
Руками первыми били.  
Вторые, третьи, четвертые  
Руки растили.  
Ими всеми били.  
Вторые ноги растили.  
Ими тоже били.  
Зачем били?  
Чтоб небитыми быть,  
Чтобы радостней жить,  
Чтобы покой приблизить,  
А может быть, счастье.  
Правда били?  
Нет.  
Правда к счастью приблизились?  
Нет.

## Евгения Некрасова

Овражинский город продолжал жить без Овражина, тащиться за временем, перемалывать то хорошие, то плохие свои дни, вынашивая в себе и счастливых, и обычных людей. Лера повзрослела и помолодела одновременно, зажили ее синяки и раны, тело набрало женский вес, в глаза вернулся прозрачно-серый цвет, волосы загустели, нос тоже зажил и симпатично поместился рядом с вернувшимися щеками, сама она забыла страх, гнев и равнодушие, нашла работу-чудо и начала ощущать не счастье, а частую объемную радость. Поняла, что лысый и кудрявый — то, что ей нужно, но всегда может появиться что-нибудь еще. Вторые, третьи и четвертые руки исчезли у Леры на следующий день после овражинского побега. Дети очень по ним скучали.

Ладушки-ладушки, где были?

У бабушки.

Что ели?

Кашку.

Из чего кашка?

Из историй страшных

Про многорукую Лакшму.

Где кашку взяли?

Сами написали.

Зачем такая кашка?

Чтоб беды прогнать,

Чтобы счастье приблизить.

# Сергей Носов

## Судьба

*Комната Ивана Ивановича.*

*Иван Иванович вводит в дом Друга Детства.*

Д р у г. Вот, значит, как ты живешь, Иван Иванович. Сколько же мы с тобой лет не виделись?

И в а н И в а н ы ч. Много, много. Чай будешь пить?

Д р у г. Ничего не буду. Прости, ждут меня. Одна нога здесь, другая там.

И в а н И в а н ы ч. Ну, за встречу-то? Сам Бог велел. Неужели так и убежишь?

Д р у г. Не обижайся, не пью.

И в а н И в а н ы ч. Совсем?

Д р у г. Совсем. *(Осматривается.)* Здесь у вас шкаф стоял. Старинный.

И в а н И в а н ы ч. Продан шкаф. И зеркало продал. Когда отец умер.

## Сергей Носов

Д р у г. Да... зеркало... в раме резной... Мне дядя Ваня снится иногда. Хороший был мужик. Оригинального ума человек.

И в а н И в а н ы ч. Ты о себе расскажи.

Д р у г. Ну а что о себе... Работаю. Вот в экспедиции мотаюсь, иногда друзей навещаю. Раз в сто лет. На пять минут, когда проездом... Ничего не поделаешь — судьба. Семья у меня не очень большая... Теща с нами живет. Дочь на выданье. Вот написал учебник по этнографии. А ты?

И в а н И в а н ы ч. Я — всё хорошо. Братья в люди выбились. Как говорится.

Д р у г. Ты знаешь, как я к твоим братьям отношусь. «Как говорится». Твои братья, «как говорится», удачно женились.

И в а н И в а н ы ч. Есть мнение.

Д р у г. Вань, а как у тебя-то?

И в а н И в а н ы ч. У меня-то?.. Нормально. У меня всё хорошо.

Д р у г (*осторожно*). Не женился?

И в а н И в а н ы ч. Я-то? Да как сказать. А ты почему спрашиваешь?

Д р у г. Просто спросил. Нельзя?.. Если что не так, то прости.

*Пауза.*

И в а н И в а н ы ч. Нет, почему. Всё так. Я тоже. (*Пауза.*) Женат.

Д р у г. Молодец.

*Пауза.*

И в а н И в а н ы ч. Нет, я женат, женат. Всё хорошо.

Д р у г (*уступчиво*). Я так и слышал: ты женат. Всё хорошо у тебя. Хорошо.

## Судьба

И в а н И в а н ы ч. От кого слышал?

Д р у г. Да все говорят: женат.

И в а н И в а н ы ч. Все? А зачем тогда меня спрашивать, если все говорят?

Д р у г. Я же не всех спрашивал, я тебя только — сейчас. Мало ли что все говорят. И никакие они не все... А так... некоторые.

И в а н И в а н ы ч. А на ком, они все говорят, я женат?.. Все-некоторые...

Д р у г. Да я про то и не спрашивал, на ком... Женат и женат.

И в а н И в а н ы ч. Их послушаешь, всех-некоторых, такое услышишь...

Д р у г. Я, Иван, слухам-то не очень доверяю.

И в а н И в а н ы ч. Нет. Всё хорошо. Ты не думай.

*Пауза.*

Д р у г. Давно?

*Пауза.*

И в а н И в а н ы ч. Одиннадцать лет, двенадцатый пошел.

Д р у г. Ууу как давно. Срок, срок. Мирно живете?

И в а н И в а н ы ч. Очень мирно.

Д р у г. Даже «очень»?

И в а н И в а н ы ч. Никогда не ссоримся.

Д р у г. Значит, повезло. Такое редко бывает.

И в а н И в а н ы ч. Практически не бывает.

Д р у г. А дети?..

И в а н И в а н ы ч. Дети — что?

Д р у г. Детей... нет?

И в а н И в а н ы ч. Кто тебе сказал, что нет детей?

Д р у г. Никто. Это я *тебя* спросил.

И в а н И в а н ы ч. Есть.

## Сергей Носов

Д р у г. Вот видишь.

И в а н И в а н ы ч. Вижу. Вижу, что ты мне не веришь.

Д р у г. Зачем же не верить? Охотно верю.

И в а н И в а н ы ч. Есть, есть у меня дети. Но ты не веришь, я вижу.

Д р у г. Какой-то ты, Иван, подозрительный стал...

И в а н И в а н ы ч. И не верь. Нет у меня детей. Я пошутил.

Д р у г. Ну, нет так нет. У одних есть, у других нет... Я, пожалуй, пойду... Хозяйка-то где твоя?.. Уехамши?

И в а н И в а н ы ч. Здесь она. Спит.

Д р у г (*оглядываясь*). Что же ты сразу не сказал? А мы громко так... Н-да... Ладно. Не буду тебя... отвлекать.

И в а н И в а н ы ч. Подожди, я вас познакомлю.

Д р у г. Нет, нет, не буди ее, не надо. Я ухожу.

И в а н И в а н ы ч. Подожди, тебе говорят. Сейчас познакомлю! (*Выходит.*)

Д р у г (*громким шепотом*). Удобно ли это? Вань, давай не будем, а?.. Вань, может, не надо?

*Иван Иваныч вернулся; в руках нечто накрытое черной тряпкой. Ставит на стол. Снимает тряпку. Трехлитровая банка с водой. На дне лягушка.*

*Гость глядит на лягушку с ужасом.*

И в а н И в а н ы ч. Моя.

*Пауза.*

Д р у г. Так вот оно что... Значит, правду мне говорили...

И в а н И в а н ы ч. Да что они знают? Они ничего не знают! (*Вспылл.*)

## Судьба

Д р у г. Ванечка, миленький... как же это тебя угораздило?..

И в а н И в а н ы ч. Отец.

Д р у г. Ах да, отец.

И в а н И в а н ы ч. Он потом сам испугался.

Д р у г. Да, да, я понимаю...

И в а н И в а н ы ч. Братья-то стреляли... знали куда... А я... дурак был...

Д р у г. В болото... Понимаю, всё понимаю...

И в а н И в а н ы ч. Приношу скользкую, держу на ладонях, у нее зобик... горлышко: пф, пф, пф... братья смеются, сволочи... а я на отца гляжу, никогда не забыть, взгляд у него тускнеет, тускнеет...

Д р у г. Но... ты, Ваня, уверен... она не того?..

И в а н И в а н ы ч. В каком отношении?

Д р у г. Ну... не царских кровей?..

И в а н И в а н ы ч. Сам ты царских кровей!.. Это только по твоей этнографии в сказках царевны, а по жизни, знаешь, никаких нет царевен... Всё проще по жизни. Или сложнее — как тебе больше нравится. Одно слово: судьба. Сам сказал.

Д р у г (*робко*). А кормишь чем?

И в а н И в а н ы ч. Мух ловлю. Таракашек ест. Потом на травку выпускаю. Прыгает...

Д р у г. Но ты ее... (*Осекся.*)

И в а н И в а н ы ч. Что?

Д р у г. Ты ее... любишь?

И в а н И в а н ы ч. Не знаю. (*Помолчав.*) Да. Кажется, да.

Д р у г. А она тебя?

И в а н И в а н ы ч. Кажется, да.

Д р у г. Это главное, Ваня, это главное.



## Сергей Носов

И в а н И в а н ы ч. Помнишь, у Пушкина? «Привычка свыше нам дана, замена счастию она». Мудро ведь сказано.

Д р у г. Шатобриан. Его мысль.

И в а н И в а н ы ч. Не важно чья.

Д р у г. А разве они так долго живут? Одиннадцать лет...

И в а н И в а н ы ч. В домашних условиях.

Д р у г. Понимаю.

И в а н И в а н ы ч. Да нет, ты не думай, она не старая.

Д р у г. Я вижу, Ваня.

И в а н И в а н ы ч. Она поет.

Д р у г. Поет?

И в а н И в а н ы ч. Иногда. По-своему.

Д р у г. У нее есть имя?

И в а н И в а н ы ч. Не скажу.

Д р у г. Не говори.

И в а н И в а н ы ч. Есть. Только я не хочу, чтобы знали другие.

Д р у г. Правильно. Абсолютно правильно. Не говори.

И в а н И в а н ы ч. Посмотри, ты ей понравился.

Д р у г. Она мне тоже... нравится...

И в а н И в а н ы ч. Правда?

Д р у г. Ну а что?.. Симпатичная.

И в а н И в а н ы ч. Глаза, посмотри какие...

Д р у г. Ну да...

И в а н И в а н ы ч. Слушай, иногда так поглядит — насквозь видит...

Д р у г. Я, Ваня, пойду.

И в а н И в а н ы ч. Иди.

Д р у г. Не буду мешать... Всех тебе... вам то есть... благ... Здоровья, достатка... До свидания.

И в а н И в а н ы ч. Удачи тебе! Спасибо!

## Судьба

*Гостя нет. Иван Иваныч смотрит застывшим на лягушку.  
Он хочет ей что-то сказать. Не решается.*

*Наконец, осмелев, квакает. Раз, другой — вполне натурально.*

*Не услышав ответа, квакает снова.*

*В кваках его — и боль, и надежда, и просьба о прощении,  
и затаенная грусть.*

*Нам не понять его кваки.*

*Но он понимает, почему не отвечает лягушка.*

*Накрыв черной тряпкой, бережно прижимает банку к груди.  
И осторожно уносит.*

# Ирина Жукова

## На счастье

Ночь на седьмое января выдалась самой холодной за зиму. Старческий сон — уже не тот. Да и клен, насквозь промерзший, до утра стучал в окно на втором этаже, будто звал Лидию Яковлевну выглянуть, подивиться нежданному чуду. Ровно в шесть с облегчением зазвонил будильник. За окном, заставленным фиалкой и геранью, открылось удивительное: посреди заледеневшего двора, от подъездов до самой стоянки, разлилось горячее море, исходившее паром. Обильно валил снег, и крупные хлопья, падая в кипяток, моментально плавилась и исчезали. Кусты акации и сирени между подъездами быстро покрывались белоснежными колючими бородами, которые обваливались под собственной тяжестью и отрастали снова. В квартирах дома номер шесть по улице Кулакова заметно похолодало. Едва позавтракав, Лидия Яковлевна принесла к окну любимый венский стул и раздвинула горшки с цветами — для лучшего обзора. Пора занимать пост — может, сегодня повезет.

## Ирина Жукова

Вторым в подъезде просыпался староста, Петр Михалыч. Ветеран трех войн, на пенсии он работал охранником в местном продуктовом магазине и даже в выходные соблюдал режим дня. В семь утра он выходил с дымящейся чашкой чая выкурить первую сигарету. Увидев горячую, набегавшую волнами воду, Петр Михалыч схватил телефон и убежал звонить по инстанциям, оставив чай остывать на мерзлой скамье под окнами.

Через полчаса, сжимая в одном кулаке два поводка, спустилась Сонька-собачница. На тонкой цепочке медленно вышагивал боксер, а вокруг него, норовя спутать лапы товарища кокетливым красным шнурочком, петлял и подпрыгивал от утреннего нетерпения йорк. Выгул чужих собак давал Соньке скромный, но регулярный доход. Своих питомцев у нее отродясь не водилось, однако же попеременно в ее квартире проживали беглецы и прочие подобранныцы всех мастей, которых она возвращала или пристраивала в любящие руки за скромное вознаграждение. Тем и жила.

Выйдя из подъезда, Сонька увидела море и остановилась. Оглядевшись в поисках обходного пути, она заметила что-то интересное под лавкой. Присев пониже, Сонька протянула руку и позвала:

— Ну-ка, кого тут у нас принесло прибором?

Заинтересовать Соньку можно было только наличием хвоста и полным отсутствием дома.

Дверь снова распахнулась, и появилась Ольга, на ходу чеканившая:

— Сначала — в поликлинику за справкой, потом — сразу в школу. Ясно?

— Ну мам, — следом за ней, нога за ногу, ковылял ее Федька, — всё равно не успею к первому уроку. Завтра пойду.

— Не мамкай! Пропустишь контрольную — вылетишь. Шапку надень! — Ольга резко прервалась. — Боже, как же я к машине пройду, всю стоянку залило! То-то я смотрю, в квартире — как в холодильнике.

— Мам, ты только посмотри!

— Да я вижу, вижу, похоже, придется идти на трамвай. — Вода плескалась у самых колес их машины и продолжала прибывать.

— Что? Да нет же, сюда смотри! — Федя уже сидел рядом с Сонькой, а на руках у него, мелко подрагивая, сидел молодой рыжий такс. — Новый знакомец?

— Ага, — кивнула Сонька, — похоже, кипятком загнало к подъезду. Я его уже видела несколько дней назад. Без ошейника: либо выкинули, либо беглец. Объявлений о пропаже до сих пор нет. Похоже, мой клиент.

— Ма-а-ам? — Федька с трудом оторвался от собаки и перевел умоляющий взгляд на мать.

— Даже не думай. Ты один, с твоими потребностями, превышаешь все мои возможности. Вперед, на прием опоздаешь. Всего доброго, Соня.

— Пока.

Рассвело. Снегопад утих, и нечаянное море приобрело черты Северного морского пути после прохода ледокола. Появился человек с инвентарем, и следующие несколько часов изредка слышно было лишь пластиковую лопату да трудный надсадный кашель.

В десять во двор заехал цветной фургон с цифрой канала на боку. Съемочная группа! Лидия Яковлевна спешно покинула свой пост, схватила пальто и бросилась к двери. Подумав, вернулась и повесила пальто назад: пора доставать из дальнего шкафа нарядную шубу. Да и прическу сделать не помешает.

## Ирина Жукова

У подъезда, пританцовывая на морозе, стоял Петр Михайч. В углу рта, пуская дым ему в глаз, тлела вторая, дневная сигарета.

— Утро доброе, Лидия Яковлевна. Видали? По телефону тренькает, работничек. — Он кивнул в сторону дворника. Узкая дорожка, прокопанная от стоянки до первого подъезда, символизировала результат нечеловеческих усилий в течение утра.

— М-да, не стахановец.

— А вы куда в такой холод?

— За ряженкой. А телевизионщики у нас где?

— Кого-то допрашивают вон у последнего подъезда, у елочек. Полчаса ракурс выбирали.

— Нинка! — Лидия Яковлевна от досады всплеснула руками. — Да чего ей знать, она в соседнем доме живет, а окна у нее вообще на другую сторону! Безобразие.

— Лидия Яковлевна, давайте я вам за ряженкой схожу, а вы пока тут подождите. Вдруг они еще кого искать будут, кто больше видел.

— Ох, вот спасибо!

Но, поговорив с Нинкой, съемочная группа погрузилась в фургон и уехала. Сама Нинка тоже исчезла. Зато пришли пятеро в оранжевом и начали неуверенно ковырять лопатами густую смесь мокрого снега и льда. Посреди двора образовался чистенький пятачок, на котором снова собиралась вода.

— Ну что, войска подтягивают? — Петр Михайч передал Лидии Яковлевне ряженку и, закипая, хмуро уставился на дворников, устроивших перекур. — Сколько, в конце концов, нужно человек, чтоб почистить один двор? Батальон? Полк?

— Да ладно вам.

— Да что ладно. Сдавайтесь, трусы! — крикнул Петр Михалыч. — Валяйте стратегическое отступление! Само растает, к июлю непременно, — проговорил он уже тише и грохнул дверью подъезда.

Выпуск трехчасовых новостей завершал сюжет о прорыве трубы с горячей водой. Старательно игнорируя передачу, Лидия Яковлевна вешала нарядную шубу обратно в дальний шкаф. Активно жестикулируя и без конца поправляя норковую шапку, довольная Нинка пыхтела с экрана:

— Воды было — во! По бордюру! По щиколотку прям вот как бы.

— И как она успела, стервь, ну надо же. — Лидия Яковлевна закрыла дверь шкафа. Подумала, открыла снова и от души захлопнула.

— А у нас тут — низ, вот и залило весь двор. Похоже, прорвало центральную магистраль! — победно закончила Нинка и кокетливо глянула в камеру.

— Присоседилась, пиявка пергидрольная. Шапку норковую нацепила! Центральная магистраль, мать ее, — ворчала Лидия Яковлевна, с удовольствием громыхая дверцами кухонных шкафчиков.

— О ходе работ на месте аварии нам рассказали работники Горводоканала...

— Да какие там работы, пять мужиков по кругу звонят и перекуривают.

— ...Мы будем следить за ситуацией на улице Кулакова и о развитии событий расскажем в следующих выпусках.

А вот это было уже интересно. Лидия Яковлевна тихо прикрыла очередной шкафчик и пошла доставать шубу назад.

К пяти часам вечера Петр Михалыч вышел на третий, вечерний перекур. На нем была рабочая куртка и резиновые сапоги. Пятеро в оранжевых жилетах отдыхали на стоянке, опираясь на черенки лопат. Докурив до фильтра, Петр Михалыч сходил за широкой лопатой для снега, подошел вплотную к дворникам и, набрав воздуха побольше, выдал на одном дыхании, постепенно ловя привычные офицерские интонации и входя во вкус:

— Говорит подполковник Бердников, староста четвертого подъезда. А ну-ка, граждане-гости из стран ближнего зарубежья, похватали свои совочки и дружным строем препроводились к местам извлечения говн! Чтоб через час от первого до четвертого подъезда асфальт блестел аки взлетно-посадочная полоса международного аэропорта, а то пойдете метро копать в такую пердь, куда не ступала гусеница бульдозера! — Резко повернувшись на каблуках, Петр Михалыч, с лопатой наперевес, первым двинулся к подъездам. Дворники побросали окурки, убрали телефоны и безропотно потянулись за ним.

В девять вечера, когда Лидия Яковлевна ложилась спать, еще слышны были лопаты, хрипло и протяжно скребущие асфальт. На пятом этаже лохматый Федька, в теплом свитере поверх пижамы, обещал матери все блага мира и все пятерки в четверти за собаку. А одинокий такс тонко выл за дверь Сонькиной квартиры, и голос его гулко разносился по этажам. Столбик термометра медленно пополз вверх.

На следующее утро первая январская оттепель топила на кустах вдоль дороги снежные бороды, и они стекали, оставляя на чистом асфальте длинные блестящие следы. Федька вел на поводке такса, жмурящегося от яркого солнца. Когда



## На счастье

подъехали телевизионщики, Лидия Яковлевна уже ждала у елочек, на месте удачного ракурса.

— Вчера было очень много воды, но, как видите, — счастливо улыбаясь, она повела рукой в пушистом рукаве, — до подъездов вода не поднялась. Староста Бердников, лично принимавший участие в локализации аварии, объявил жильцам, что это был прорыв трубопровода горячего водоснабжения, — держись, Нинка! — а не центральной магистрали, как сообщалось ранее.

Ну вот, теперь можно и домой — прибрать шубу в дальний шкаф и отодвинуть от окна любимый стул. К трехчасовым новостям нужно успеть напечь блинов. И обязательно позвать Нинку на чай.

# Полина Барскова

## Вещь, полезная для злых и добрых

\* \* \*

Безжалостность любви и скука мастерства  
И серо-серый лес, куда ни вступишь взглядом, —  
Предпраздничный набор. Дышидыши: раз-два,  
И паника пройдет. Берешь работу на дом,  
Да и опомнишься, а где ж, душа, твой дом?  
Почто я не нуф-нуф, умеющий из тлена?  
Глодай и голодай огромным темным ртом,  
Ну, солоно сперва, зато потом свободно.

Мой дом — лежать в тебе зародышем, яйцом,  
Койотом, крысою и птицей безобразной  
С неузнаваемым лицом.  
Мой дом — то розовый, то красный  
(смотря какой щекой к нам повернется луч) —

## Полина Барскова

Рассвет над новою безвидною землей,  
И бруклинский старик, слепой и деловитый,  
Мой дом — умение сливаться с полумглой,  
И за ухом лизать рассеянную дочь,  
Дразнить ее горькушкой, Афродитой.

## Счастье

Душа хотела б быть горшком,  
Вернее, тем, что станет скоро  
Горшком — полешком, кочешком  
Кроваво-бурой глины. Свора  
Взбешённых пальцев глину — хватить!  
И — раз! — на колесо, на дыбу  
И начинает рвать и мять  
Неподдающуюся глыбу.  
Но сжалившись или смекнув,  
Что пряник действительней, чем кнут,  
Подносит к гордой глине губку.  
Сочится мутная вода,  
И глина поддается: «Да...»,  
В ладони, словно в мясорубку,  
Вползая. Чавкает педаль,  
Глаза закрыты. Под руками  
Живая, теплая печаль  
Отдавшейся насилью ткани.  
Но я не доктор Борменталь  
И даже не Мария Шелли.  
О палаче иль акушере  
Речь не идет. Гончар — тире —

Вещь, полезная для злых и добрых

Гончар и есть. Он только руки.  
Он существует только в круге  
Вертящемся. И в букваре  
Не ходит дальше хмурой Буки.  
Ему не нужен властный Ведь,  
Не говоря уж о Глаголе.  
Круг будет гнать, дышать, вертеть  
Гончар, послушен низшей воле  
Ножного привода. Гончар,  
Как нелюбимый, но влюбленный,  
Посредством примитивных чар  
Вторгается в тугой, укромный,  
Еще насмешливый комок,  
И тот, за кругом круг, помалу,  
Доверившись его обману,  
Преображается в горшок.  
Движенье лески — завтра в печь  
Горшок отправится, как отрок.  
И станет — Космос, то есть Вещь.  
Полезная для злых и добрых.

# Тимур Валитов

## Новая земля

*Елке Няголовой*

Я подумал: там, под нами, пожар. Еще четверть часа — и сложим крылья в самом пламени. Нет же, Людмил, это осень: та осень, о которой в стихах, которые пишет страна, в которой осень совсем мокрая. Вот она, твоя русская осень: через четверть часа сядем в Софии.

Справа увидел горы — не слишком рослые, цвета ореха: в общем, славные. Слева желтел город: жались друг к другу квадраты вылизанной солнцем черепицы. Во рту полоскалась карамелька: мятная, ее дала стюардесса, стоило объявить снижение. Всё было хорошо. Я говорил себе: мы над Софией, Людмил, — и тут же кивал своему отражению, будто нарисованному поверх крыш и улиц, почти не слыша в себе былой нелюбви.

Всё было не по плану.

Самолет опустился небрежно: будто на ощупь, дважды взбрыкнув. Я прошел рукавом, припечатал паспорт; Васка ждала за невысоким заборчиком, доедая булку. Мы поцело-

## Тимур Валитов

вались, у меня во рту остались тепло и крошки. Васка, сказал ей, как же было плохо без тебя, а Васка спросила, насколько я голоден. Я почти не спал, отвечаю, боялся, улетят, оставят меня. Мы искали такси, продолжая напрасно спрашивать и некстати отвечать. Видно, этого и не хватало мне в Москве, потому-то я расчувствовался и повторил: Васка, как же было плохо без тебя, — и, в общем, слова побежали по кругу.

Ехали по шоссе; Васка лежала головой на моем плече, а я глядел, как несутся навстречу панельные девятиэтажки, и появляя сирень, и стройка, вся в рыжих башенных кранах. Повсюду, во всей этой неприглядности мне поначалу виделась Москва. Я даже забыл ненадолго, как лезли в окно облака и София, крошечная, развертывалась под крылом, — и без труда представил, будто не было ни самолетов, ни аэропортов, а такси всё бежит себе по Ленинградке. (Может быть, тянется от Москвы до самой Софии такое вот шоссе, перечеркнутое эстакадами, зажатое между бензоколонками и жухлым кустарником: едешь — и не знаешь, какой кустарник еще наш, а какой — иностранец.)

Вскоре машин прибавилось; мы поехали медленнее, а потом и вовсе встали. Тогда сквозь привычно московский пейзаж проступила София: тут и там загорался истинно пушкинский багрец — налитый пламенем каштан, окровавленный шиповник. Всё это спорило с мышиною цвета рисунком, загодя сложенным в мыслях. София всю жизнь мерещилась мне тусклой, несчастливой, недолюбленной, какой описывал ее отец, побывав здесь дважды. Я разбудил Васку: Скажи, отчего такая осень. Какая, спросила Васка. Я попробовал это слово на языке и всё же не удержался: Русская.

Глупый, улыбнулась Васка.

Мне захотелось отомстить, сказать ей что-нибудь вроде: Нелепая, заблудившаяся осень — вот и вся разница между Софией и Москвой. Но я промолчал, опять уставился в окно: всё было хорошо. По обочине пронеслись дети в полупрозрачных маечках, я подумал: Выйду из машины — первым делом сниму пальто. Васка снова устроилась на моем плече; я оставил окно и уткнулся губами в ее макушку.

Меня зовут Васка, сказала мне Васка. Вокруг нас были Москва, февраль и душная рюмочная, оба этажа которой заполняла вязкая людская масса. Имени моего Васка не расслышала и через два часа, набравшись пива и смелости, переспросила. Потом вывела меня в переулок, чтобы не кричать сквозь десяток голосов, раздала мне сигарету и, закурив сама, уточнила: Болгарин. Болгарин, согласился я. Я тоже, отвечает, в смысле болгарка. Спросила, откуда родом. Я признался, что родился в Москве и в Болгарии не был, а потом рассказал про болгарина-отца, про воевавшего в Югославии деда. Про Югославию ей не понравилось: пожаловалась, что замерзла, затащила меня обратно в рюмочную, уставилась в кружку. На вопросы отвечала сквозь зубы. Я гадал, чем же так плоха Югославия, пока не понял, что Васка попросту напилась. На следующий день (встретились у припорошенного снегом бронзового Пушкина) она извинилась чрезвычайным образом: сразу за приветствием поцеловала, оставив у меня во рту тепло и помесь перегара с жвачкой. Все ее поцелуи были теплыми и непременно имели запах или незначительное последствие: кочующий осколок леденца, прослуненный волосок, ментоловая пряность сигареты. В начале марта, когда Васке пришлось возвращаться в Софию, я спросил про этот первый поцелуй.

## Тимур Валитов

Однако Васка, как оказалось, была уверена, что впервые поцеловала меня в рюмочной. Мне сразу вспомнилась толпа, обступившая нас в тот вечер; я бог его знает как пересчитал в ней мужские губы и озвучил Васке точную цифру. И кого же из них, спросил я безо всякой надежды на ответ. Васка всё же ответила: Видно, снег не прекратится. Неужели для тебя это пустяк, спросил я, на этот раз и вовсе не нуждаясь в ответе.

Васка ответила: Не взлетим.

Мы вышли из такси. В нос ударил запах листьев, мокших в канале неподалеку. Васка завела меня в немый подъезд; вместо лестничной площадки на четыре двери я увидел стойку, выкрашенную в бело-зелено-красный, за ней — человека в плечистом пиджаке. Дай паспорт, сказала мне Васка. Я и не подумал лезть в карман: Почему не у тебя. Не тяни, ответила Васка, мне еще в контору.

Выяснилось, что комната на одного. Васка поцеловала меня (тепло и едва осязаемый укус), обещала прийти после работы. В ту сторону центр, в эту — парк, поделила она вид из окна. Только она ушла, я запер дверь и уронил штору. На столе стояло блюдо с единственной грушей; груша (судя по прелому запаху) начала портиться.

Не успела она приземлиться в Софии — я позвонил. Думал спросить, как долетела. Самолет еще рулил, трубка сыпала скрипами, гнусавым вторым пилотом. Она не услышала ни слова: видит бог, впервые тому нашлась причина. Перезвонил спустя какое-то время, внезапно забыл про запасенный вопрос: Собираюсь к тебе в Софию. Представляешь, сказала она, тут тоже снег. Беру билет, говорю, и лечу.

Глупый, улыбнулась Васка.



Я решил избавиться от груши, подобрал штору, беспомощно посмотрелся в шляпки вогнанных в раму гвоздей: заколочено. Васка, начал я репетировать, все эти полгода я не думал ни о чем, кроме нашей встречи; знаю, ты тоже тосковала; мы не можем быть друг без друга... Кажется, речь не получалась: слова торчали репьем, в трещинках между них невозможно было представить который-нибудь неловкий Васкин возглас. Становись мне женой; скорее в Москву; не смогу оставить; тебе надо, мне надо, нам надо. Пусто, неубедительно; я заметил, что всё еще сжимаю в руке грушу: из подгнившего бока сочился на пальцы сок.

Всё было не по плану. Что-то мешало лететь в Болгарию в марте: учеба ли, работа. Незаметно прошел месяц, второй: каждый звонок на третьей минуте расплывался в напрасные мечты о скорой встрече. Наконец, случилось лето: Васка собиралась к морю, рассказывала о домике под Бургасом, о каких-то купальниках. Я вдруг понял, что всё затянлось: беру билет и лечу, доносился из незапамятного марта мой голос, а календарь подсовывал июль. И снова я почти купил билеты, и снова что-то приключилось: кажется, простудилась и проболела неделю мама. Мы тогда сидели с отцом в кухне, я ни с того ни с сего объявил: Папа, нужно увезти ее оттуда. Мы никогда всерьез не обсуждали ни Васку, ни Болгарию; отец ответил невпопад — уже и не помню, что именно. Как мне ее увезти, не унимался я. Отец, не задумываясь, сказал: Ничего сложного.

Отец не любил Болгарию.

Васка не пришла. Хотелось есть: в одиннадцатом часу стало дурно от грушевого духа в комнате. Васка собиралась кончить в девять, показывала в окне свою контору, обещала прийти до меня за пять минут. Я спустился, спросил у пиджа-

ка про которую-нибудь едальню; по счастью, пиджак ответил на русском: сбивчиво, закругляя гласные. Я вышел на улицу: асфальт, осыпанный листьями, будто попрыщило, фонари перекрасили кроны в густую ржу. Справа едва шелестел канал — тонкая лента воды, схваченная с обеих сторон травой по колено. Слева менялись дома, одетые в вывески: свербело в глазах от столь милого болгарам твердого знака, от будто бы русских слов, в которых спутались гласные. Через два перекрестка отыскалась витрина с надписью: Магазин. Я взял бутылку кефира и ломоть пирога с брынзой; продавец указал на сиротливый барный стол в углу. Пирог занял минуты три; кефир, напомнивший детство, был выпит залпом. Подошел продавец, забрал перемазанную бутылку. Запела пыльная колонка в углу, пришли за банкой фасоли двое стариков. За каналом на бельевых веревках взбесились пеленки. Мимо витрины без дела бродила кошка, иногда внимательно, по нескольку сосредоточенных секунд разглядывая мои ботинки.

Отец родился в Софии; годовалого его увезли в Москву; потом он бывал в Болгарии дважды. В первый раз в семьдесят седьмом вместе со своим отцом — моим дедом: вроде бы дед что-то продавал. Четыре дня они жили окнами на мечеть: каждое утро в шестом часу им брались напоминать о всевеличии Аллаха. Потом, в девяностых, сразу после свадьбы отец повез мать в Несебр. Они прилетели в Софию, мать выпросила остаться в столице на ночь; в некоем кафе на бульваре у нее отняли сумку с отцовским паспортом (свой она зачем-то носила в кармане). В общем, объяснить отцовскую нелюбовь к Софии казалось несложным. Однако расстройство между ним и его родиной существовало как бы поверх всевозможных недоразумений с Аллахом

и паспортом. Сколько раз я силился уловить самую суть этого противоречия, перевести ее в разговоры с Ваской, неизменно оканчивающиеся обещанием увезти ее в Москву. Сколько раз не хватало мне слов, чтобы высказать ту сложенную отцовскими рассказами и вымыслами ненависть ко всему, что жило в ней от Болгарии. И теперь вот, пожалуйста, эта непредвиденная осень.

Васка появилась утром: стучала с минуту, пока я соображал, где нахожусь. Дверь оказалась незапертой. С работы встретил дед, объяснила Васка, он был выпивши — запретил к тебе ходить и увел домой. Я спросил: Что же теперь. Уйду после обеда, чтобы дед не знал, ответила Васка, встретить меня вон там.

Одна ее рука оттянула штору, другая — билась ноготками о стекло.

В каком из одноликих, отлитых из желтоватого бетона зданий она работала, так и не понял. В третьем часу, блуждая вдоль канала, увидел ее на скамейке с книгой. Поцелуй пах зеленым луком. Я весь день думала, сказала Васка, втайне от деда не могу. Я не нашелся, что сказать; мы пошли вдоль раскрасневшихся линией каштанов. Как-то быстро, скомканно она показала мне столб пыли над развалинами, сумрачный храм под бледно-зеленым куполом, неотличимую от храма мечеть (я глядел на окна соседних домов, словно надеялся увидеть в котором-нибудь из них полусонные лица отца и деда). Потом она натерла пятку. Мы сели в кафе; в поисках пластыря выложили на стол содержимое ее сумки. Я сумел разглядеть книгу, обернутую в полупрозрачный пергамент: Иван Вазов. Это как Пушкин, объяснила Васка, только наш. Я нащупал закладку и отворил: аз решительно не мога да възприема нищо от това развалено

наречие — и дальше тем же малопонятным порядком. Вазов был за русских, неожиданно сказала Васка, а писал о русофобах. Помолчала и добавила: Дед хочет с тобой переговорить.

Путь, которым мысль ее пришла от Вазова к дедовым намерениям, рисовал любые переговоры глубоко безнадежными. Я спросил: Зачем ему со мной говорить. Он вовсе не русофоб, ответила Васка, лишний раз подтверждая противоположное. Почему тогда запретил ко мне ходить, не унимался я. Васка подумала и сказала: Он разве что самую малость не любит русских. Разве я русский. Какой же ты болгарин: языка не знаешь, страны не видел. Коли так, что же мы, русские, ему сделали. В семидесятые он сидел в седьмом отделении, а потом — в Стара-Загоре. (В седьмом отделении, подумал я, никто не возвеличивал по утрам Аллаха.) Как же мы, русские, упекли его в болгарскую тюрьму, спросил я, сам не зная, почто мне ответы на все эти вопросы. Васка заговорила про коммунистов; я уже не слушал.

Почти полгода каждый наш телефонный разговор — нескончаемое обещание (я увезу), вырождавшееся перед самым гудком в нелепую угрозу (если ты не поедешь, я). Как ты здесь оказался, Людмил; зачем нарушил привычный порядок угроз и обещаний. Разумеется, в какой-то из вечеров вдруг сделалось ясно, что твоя Васка тебя не слушает: она печет перцы для деда, а трубка кричит на всю кухню: Беру билет и лечу. Алло, алло, испуганно заикается трубка — и следом зовет: Васка. И снова: Васка.

Проснулся посреди ночи: жутко воняло грушей — не выдержал, высунулся в коридор, запустил ею в темноту. Вроде бы видел во сне Васкиного деда: стало быть, случились (пусть и раньше назначенного) переговоры. Надел пальто,

спустился; сел на той скамейке, где вчера ждали меня Васка с Вазовым. Попытался вспомнить, каким приснился мне Васкин дед. Кажется, был он копией с собственного моего деда, только говорил одними твердыми знаками и похож был на твердый знак: лицо заостренное, тело — изгибы впере­решку с изломами. Снова взялся репетировать: Васка, любовь материальна и неразрывно связана с материальностью которого-нибудь места, — и вдруг задумался, верю ли я сам в такую любовь.

Погасли фонари. Пронизав спящие каштаны, мне в ладони лег мягкий розовый свет. Город ожил, расцветился трамваями, прилавками, детьми. Вдоль канала побежал старик в нелепой шапочке, за ним на поводке собака: бесхвостая, всем нечесаным своим тельцем выражавшая нехитрое собачье счастье. Долетели запахи пота и псины — и тут же перемешались с выпечкой, каштаном, с выхлопной горечью, а память добавила грушу, созре­лые листья, зеленый лук: вот неизъяснимое благоухание этой страны, Людмил, вот ее неосязаемая сущность. Вся неслучившаяся жизнь обернулась печально-прекрасной осенью. Почему же страна, неожиданно тобою полюбленная, может лишь запрещать, не пускать, не любить. Почему бы, наконец, не случиться этой неслучившейся жизни; почему, скажите, пушкинский багрец — только предвестник пушкинского же увяданья. К ноге моей ласково прижалась кошка: в этот раз, совсем не интересуясь ботинками, она смотрела в мое лицо, изредка мурлыча: Алло, алло.

Я вернулся в гостиницу. Пиджак протянул мне книжку, между страниц — записка от Васки: снова про деда, про встречу. Записку оставил на кровати, а книжку, подумав, сунул в чемодан: будет память. Если взаправду был этот Ва-

## Тимур Валитов

зов за русских, пусть простит мне и Стара-Загору, и русский язык, большей частью лишенный твердознаковой прелести болгарского. Взошли в окне горы, появились первые, редкие еще облака; во рту полоскалась карамелька — в этот раз грушевая: и бывает же. Самолет, набирая высоту, сделал круг над Софией: я будто разглядел канал и каштаны, похожие на вскинутые в прощании руки. Потом зажег лампочку, раскрыл книгу: По гладката, стръмна южна урва на Амбарица — високия старопланински връх, който гледа над Стремска долина, ставаше нещо необикновено и чудно...

Всё было хорошо.

# Сергей Шаргунов

## Ты — моя находка

Мне нравится стучать кольцом. По камню, дереву, стеклу, пластмассе.

Властно и сердито или задумчиво и деликатно — в зависимости от материала.

Я не ношу на руке часы. Мне нравится крутить кольцо. Завожу время. Каждый день то бросаю мимолетный взгляд, то, сощурилась, всматриваюсь в золотце на своем безымянном, словно сверяюсь с часиками.

Часто к нему пристаёт мыло, цепляется по краям, пачкает изнутри. За этим надо следить. Мне нравится смотреть на кольцо под водой. Так странно, когда оно смутно светится в смуглой глубине горсти, и мнится: это не оно, не со мной, это не моя плоть...

Я поднимаю его, воздвигаю аркой, надавив снизу подушечкой большого пальца, и заглядываю в потайную зеркальную часть, блестящую, как нож, как изнаночный лед реки под морозным солнцем.

## Сергей Шаргунов

Очевидно, таким образом привыкаю, а привыкнув, перестану его замечать. Хотя дело, может быть, и в другом.

Просто не могу нарадоваться, что женился.

Но как трудно писать о счастливой любви!

Одна моя церковная знакомая давала своей старой, угасающей матери заботливые советы. Она говорила: впитывай и вдыхай всё красивое и запоминай. Смотри в это хрупкое, светлей лазури небо сквозь эти винно-красные листья подолгу, как будто зарисовываешь. Тщательно и медленно пропускай в себя краски, как будто впереди экзамен. Та слушалась и вскоре тихо, во сне, умерла.

Почему-то по дороге на свадьбу я вспомнил старушку.

Мы вышли из машины у железных ворот, последние двести метров до загса надлежало пройти боковой, непарадной стороной ВДНХ. Невеста была в длинном сияющем платье, золотых босоножках на высоких каблуках, ее с самого утра макияжили и укладывали. Я придерживал ее бережно, как незнакомую фарфоровую куклу, опасаясь что-нибудь неловко нарушить, не довести.

Но еще больше я опасался торжественной процедуры, заранее воображая весь кукольный театр: оркестр, чопорная дама-регистратор, согласие брачующихся, могучая книга, чернильное перо, летящие лепестки роз, восторженные группы родственников и друзей, застолье с напутственными тостами и грозовым «Горько!» и после торта ловля букета пионов, который уже теперь жена бросает через нагую спину незамужним сестрам...

Наш шаткий неспешный ход за какие-то минуты до брака позволял осматриваться вокруг, бездумно и безропотно зависая. Мягко продвигаясь к цели, я всем сердцем, напе-



рекор тревоге, растворял в крови и дыхании увиденное: разлапистый куст яркой сирени или большую каменную урну с торчащим сломанным зонтиком.

Остановился, обняв свою милую за теплую сильную шею, приник к розовому липкому рту, окрашивая свой, и внезапно ощутил вожделение.

Оторвался, огляделся с азартом.

Я желал заполучить весь этот мир, притянуть его и измять.

Всё на свете манило и соблазняло — следующий куст, только уже белой сирени, первая ржавчинка на гроздьях, мраморный павильон, заставленный ремонтными лесами, влажная земля расходившихся тропинок, азиатка на коленях в зеленом комбинезоне и отцветшие тюльпаны, которые она выкапывала, и черный безразмерный мешок, где они исчезали, и седой котенок в теньке, лапой гнавший под солнце незримую мошку, — все эти видения жизни нагло будоражили, как обнаженные прелести.

— Ура! — кричали, обступая нас, свадебные люди, и я отвечал им: «Ура!», весело поднимаясь по ступенькам вдвоем.

Мы познакомились поздней осенью в старинной музейной усадьбе ее прапрапрадеда под Тулой, куда я заехал по делам к ее старшей родне.

Долго, сбивчиво брел по первому свежевыпавшему снегу, между окоченевших берез, мимо серо-стального пруда...

В комнате под лестницей неизвестная мне девушка резала лимонный пирог к чаю (рецепт прапрапрабабушки) и сама была похожа на лимонный пирог.

Она, видит Бог, излучала какое-то цитрусовое сияние. Всё в ней было горьковато-сладкое и необычно милое.

И сложносочиненное бежево-рыже-синее платье с треугольным вырезом, и чуть слипшиеся голубые глаза, и розовые щечки, и лукавый ротик, и умный смех, обнажавший очень ровные зубы, и золотистые волосы, уютно заложенные за уши, и вялые надменные движения, которыми она расправлялась с именитым пирогом.

Она понравилась мне мгновенно.

Даже сразу захотел ее в жены.

Да, поразила с первого взгляда, а если не верите, доказательство такое: я с ней не поздоровался, вмиг превратившись в школяра. Там было еще пятеро в комнате, ее братья и сестры, я поздоровался со всеми, а ей слабо кивнул, украдкой впиваясь взглядом.

Мне, взрослому мужику, было неловко с ней заговаривать при других, вот еще, подумают, что есть дело до какой-то девчонки...

Однако немедленно сложился коварный подростковый план, как ее не потерять из виду.

— Тут у вас так красиво, — небрежно сказал я в пустоту. — Вот запилил фоточку у пруда, — и, улыбаясь, показал окружающим свой телефон. — А у всех есть инстаграм? — продолжил компанейской скороговоркой, на нее не глядя: — А давайте все задружимся! Ну вот ты там кто? — начал с сидевшего от нее поодаль. — А ты там есть? — обратился к ней насколько мог равнодушно.

Настя назвалась, протягивая на тарелочке треугольный кусок, посыпанный цедрой и сахарной пудрой.

Теперь я был с ней на связи, чтобы через недолгое время, сотню взаимных лайков спустя, написать в директ и пригласить на свидание.

Как однотипно банальны современные ухажеры!

Я ею пленился и пьянился, еще ничего не подозревая ни про какую «душевную близость».

Но кто знает, потом мог быть разочарован, не оказись у нее безупречного вкуса и живого ума (нам есть что обсуждать до скончания века). Мне ужасно нравится, как она плутает в словах, тянет томную паузу, подыскивая словцо, и, не найдя, заменяет очаровательным неологизмом.

Она разлиновывает время, важно нахмутив лобик, всё обдумывая и планируя, и она же летит через бесконечное лето, легкомысленно напевая с бокалом вина, и, наверное, отсюда ее baby-face.

Она почти не пользуется косметикой. Краска портит это свежее личико, делая его стандартно-кукольным.

У нее просительный мяукающий голосок. Она любит мяукать.

— Ты мур или мяу? — и мягкими губами ищет ответ.

Или:

— Ты мяу или не мяу?

Или:

— Ты меня мяу?

И это так мило, как будто она несмышленыш, босая детка поверх стога сена, для которой жизнь — веселая щекотка.

— Я люблю тебя, мурочка.

Так говорю снова и снова, и мне это обращение никогда не покажется обыденным или пошлым.

— Ты — моя находка, — еще говорю.

Любое касание у нас становится поглаживанием. Мы тонко нежимся кожа о кожу. Обычно, гуляя, держимся за руки, пальцы сцеплены и шевелятся, взаимно ласкаясь. Иногда она резво притягивает к губам мою руку и награждает сильным поцелуем или с заговорщицким видом це-

## Сергей Шаргунов

лует свой указательный палец, словно призывая к тишине, прикладывает к моим губам, а потом снова к своим.

Неуловимая, она всё время меняется. Иногда — теплейшая, доверчивый перехлоп глаз, лицо растроганно размякло. А иногда — леденющая, от злости вся подтягивается, бледнеет, узит рот, чеканит слова, выступают скулы и, кажется, твердеют соски. Ей идет злиться.

Она одновременно беззащитна и мужественна, светлая медсестра с фронтового плаката.

А то изысканная статная дама со средневековой скандинавской гравюры: северный абрис лица, строгий кокон волос, платье до пят, гордая посадка головы.

Прежние разные, рваные, часто прекрасные, неудачи схлынули, как один степной набег. Новое и сильное чувство наполнило всё погожей ясностью, всему придало отрадную опрятность.

Славно козырнуть среди задушевного выпивона с другом:  
— У меня очень хорошая жена.

Слушайте, ну как же прекрасно, что и женитьба, и рождение детей, и, осмелюсь, даже смерть — это и слабость, и сила самой природы...

Ты хочешь эту женщину в жены, ты хочешь от нее ребенка, ты знаешь, что однажды умрешь. В мире есть нечто большее, чем ты сам. Ты способен стать больше себя. Выходишь за свои границы.

Таинственная пища брака. «Как мне вкусно, как мне сладко!» — звонко говорил я, совсем крохой, поедая горку лесной земляники. И про женитьбу хочется не рассуждать и не думать, а так же звонко пропеть: «Как мне вкусно, как мне сладко!»

Земляничное имя Анастасия.

Магнитное поле брака.

Семья держит. Благое притяжение жены, дающее твердость и спокойствие на любом расстоянии от нее.

Мне давно хотелось влюбиться, но не случилось. И вот — случилось. После первых свиданий и поцелуев я принялся тосковать по ней, как подросток.

Всё свободное время, хрустя чипсами, я рассматривал ее фотки в соцсетях; врубал попсовые и рэп-песенки о любви, всякий раз удивленный, что поют напрямик про нас; изучал зазорные пионерские ютуб-ролики и шаблонные технические инструкции: «Как влюбить в себя девушку», «Как понять, что девушка влюблена», «Как построить успешные отношения»; даже проходил какие-то идиотские тесты («Поздравляем! Она — ваша!»).

А потом, заученно твердя: «Не пиши ей первый», окунался в прохладную ванную по самое горло, остужая бредовый жар, расползавшийся откуда-то из области солнечного сплетения.

Наконец, стал за нее молиться утром и вечером.

Поженившись, мы поехали в низовья Дона, где она проводила каждое детское лето и где отдыхали ее предки, начиная с прадеда, который вернулся на родину после Второй мировой и обрел эти места, напоминавшие ему привычный эмигрантский пейзаж: заросшие берега и непрозрачные воды сербской Тисы.

Разом опростившись, мы разбили палатку под молодым дубом. Мы шатались по безлюдному лесу, балдея от дикого уюта, голые, как первые люди.

## Сергей Шаргунов

Меня, на удивление, ничуть не тревожил и не мучил этот разрыв с привычной московской жизнью, как будто мы всегда были и будем здесь. Как будто в этом и состояла подлинная идея нашего брака — сбежать сюда.

Позади леса лежала степь, наплывавшая пряным духом полыни, чабреца, ковыля и еще каким-то особенным горьким запахом, который Насте в детстве казался признаком приближения змей. Змеи и правда водились — в первый же день сдутая шина гадюки проскользнула под ногами...

На рассвете мы вступили в гладкую, отражавшую розовые, оранжевые, персиковые облачка воду и, делая трудные шаги против течения, сжимая деревянные волокуши — я глубже, как более высокий, жена ближе к берегу, — стремительным полукругом выгребли стайку глазастых мальков. Продели им крючки через темные спинки и, размахнувшись, забросили куда подальше. Закрепили легкие латунные колокольчики на кончики удочек-донок. Вскоре над широкой водой раздалось тонкое и чистое звяканье клева, превращаясь в дивный перезвон.

Настя держала убитого мной (палкой, с одного удара) судака левой рукой за серый хвост и рыбацким ножом умело обрезала колючие плавники, счищала желтовато-серебристую шелестящую чешую, выпускала многоцветные потроха. Хвост и голову с клыкастой пастью, присолив, оставила в земляном погребке — для завтрашней ухи. Остальное, порубив и обваляв в муке, зажарила на костре.

Потом, спасаясь от сорокаградусной жары и настырных ос, мы забрались в облезлую голубую казанку и долго плыли в бензиновом ветерке.

Приплыли на отмель, откуда были видны дымчатые силуэты холмов, и заползли в мутную, похожую на нефиль-

трованное пиво воду, где пальцы наших ног принялись благоговейно покусывать пескаррики.

На обратном пути мы сплавлялись вниз по реке, отключив мотор, по очереди закидывая под берег, в темные коряги удочку с ядовито-пестрой рыбкой-обманкой под неприличным американским именем «воблер». Стараясь не зацепиться и надеясь выманить жертву для ущицы — жирного жереха. Но всех жерехов, вероятно, распугали бобры, неподвижно торчавшие в кустах, провожавшие нас пристальными глазами часовых.

— Видишь эти точки? — Настя показала на верхний слой крутого высокого белесо-песчаного яра: там темнели частые укромные отверстия, напоминавшие горные пещеры монахов. — Знаешь, что это?.. Ласточкины гнезда...

Когда мы вернулись, небо и воду заполнял малиново-розовый закат, почти неотличимый от рассвета, и одновременно проступила, словно бы не твердея, а растворяясь и тая, бледная таблетка луны.

Поднимаясь по обрыву, за руку вытягивая жену, я заметил такие же аккуратные дырочки в песке, какие только что видел, но только в миниатюре. Природа повторяла свой замысел. Муравьиные норки? Змеиные гнезда? Спрашивать на подъеме было нехстати.

Мы взобрались на склон, и, ощущая знакомую тяжесть желания, я обнял жену сзади, вжимаясь в нее и призывая весь этот свет. Закат сочился в реку, разноцветный, как рыбы внутренности. Физиология заката. Внизу в садке в такт друг другу тщетно дергались сомик, щука и сазан. Водяной уж, покрытый шахматным узором, юркнул в камыши с серебряной рыбкой в пасти.

Может быть, счастье с одной дает обладание всем миром?

## Сергей Шаргунов

Бабочка пролетела над осокой, присела на маленький голубой цветок, державно покачивая расписными крылышками. Я приблизился, удерживая дыхание, в предчувствии, которое не обмануло. Я рассматривал невероятный рисунок ее палевых крыльев, не веря и сразу поверив.

На ее крыльях была изображена древняя миниатюра сражения.

Слева под алым стягом наступали всадники на белых лошадях и пешие, все в шлемах и кольчуге, с воздетыми мечами и длинными копьями. На правом крыле им навстречу двигалось вражье войско: тоже лошадки и человечки в доспехах и с оружием. А снизу этого диптиха взвивались брызги крови, как языки огня, и белели отрубленные головы.

Лукаво и слабо она шевелила крыльями, бесстыдно выставив на обозрение тайну.

Чью тайну? Быть может, мою, каких-то былых страстей... Я смотрел на эти трепещущие, ветхие от пылицы картинки, как будто на свое неверное отражение в замутненном стекле...

Она захлопнула крылья, и, когда их опять распахнула, я, наслаждаясь тишиной, открыл глаза и увидел жену у воды.

Я полулежал, прислонившись к толстому стволу тенистого дерева. Видно, так сморила усталость. Настя сидела на корточках с сомом-усатиком в крепких руках и чистила его слизистые бока щедрой горстью песка, раскачивая, словно баюкая.

Не отрываясь от рыбины, она стала что-то задумчиво напевать. Я уловил отдельные слова: «колечко», «крылечко», но тут неизвестное дерево закрыло мне глаза участливыми ветвями, легкими, но тугими, победными, которые становились всё зеленее, гуще, темнее, и я утонул в новом глубоководном сне.



## Ты – моя находка

Проснулся, мгновение думая, что и это сон.

Палатку заливали краски рассвета. На подушке розовела наливная щечка тихо спавшей жены.

Я женился не случайно, всё обдумав, но ничего не понимая, с легкой головой...

Так и сделал предложение — в лифте, который ночью поднимал нас домой на пятый этаж.

Медленно, вздрагивая, урча, подмигивая тусклым светом, с бумажками и прочим сором на полу, со стертым, нас искажавшим зеркалом.

Я мог нажать кнопку «Стоп», как маньяк, и не выпускать ее, требуя ответа. Ждать не пришлось.

# Дмитрий Воденников

## Повторяй за мной

### 1.

*Так вот для чего это лето стояло  
в горле, как кость и вода:  
ни утешеньем, ни счастьем не стало,  
а благодарностью — да.*

Ну вот и умер еще один человек, любивший меня.

И вроде бы сердце в крови,  
но выйдешь из дома за хлебом, а там — длинноногие  
дети,

и что им за дело до нашей счастливой любви?

И вдруг догадаешься ты, что жизнь вообще *не про это*.

Не про то, что кто-то умер, а кто-то нет,  
не про то, что кто-то жив, а кто-то скудеет,  
а про то, что всех заливают небесный свет,  
никого особенно не жалеет.

## Дмитрий Воденников

— Ибо вся наша жизнь — это только погоня  
за счастьем,  
но счастья так много, что нам его не унести.  
Выйдешь за хлебом — а жизнь пронеслась: «Это лето,  
Настя.  
Сердце мое разрывается на куски».

Мужчины уходят и женщины (почему-то),  
а ты стоишь в коридоре и говоришь опять:  
— В нежную зелень летнего раннего утра  
хорошо начинать жить, хорошо начинать умирать...

Мать уходит, отец стареет, курит в дверях сигарету,  
дети уходят, уходят на цыпках стихи...  
А ты говоришь, стоя в дверях: — Это лето, лето...  
Сердце мое разрывается на куски.

## 2.

— А я тоже однажды катался на роликах (был я совсем  
большой,  
от большого ума и катался), но так пахли весной деревья, —  
говорит мужичок под сорок, какой-то весь никакой:  
— Я упал об асфальт с размаху. Ударился головой.  
Теперь у меня — каждую ночь виденья.

— А зато у меня — когда в июле отключают горячую  
воду, —  
говорит сосед, водитель «газели», — а я возвращаюсь  
с завода грязней собаки,

## Повторяй за мной

я беру обмылок «Ромашки» и тру ледяные руки.

И тогда у меня на руках проступают — знаки.

— А ко мне, — пишет русская женщина из Лондона,  
сорока пяти лет, —  
когда я лежала под капельницей на Каширке,  
в серьезной больнице,  
ко мне приходил триединый бог: дух, сын и отец,  
но у них почему-то были красивые мусульманские  
лица.

— А ко мне, — говорит последний, — когда мне было  
семь или шесть, —  
из-за снотворного (феназепам) ко мне приходили  
мертвые и живые, а первым пришел белый полярный  
медведь,  
феназепам мне давали родители, очень меня любили.

...А вот я — никаких не вижу видений, мне нечего вам  
рассказать,  
всё, что есть у меня, — грубые шаткие рифмы,  
и хотя я только свидетель, а не отчим тебе и не мать,  
но я беру тебя (к примеру, последнего) на руки и кормлю  
тебя крупной брусничкой.

Потому что в конечном счете — в стихах должен быть  
стол и стул,  
чашка и миска, и много всякой еды, чтобы люди  
попили-поели  
и ушли от тебя навсегда, — продолжая слизывать с губ  
изумленные крошки брусничного стихотворенья.

## Дмитрий Воденников

\* \* \*

### 1.

- Повторяй за мной: ты моя слабость.
- Ты моя слабость.
- Ты моя сладость.
- Ты моя сладость.
- Ты моя нежность.
- Ты моя нежность.

Она говорит, а я лежу как дурак и верю:  
— Я сладость, я слабость, я нежность...

### 2.

В нежную зелень раннего летнего утра  
хорошо начинать жить, хорошо начинать умирать.  
...первый камешек — родственник перламутра,  
а второй деревянный, а третий — мать.  
— А я-то думал: всё, что есть, отдам  
за белый цвет, за глиняное детство, —  
а сам не знал, какая мука там,  
какие судороги, стыд какой, блаженство.

# Евгений Водолазкин

## Детский сад

Названием учреждения мы обязаны немецкому педагогу Фридриху Вильгельму Августу Фрëбелю, но первый детский сад задолго до него организовал Роберт Оуэн. Это был тот Роберт Оуэн, которого старшее поколение помнит по принудительному изучению научного коммунизма. Даже те, кто справедливо называл коммунизм антинаучным, знали, что именно у Оуэна Маркс позаимствовал какие-то глупости, которые легли в основу коммунистической теории. Так что, подобно другому неисправимому мечтателю, основатель детского сада может быть определен как *тот самый Оуэн*.

Попав в детский сад лет около трех, я, признаюсь, ничего не знал ни о Фрëбеле, ни об Оуэне, но сама идея собирать население на закрытой территории уже тогда вызывала мое отторжение. Лагеря — пионерские и другие, разного рода военные сборы — всё это не рождало в душе моей радости.

## Евгений Водолазкин

Еще меньше мне нравился коллективный труд — начиная с изготовления снежной бабы и оканчивая взрослыми масштабными задачами.

Не то чтобы я был против масштабных задач — нет, скорее, мне казалось (да и сейчас кажется), что они решаются путем персональных усилий. Мне могут возразить, что есть задачи, которые только коллективом и решаются, — ну, скажем, создание *большой* снежной бабы. Здесь я, пожалуй, соглашусь. Да, большой снежной бабы в одиночку не слепишь. Но, может, и не нужна она такая? Мне кажется, я уже в детстве понимал, что для представительниц прекрасного пола размер — не главное.

В прежние годы было больше снега, и в детском саду мы только тем и занимались, что скатывали гигантские шары, толкая их втроем, а то и вчетвером. Тогда-то я осознал, что значит нарастать как снежный ком. Катимый нами ком с хрустом пожирал весь выпавший снег, оставляя за собой неровные, черные от прошлогодней листвы дорожки. Проблема состояла в том, что потом мы не могли поставить один ком на другой. Это было наказанием за гигантоманию. Сами себе мы напоминали Робинзона Крузо, вытесавшего лодку, которую не смог дотащить до воды. Чудовищных размеров колобки стояли до конца зимы и из всего, что в нашем саду было снежного, таяли последними.

Если быть точным, то детский сад у меня был не один, а два. Первый из них в силу возраста я помню смутно. От этого периода моей жизни осталось, за несколькими исключениями, четверостишие:

Это Ленин на портрете  
В рамке зелени густой.

## Детский сад

Был он лучше всех на свете —  
И великий, и простой.

Можно было бы только удивиться, что из всех в-лесу-родилась-елочек в голове застряли именно эти строки, но удивляться здесь, собственно, нечему: компостирование мозгов в СССР начиналось еще во внутриутробный период. Текст зацепился в памяти строкой «В рамке зелени густой». Непосредственность детского восприятия не позволяла мне принять эту загадочную рамку, в то время как я видел, что детсадовский Ленин помещался в самой обычной деревянной рамке. До какого-то возраста я еще пытался дать таинственным строкам приемлемое объяснение, перенося, например, место действия в джунгли, но со временем понял, что остальные зарифмованные утверждения были еще более сомнительны.

Два детских сада слились в моей памяти в один, и я не вижу ничего дурного в том, чтобы объединить их и в этом повествовании. Второй детский сад здесь как бы поглощает первый, но имеет, по сути, на это все права. Этот детский сад соответствовал своему названию в полной мере, потому что дети там гуляли в самом настоящем саду.

Для того чтобы в него попасть, следовало свернуть с улицы во двор и, войдя в одно из парадных, подняться на второй этаж. Вход в детский сад открывала обычная квартирная дверь. Дом стоял на небольшом холме, который в условиях городской застройки совершенно не был виден. Между тем, даже закрытый домами, холм оставался на месте и продолжал свое тайное существование. Он открывался лишь тому, кто, поднявшись на второй этаж, выходил с противоположной стороны дома. С этой стороны второй этаж становился первым. И там был выход в сад.



## Евгений Водолазкин

Сад, если мне не изменяет память, был фруктовый, а по периметру его росли акации. Вместе с холмом сад продолжал набирать высоту, но, поскольку дело шло уже к вершине холма, подъем был не очень заметен. По крайней мере, я не помню, чтобы перемещение по саду воспринималось бы как движение вверх или вниз. Именно в этом саду лепили снежных баб — зимой, а летом были другие занятия.

Например, дуэли. Точнее, одна дуэль, разыгрывавшаяся бесчисленное количество раз, — между Онегиным и Ленским. Актерский состав был стабильным: я и какой-то мальчик, чьего имени уже не помню. Побывав с родителями на «Евгении Онегине», оба мы были потрясены до глубины души. Любовная коллизия нас оставила тогда равнодушными, но грозное «Теперь сходитесь!» произвело неизгладимое впечатление. В сцене дуэли я, в соответствии с именем, играл Онегина, а мой товарищ (уж не Владимир ли?) — Ленского.

Предполагаемый Владимир был толст и после моего выстрела падал крайне неловко. Он осторожничал, выбирал место на траве и зачем-то хлопал себя по ляжке. Я неоднократно показывал, как ему следует действовать, говорил, что здесь уж не выбирают, куда падать, но всё было тщетно. Покачавшись на полусогнутых ногах, он сначала касался земли рукой, а потом под треск сучьев валился на бок.

Любовную сторону «Евгения Онегина» я открыл уже не в детском саду — как и волшебную музыку этой оперы. Мне купили пластинку, и я слушал ее, пожалуй, чаще, чем стрелялся в свое время с Ленским. Выучив на память все арии, я пел их в меру своих скромных возможностей. И даже сейчас, когда я редко что-либо слушаю (и уже совсем не стреляюсь), после второй-третьей в дружеской компании всё еще могу что-то изобразить. Не уверен, что друзьям мое

## Детский сад

тение доставляет удовольствие, но на то они и друзья, чтобы идти на определенные жертвы. Корни же этого сомнительного вокала восходят, несомненно, к моим оперным дуэлям.

Нужно сказать, что дуэли относятся к самому позднему моему детсадовскому периоду. Это было, так сказать, верхним фа моего дошкольного существования. Начиналось же всё гораздо скромнее. Первые года два детский сад был главным моим детским несчастьем. Меня там никто не обижал, но нежелание идти туда можно было бы сравнить только с нежеланием идти к зубному врачу. Более того, в рейтинге моих нежеланий зубной уступил бы, думаю, детскому саду, потому что в первом случае это был естественный, но перебарываемый страх боли (в моем детстве не было анестезии), а во втором — непреодолимое отчаяние, непонятное никому, в том числе и мне.

Нужно сказать, что и вел я себя иррационально. Я послушно вставал, умывался, позволял натянуть на себя кофту и бесформенные шаровары (помнится зимний вариант) и спокойно, в общем, доходил до двери детского сада. Там я резко разворачивался и продолжал движение уже в противоположном направлении. Когда меня возвращали, я начинал рыдать, упираться и просить не оставлять меня в этом грустном месте.

Всех, кому довелось сопровождать меня в детский сад, изумляло то обстоятельство, что свои демарши я начинал непосредственно перед дверью. Прямо меня об этом не спрашивали (такой вопрос намекал бы на допустимость акции), но косвенным образом интересовались, отчего это мои истерики разыгрываются в последний момент, вместо того чтобы случиться во время умывания или натягивания

тех же шароваров. В конце концов, куда лежит курс, мне было известно изначально.

Что мог бы я им ответить? Ну, разумеется, я знал, в каком направлении мы будем двигаться, и тосковать я начал, едва открыв глаза. Вообще говоря, утро было для меня довольно безрадостным временем. Тьма за окном, пластмассовый голос радиоточки — всё это не прибавляло настроения. Но. Я находился дома и в благодарность за это готов был пялиться в снежную тьму, слушать радиоточку, да мало ли на что еще был я готов! До сада, думал я, еще много чего произойдет. Так безнадежный больной оставшееся ему время не хочет отравлять истерикой.

Я сдерживался даже тогда, когда мы уже шли по улице. Растягивая отведенные мне минуты до размеров вечности, я говорил себе, что до детского сада еще идти и идти, что прежде мы еще пройдем мимо аптеки, мимо какого-то бронзового типа на коне, мимо колючих кустов. Проходя мимо кустов, я думал, что еще нужно будет зайти во двор, подняться на второй этаж. Ну а на втором этаже всё, понятно, и начиналось.

Когда меня спрашивали, отчего я так плачу, идя в детский сад, я отвечал, что там слишком яркие лампы. С точки зрения взрослых, освещение не могло быть серьезной причиной страдания, и в жизни моей не происходило изменений. Придумай я что-нибудь вроде невозможности поладить с детьми (воспитателями), мои жалобы, наверное, были бы встречены с большим сочувствием. Я же говорил чистую, хотя с точки зрения здравого смысла невероятную правду: ничто в саду не приводило меня в такое отчаяние, как пронзительный свет люминесцентных ламп. Эти ядовитые лучи были так не похожи на мягкий свет моего дома.

## Детский сад

Они безжалостно высвечивали те недостатки дошкольного учреждения (прежде всего, наличие в нем злобных и энергичных детей), которые при другом освещении остались бы, возможно, в тени.

Всякое изменение в устоявшейся картине мира вызывало во мне новый приступ горя. Так, настоящим потрясением стала для меня замена обеденных столов. Как-то утром вместо удобных, хотя слегка и обветшавших столов питомцы детского сада обнаружили длинноногих монстров неестественно желтого цвета. Дома я сказал, что, сидя за этими столами, невозможно достать до еды, и предложил не отправлять меня в сад. Звучало это еще менее правдоподобно, чем в случае с лампами, и в сад я был отведен.

Каково же было мое удивление, когда на следующий день ножки у столов оказались укорочены (отпиленные их части были аккуратно сложены в углу), столы опустились до нужного уровня и блюда детсадовской кухни стали вновь доступны. Радость от этих блюд была небольшой, но возвращение привычного размера столов подействовало на меня успокоительно.

Педагогическая вставка: маленькие люди не любят перемен. Они любят, чтобы сегодня было так же, как вчера, а завтра — как сегодня. Потому, например, не стоит с ними чрезмерно путешествовать: частые поездки их утомляют. А еще мне кажется, что им нравится не столько читать, сколько перечитывать, потому что это возвращение к знакомому...

Да, упомянутые мной блюда. Это отдельная тема, при воспоминании о них мне до сих пор икается. Манная, в комках, каша, красные (под свеклу) бруски в борще, пахнущие хлоркой макароны и резиновые груши компота —

## Евгений Водолазкин

мению было, в общем, небогатым. Удержать эти деликатесы в организме удавалось немногим. В моих ушах до сих пор звучат унылые препирательства с воспитательницей относительно того, сколько нужно съесть, а сколько можно оставить.

Вспоминая всё это, я долго сомневался, отправлять ли мне свою дочь в детский сад. И даже отправив, ждал, не будет ли сад вызывать у нее те же страдания и те же жалобы. По первому сигналу я был готов забрать ее из сада, сказать, уходя, всё, что не высказал в детстве, и проклясть это заведение навеки. Но, к моему изумлению, дочь ходила в детский сад с охотой и даже сердилась, если я забирал ее слишком рано. Это был не мой детский сад, но ведь все они так похожи. Мне не подошел бы любой.

Впрочем, детские мои страдания со временем тоже закончились. Что-то со мной произошло (говорили: перерос), и годам к пяти с половиной я ходил в сад уже не без удовольствия. Конечно, питание там не улучшилось, и я мало что там ел (завтракать, например, мне вообще разрешили дома), но ведь не в еде состояла мучительность моего детсадовского существования. Я больше не впадал в депрессию при мысли о том, что мне нужно идти в сад, общаться, среди прочих, с теми, кого я не любил... Всякое ведь случайное и, пожалуй, не очень добровольное собрание людей предполагает общение с теми, к кому в вольной жизни ты бы не подошел. Оно предусматривает также закрепленное место в иерархии, в то время как очень уж хочется исходить из того, что каждый человек — вне любых конструкций, поскольку неповторим.

Во второй, благополучный период моей детсадовской жизни с иерархией всё у меня было в порядке. Я имел воз-

## Детский сад

возможность спокойно стреляться на дуэлях (для этого требовалась довольно высокая степень свободы) и делать всё то, что доступно право имеющему. Более того, сферу доступного я понимал в каком-то смысле шире, чем остальные детсадовцы.

Например, я позволял себе пародировать сотрудниц детского сада, вплоть до (о ужас!) его заведующей Ады Георгиевны. Мое обращение к образу Ады Георгиевны было связано с ее манерой есть, а точнее, с массой пневматических эффектов, сопровождавших принятие ею жидкой пищи. Успех моего представления был обеспечен, поскольку все знали, как именно она ест: воспитатели и заведующая почему-то ели в одно время с детьми.

Интересно, что поддержка моих пародий не ограничилась воспитанниками детского сада: благодарные зрители нашлись и среди воспитательниц. Как все нормальные люди, воспитательницы не любили начальство, и не любили, надо думать, всей душой. В отсутствие заведующей они просили меня изобразить, как Ада Георгиевна ест рассольник, как пьет горячее молоко, — и я не отказывал. Судя по тому, как они хохотали, получалось у меня неплохо. Особенно в номере с рассольником, предполагавшем втягивание в рот не только жидкости, но и огурцов.

Детский сад был маленькой моделью жизни, в которой дни славы и успеха чередуются с периодами неудач. Как-то в советский праздник 23 Февраля наше дошкольное сообщество посетили солдаты близлежащей военной части. Они рассказывали о своей непростой жизни, расспрашивали нас о нашей жизни — тоже непростой, и как-то так незаметно выяснилось, что у моего приятеля Алеши Семенова как раз 23-го день рождения. И тогда ему был сделан пода-

рок: Алешу посадили на стул, и два самых рослых солдата подняли его со стулом к самому потолку. Он сидел там, под потолком, вцепившись в стул обеими руками, и в глазах его страх соединялся с абсолютным счастьем. Смотрел на нас Алеша со своей высоты, а мы стояли вокруг него маленькие — меньше даже, чем обычно. И тут в надежде, что меня тоже поднимут на стуле, я крикнул, что у меня день рождения 21 февраля. Да, я не рассчитывал на то, что меня поднимут на ту же высоту: с датой рождения вышла у меня промашка. С другой же стороны, разница была небольшой и, в сущности, 21-е — это *почти* 23-е, так что на половину Алешиной высоты меня уж можно было как-нибудь поднять.

Меня не подняли, даже не оторвали от земли. Было сказано, что *почти* не считается, и это прозвучало как голос справедливости. Это произнесли не солдаты — они были славными ребятами, и совершить еще один подъем именинника для них было делом плевым. Если ничего не путаю, голос этот принадлежал старейшей сотруднице дошкольного учреждения, периодически произносившей мудрые, но гадкие вещи. Так оказался сорван мой взлет.

Упущенный шанс взмыть к потолку стал одним из крупных разочарований моего детства. Большим разочарованием была лишь неосуществленная мечта поплавать на листе тропического растения *виктория регия*. Где-то я прочитал, что такой лист выдерживает вес до 25 килограммов и потому-де тропические дети спокойно пользуются им как лодкой. Я мечтал об этом долго — класса до второго-третьего, с тоской осознавая, что неумолимо набираю вес. А потом жизнь как-то расширилась, прибавила в красках, и мечта моя исчезла сама собой.

## Детский сад

Завершая рассказ о моем детском саде, скажу, что, не смотря на обилие яблонь, он, конечно же, не был райским садом. Но в том, как последний раз лязгнули за мной его двери, обозначилось неожиданное сходство с дверями рая. Я больше не имел права на этот сад. Его, скрытого за домом, забором, акациями, я не мог даже увидеть. Мне кажется, что, будучи изгнаны из рая, Адам и Ева страдали не только оттого, что там было хорошо, а здесь плохо, но и от мысли, что туда уже нет возврата.

Тяжело знать, что куда-то уже не вернуться или чего-то уже не вернуть: это проклятие временем и пространством. Проклятие, если о более частном, мешками под глазами, нависшим над ремнем животом, ну и в широком смысле опытом — теми вещами, которые увеличиваются независимо от нашего желания. Я давно не взвешивался, но отчетливо осознаю, что это будет больше 25 килограммов. Понятно, что *виктория регия* поплывет без меня. А счастье было так возможно... Впрочем, оглядываясь на то бесконечно далекое время, я понимаю теперь, что оно-то и было счастьем.



# Сергей Гандлевский

## Счастье есть

\* \* \*

Опасен майский укус гюрзы.  
Пустая фляга бренчит на ремне.  
Тяжела слепая поступь грозы.  
Электричество шелестит в тишине.  
Неделю ждал я товарняка.  
Всухомятку хлеба доел ломоть.  
Пал бы духом наверняка,  
Но попутчика мне послал Господь.  
Лет пятнадцать круглое он катил.  
Лет пятнадцать плоское он таскал.  
С пьяных глаз на этот разъезд угодил —  
Так вдвоем и ехали по пескам.

Хорошо так ехать. Да на беду  
Ночью он ушел, прихватив мой френч,  
В товарняк порожний сел на ходу,

**Сергей Гандлевский**

Товарняк отправился на Ургенч.  
Этой ночью снилось мне всего  
Понемногу: золото в устье ручья,  
Простое базарное волшебство —  
Слабая дудочка и змея.  
Лег я навзничь. Больше не мог уснуть.  
Много все-таки жизни досталось мне.  
«Темирбаев, платформы на пятый путь», —  
Прокатилось и замерло в тишине.

1979

\* \* \*

Это праздник. Розы в ванной.  
Шумно, дымно, негде сесть.  
Громогласный, долгожданный,  
Драгоценный. Ровно шесть.  
Вечер. Лето. Гости в сборе.  
Золотая молодежь  
Пьет и курит в коридоре —  
Смех, приветствия, галдеж.

Только-только из-за школьной  
Парты, вроде бы вчера,  
Окунулся я в застольный  
Гам с утра и до утра.  
Пела долгая пластинка.  
Балагурил балагур.  
Сетунь, Тушино, Стромынка —  
Хорошо, но чересчур.

## Счастье есть

Здесь, благодаренье Богу,  
Я полжизни отрубил.  
Женщина сидит немного  
Справа. Я ее любил.  
Дело прошлое. Прогнозам  
Верил я в иные дни.  
Птицам, бабочкам, стрекозам  
Эта музыка сродни.

Если напрочь не опиться  
Водкой, шумом, табаком,  
Слушать музыку и птицу  
Можно выйти на балкон.  
Ночь моя! Вишневым светом  
Телефонный автомат  
Озарил сирень. Об этом  
Липы старые шумят.

Табакom пропахли розы,  
Их из Грузии везли.  
Обещали в полдень грозы,  
Грозы за полночь пришли.  
Ливень бьет напрапалую,  
Дальше катится стремглав.  
Вымостили мостовую  
Зеркалами без оправ.

И светает. Воздух зябко  
Тронул занавесь. Ушла  
Эта женщина. Хозяйка  
Убирает со стола.

## Сергей Гандлевский

Спит тихоня, спит проказник —  
Спать! С утра очередной  
Праздник. Всё на свете праздник —  
Красный, черный, голубой.

1980

### Портрет художника в отрочестве

#### I

Первый снег, как в замедленной съемке,  
На Сокольники падал, пока,  
Сквозь очки озирая потемки,  
Возвращался юннат из кружка.

По средам под семейным нажимом  
Он к науке питал интерес,  
Заодно-де снимая режимом  
Переходного возраста стресс.

Двор сиял, как промытое фото.  
Веренице халуп и больниц  
Сообщилось серьезное что-то —  
Белый верх, так сказать, черный низ.

И блистали столетние липы  
Невозможной такой красотой.

## Счастье есть

Здесь теперь обретаются VIPы,  
А была — слобода слободой.

И юннат был мечтательным малым —  
Слава, праздность, любовь и т.п.  
Он сказал себе: «Что как тебе  
Стать писателем?» Вот он и стал им.

2006

## II

Ни сика, ни бура, ни сочинская пуля —  
иная, лучшая мне грезилась игра  
среди пляжной немочи короткого июля.  
Эй, Клязьма, оглянись, поворотись, Пахра!

Исчадь трепетное пекла пубертата  
ничком на толпами истоптанной траве  
уже навряд ли я, кто здесь лежал когда-то  
с либидо и обидой в голове.

Твердил внеклассное, не заданное на дом,  
мечтал и поутру, и отходя ко сну  
вертеть туда-сюда — то передом, то задом  
одну красавицу, красавицу одну.

Вот, думал, вырасту, заделаюсь поэтом —  
мерзавцем форменным в цилиндре и плаще,

## Сергей Гандлевский

вздохну о кисло-сладком лете этом,  
хлебну того-сего — и вообще.

Потом дрались в кустах, еще пускали змея,  
и реки детские катились на авось.  
Но, знать, меж дачных баб, урча, слонялась фея —  
ты не поверишь: всё сбылось.

*2007*

## Татьяна Кокусева Дерись!

Брат Сашка стоит в углу, а я сижу под письменным столом и завидую. В угол он уже не очень помещается, вырос. Сашке двенадцать лет, у него крепкие плечи хоккейного вратаря, тонкий давний шрам от шайбы на переносице и свежие следы драки — разбита губа, на скуле ссадина и синяк. За драку он и отправлен в угол. Мама, конечно, распекала. Сколько можно, ей за него стыдно, а ему всё равно, не ребенок, а какой-то уголовник, скоро его поставят на учет в милицию, ну, всё как обычно. Раньше Сашка пользовался версией благородной драки. Например, врал, что кто-то оскорбил маму или обидел меня. Я ведь младше на два года, меня нужно защищать. Мама мазала его ссадины желтым кремом, жалела и называла нашим телохранителем. Даже сказала как-то, что однажды папа узнает, какой у него молодец-сын, и, может, вернется домой. Но как-то вдруг выяснилось, что Сашка дрался не за правду, а просто так, из любви к процессу. Маме тогда здорово вле-

## Татьяна Кокусева

тело на школьном собрании от других родителей. Теперь Шурик у нас не герой, а бандит, который позорит мать. Но нет, не у нас, а только у мамы. Для меня же брат — объект обожания и мучительной зависти. Дело в том, что я тоже хочу драться.

Мама сказала как-то, что раз отец ушел, Сашка будет в семье главным. За этот год без отца мы сильно изменились. Папа всегда всё решал, а мы просто ехали пассажирами в этом поезде, который вел он. Теперь поезд едет кое-как. Мама растеряна и много плачет. Сашка злится на нее, на меня, уходит сразу после школы гулять и возвращается поздно. Нам больно, наше семейное королевство распалось. Мы еще не знали, что папа от нас уходит, но дома стало вдруг тихо, как будто выключили звук или даже обложили всё ватой. Как будто нырнул, сидишь на дне, а мимо плывут вещи и люди, медленно и осторожно, стараясь не сталкиваться друг с другом. В тот вечер у входа стояли два чемодана. Папа метался. Он ходил по квартире, делая вид, что ему что-то нужно, но ему нужно было, чтобы мама что-нибудь сказала. А она молчала. Тогда он зашел на кухню и сказал — ты можешь меня ударить. Мы слышали из комнаты, он так и сказал. Но мама молчала в ответ.

— Ты думаешь, мне легко? — сказал папа. — Я должен. Врать лучше? Врать нельзя! Не молчи! Ну наори, ударь, всем будет легче!

И он ударил по столу. Что-то звякнуло и упало. Кажется, разбилось. Папа ушел, дверь хлопнула, а тишина осталась с нами.

«Ударь, и будет легче». После драки брат несколько дней не орет на маму и на меня, становится тихий и добрый. Мне



## Дерись!

десять, и я тоже хочу драться, потому что не знаю, как быть. Мне нужно какое-то движение, чтобы взрезать пространство. Я думаю, что раз драка помогает брату, значит, поможет и мне.

Я не понимаю только, как это сделать. Во-первых, драку нельзя начать ни с того ни с сего, до нее нужно довести. Должен быть повод, причем серьезный. Как решить, пора уже бить или нет? Во-вторых, меня занимает вопрос — как это, ударить человека в лицо. Куда именно — в глаз или в ухо? Кулаком или ладонью? Изо всех сил или сначала слегка? И главное — кто этот человек, почему его? Я сижу под столом и тренируюсь на несчастном плешивом медведе. Медведь уже избит во все места, но мне всё равно непонятно, как правильно. Я вылезаю из-под стола и иду к брату.

— Сань.

— Чего тебе?

— А как ты дерешься?

— Тебе зачем?

— Ну просто. Интересно. Ты такой храбрый.

Я знаю, что Сашка любит лесть. Надеюсь, что сработает. Он некоторое время молчит, смотрит в угол. Потом поворачивает голову, изучает мое лицо и, наконец, садится на пол.

— В общем, — начинает Саша, — драка — это тактика. Надо понять, где у него слабое место.

— У того, кого бьешь, да? А за что ты его бьешь?

Мне хочется задать сразу все вопросы, но я понимаю, что нельзя. Я жду.

— За разное. Иногда просто надо. Понимаешь?

Я не знаю, что ответить. Что значит — надо? Сашка, наверное, сразу видит это «надо», но я-то нет.

## Татьяна Кокуева

— Саш, — осторожно подкрадываюсь я, — а ты объясни получше. Когда надо?

— Вот подходит он к тебе такой, допустим. Смотришь — наглый. Он тебя не боится и может двинуть. А надо первым двинуть тогда! Чего ждать? Хрясь ему, и всё.

— За что?

— Да нет никакого «за что»! Он наглый и получает, понимаешь?

— Прямо по лицу, да?

— По морде! Или в ухо. А когда сцепишься, там уж куда придется. Я тут одному ногой знаешь куда попал? Хотя неважно.

— А как ты бьешь? Кулаком?

— Конечно, кулаком! Ладонками только дети дерутся. Только надо не пальцами, а вот тут, костяшками. Пальцы больно будет, можно сломать даже. Хрясь — и в нос. Если повезет, сразу кровяшка пойдет, и всё, победил.

Я внимательно слушаю, и мне кажется, что надо быть очень смелым, как мой брат, чтобы вот так хрясь.

— Тебя ведь тоже бьют. Это больно?

— Ну как.. Больно, да. Но позже. Вот сейчас губа болит. А сначала не замечаешь, это вообще не важно, совсем. Главное — ты дерешься. Молотишь кулаками его. Знаешь, как круто!

— А если не победишь?

— Ну и что! Подумаешь. Всё равно он видит, что ты не боишься. Всё равно! Он тебя будет уважать, даже если побьет. Ньюни не распускай, у нормального бойца кровь должна капать, а не слезы.

— А... — я подбираю слова, чтобы спросить о самом главном, — что после драки? Тебе хорошо?

## Дерись!

— Драка — это счастье, ясно? Тихо, мать идет.

Я снова лезу под стол, а Саша встает в свой угол. Мама выгоняет меня из комнаты, им с братом нужно серьезно поговорить.

Теперь я всё знаю. Решимость моя крепнет, осталось найти наглеца и дать ему по морде. Я одеваюсь. Джинсы, черная футболка, кроссовки. Одежда должна быть удобной. Выхожу во двор. На качелях сидит одноклассница Юлька. Она слушает о моих планах, маленькие глаза ее загораются горячей поддержкой. Юлька ниже меня почти на голову, худая, слабенькая, но боевой дух всегда заставляет ее пускаться в разные авантюры. Мы вместе идем искать врага, потому что мне нужен свидетель, а то не поверят.

Сначала мы шатаемся по дворам. Еще рано, дворы забиты малышней и сопровождающими мамками и бабками. У старого облезлого дома бродит Савин. Он старше нас на год, но учится на класс младше. У Савина какие-то проблемы с головой, поэтому он ни с кем не дружит, но ему вроде бы и с собой интересно. Обычно он играет один в своем дворе, что-то бормоча под нос, расхаживая между старыми железными качелями, ржавой горкой и покосившейся каруселькой. Сейчас у Савина в руке кусок мела и палка. Мы с Юлькой останавливаемся и наблюдаем, как он пишет что-то на грязной горке, потом тычет в это место палкой и что-то говорит, говорит, машет рукой. Юлька предлагает мне драться с Савиным. Вокруг никого. Я думаю. С одной стороны, Савин выше меня, с другой — он как будто первоклассник. Мне его жаль. Я представляю, как подхожу к нему и бью кулаком по удивленному лицу, а он не понимает, за что. Да ну. Я качаю головой.

## Татьяна Кокусева

Мы уходим на речку, грязную и маленькую. Она течет в нашем районе, переливаясь бензиновыми пятнами. На берегах растут лопухи и кусты, стоит знак с зачеркнутым якорем. Как будто кто-то будет бросать якорь на полуметровой глубине. На речке малолюдно, в случае драки никто из взрослых не прибежит. Мы пробираемся через лопухи и крапиву под старый каменный мост. Там в тени большого куста сидит незнакомый мальчик. Он тычет кнопки своего телефона, что-то бормочет под нос. Нас он не видит из-за веток, поэтому я могу трезво оценить свои силы.

— Как ты думаешь, Юль? Нормальный? Сидит, смотри, сам с собой болтает. Как Савин, только обычный.

— Дебил просто, — подхватывает Юлька.

— Длинный вроде. Хотя тощий.

— Такие тощие слабые всегда. Ну и длинный, а зато можно ему в живот пихнуть.

Мы идем к мальчику. Светит солнце, верещат воробьи. Плохие условия для драки, думаю я, слишком уж спокойный день. Хорошо бы было пасмурно, а еще лучше гроза. Драться в грозу красиво и как-то понятно. Может быть, этот мальчишка сейчас скажет какую-нибудь гадость, тогда я обижусь, и дело само собой дойдет до скандала? Я чувствую волнение, ладони мокреют. Мальчик поднимает голову и смотрит на нас. Наглый, вспоминаю я слова брата. Он наглый или нет? Можно ли ему сразу влепить? Я стою, а он сидит и не собирается вставать, и лицо у него дружелюбное.

— Чего? — говорит он.

— Ничего. Играешь? — я понимаю, что момент потерян.

— А, да, — он машет телефоном, — дурацкая игрушка, не могу пройти.

## Дерись!

Мы молчим. Надо уходить, потому что нельзя драться с человеком, с которым ты уже дружески поболтал.

— Эй! — раздается голос мальчика.

— Чего?

— Вы тут аккуратно гуляйте. Тут где-то Жека Гайдамак болтался. Он вообще без башни, может побить. Я тут от него прячусь.

Про Жеку Гайдамака все знали. Для него не было разницы, над кем издеваться. С какой-то навязчивой жестокостью он бил ровесников, первоклассников, девчонок, собак. Мать его постоянно вызывали в школу, но она только молча плакала, когда ей предъявляли очередные доказательства его поведения. Отца у Жеки не было. Все всегда сообщали друг другу, где Гайдамак гуляет, чтобы вовремя спрятаться, убежать в соседние дворы. Ростом он был ниже многих своих жертв, но злоба делала его сильнее их. Встреча с Гайдамаком гарантировала драку, но эта драка заканчивалась всегда в его пользу.

— Слушай, я не хочу с Гайдамаком встречаться, — прошептала Юлька. — Пойдем отсюда, а? Найдем кого-нибудь получше. Кого-нибудь нестрашного, а? Может, все-таки с Савиным подерешься немножко? Гайдамак бьет прям до крови, он одного мальчика знаешь как отметелил? У него глаз потом не открывался вообще! Ты же не хочешь, чтоб у тебя так было? Пошли!

— Ну да. Нет, то есть. Не хочу.

Мы развернулись, чтобы идти обратно. И тут же из-за куста выдвинулся невысокий темноволосый пацан. На щеке его вызывающе горела свежая царапина, губы потрескались. Это и был Жека Гайдамак. Он молча смотрел на всех нас, видимо, прикидывая, кого отлупить в первую очередь. Маль-

## Татьяна Кокусева

чик с телефоном медленно встал, пряча телефон в карман. Гайдамак потер щеку. Кулак с разбитыми костяшками — значит, дрался, мелькнула мысль. Он продолжал нас изучать, как удав, страшными злыми глазами. Юлька тихо всхлипнула. В этот момент мысли мои куда-то исчезли, внутри ухнуло, стало пусто, а кулак взлетел и вlepился прямо в удавий глаз. От неожиданности Гайдамак вскрикнул и поднял руку. Это слабость, пользуйся, давай, блеснуло в голове. И вот я дерусь — руки молотят по его лицу, по уху, я пинаю его в коленку, он бьет меня кулаком в нос, соленые губы, плевать, как говорил брат, плевать, на, на тебе еще, рука ударяется о твердое, резкая боль, плевать, его кулак попадает мне в щеку, я снова пинаю, я уже не вижу, куда бью, я бью, я могу бить его, не боюсь, получи, сволочь, я больше ничего не боюсь, это счастье, какое это счастье! Наверное, мы бы сильно избили друг друга, если бы на воде не показалась байдарка. Человек с веслом заорал что-то, Юлька схватила мою руку, и мы побежали в одну сторону, а Гайдамак в другую. На бегу я чувствую, как щиплет губы, нос шмыгает, всасывая кровь, я почти лечу, не обращая внимания на колючую крапиву, меня гонит невысказанное счастье, счастье свободного человека. У меня больше нет никакой боли в душе, я слышу все звуки, горячий ветер жжет губы, ломит и саднит руки, но та, внутренняя боль вбита кулаком в Жеку Гайдамака.

Мама кричит от ужаса. У меня разбиты губы, нос, поцарапана щека. Я плохо выгляжу, это точно. На крик прибегает Сашка, он под домашним арестом. Он смотрит на меня молча.

— Кто тебя избил? — кричит мама. — Кто? Пойдем в милицию, все посходили с ума! Все! Мы найдем мерзавца! Это всё ты, Сашка! Это из-за тебя!

## Дерись!

Мама вне себя от злости. Мне обидно, что она сразу сказала «избил». Сашку ведь она не спрашивает, кто его избил, спрашивает, с кем он дрался. Мама хватается брата за руку и тащит ко мне.

— Вот, полюбуйся! Ты бьешь, тебе не могут ответить, поэтому вымещают на твоей семье! На сестре! На девочке! Тая! Таисья! Кто это был, отвечай мне сейчас же!

Я улыбаюсь Сашке, хотя это жутко больно. Губы распухли. Брат перестает хмуриться, и я вижу, что он понял.

— Я подралась, мам.

— Что?! С кем? Что ты врешь!

Я протягиваю вперед руки. Мои кулаки в крови. Я смотрю на них и улыбаюсь, и чувствую, как из глаз потекла вода. Саша отодвигает маму, которая ничего не может сказать, и обнимает меня. Прижимает мое лицо к плечу.

— Прости, прости, — говорю я сквозь слезы, не в силах остановить их.

— Ничего, теперь можно.

Я не дралась больше никогда. Брат тоже почти перестал. В этот день мы почувствовали, что защитили свою семью. Мы стали ближе, я и мой брат. Гайдамака я видела еще всего один раз на улице. Он долго смотрел на меня, и я подумала, что сейчас снова придется драться. Я не отвела взгляда. Мы смотрели друг на друга минуту, потом он усмехнулся и ушел.

# Ярослава Пулинович

## Кредит

### 1.

Будильник трезвонит ровно в шесть, как и всегда. Леся встает молниеносно, рывком, залеживаться ей некогда. Идет на кухню, пьет воду из кружки с Микки Маусом, оставленной кем-то вчера на столе. Вода отдает во рту горечью. Накинув махровый, заляпанный чем-то липким халат, Леся выбежала на балкон. На улице холодно и серо, хотя на дворе август. Короткое уральское лето в этот год вообще погодой не балует. Дожди лили весь июнь и всю первую половину июля. Потом немного распогодилось, и вот опять — город погряз в жидкой грязной кашнице, осклизлой мороси и тумане.

Леся выкуривает свою первую за день сигарету. Для Леси эта первая сигарета — ритуал, единственные пять минут, когда она может подумать, осознать себя, что вот она —



Леся, мать двоих детей, стоит на балконе и курит, близоручко вглядываясь в сумрачные еще очертания города. Город просыпается, приходит в движение, маленькие светящиеся точки уже несутся по кольцевой, на которую выходят окна Лесиной квартиры. Куда они едут — эти люди? Наверняка на работу. Быть может, не на такую ненавистную, как у Леси? Нет, скорее, все-таки на ненавистную. Разве может любимая работа начинаться в восемь утра? В школе Леся хотела поскорее начать работать, потому что работа у взрослых начинается в десять и им не нужно делать уроков. Леся грустно усмехается — где-то она ошиблась в своих расчетах...

Леся возвращается в квартиру и начинает метаться по комнатам. Умыться, затем сварить кашу для Миланки, одеться самой, поднять Миланку в садик, загнать ее в ванную.

— А-а-а! — кричит дочь. — Ну мамочка, ну пожалуйста! Ну пожалуйста, пожалуйста, ну не надо!

— Поори мне тут еще, — шикает на дочь Леся, — весь дом перебудишь! Давай, быстро, я сказала!

Леся подталкивает Миланку в ванную. Лицо у дочки злобное и заспанное, но при этом такое уютное, такое родное, что хочется прижать ее всю к себе и утащить под одеяло — бог с ним, с этим садиком, и с работой — и спать, спать, спать, зарывшись в длинные золотистые Миланкины волосы. Но Леся, конечно, никогда этого не сделает.

— Я кому сказала! Быстро! — одним рывком умывает она дочь. — Я тебя предупреждала! Опять вчера мультики до полуночи смотрела!

— Я не смотрела, — хнычет Миланка и, заливаясь слезами, принимается чистить зубы.

## Кредит

Леся идет собирать Миланкины вещи. Колготки, платье, маечка, трусики... Не забыть еще положить запасные — в пакет. Миланке уже пять лет, но порой случается с ней оплошность в сончас. Вот и вчера случилась. Раньше Леся переживала, но потом узнала, что Миланка не одна такая, что есть дети, у которых после каждого сончаса кровать мокрая, и переживать перестала. Ее Миланка не хуже других — обычная девочка, а детский энурез — дело такое, со всеми бывает, потом пройдет.

Умыв и одев дочь, Леся идет в маленькую комнату. На самом деле большая комната их двухкомнатной хрущевки тоже не особенно большая, но эта маленькая — совсем клеть. В приятном утреннем полумраке пахнет лекарствами и потом. Лекарствами — от пожилой сухонькой женщины, лежащей в углу на кровати. Потом — от Лесиного сына — угреватого подростка, посапывающего на раскладушке в другом углу.

— Мам, — кладет Леся руку на лоб матери, — мам? Ты как?

Мать открывает глаза и какое-то время бессмысленно смотрит на дочь.

— Пить... Всю ночь пить хотела, а с вечера не поставила себе. Жар у меня, что ли, — шепчет мать.

— Я принесу сейчас... Ты это... Андрюхе напомнишь, чтобы за коммуналку заплатил? Я деньги на столе оставила.

— Скажу...

— Ну всё, мы пошли тогда. Я на ключ закрою, не вставай...

Леся смотрит на мать, гладит ее по высохшей руке и впервые за утро улыбается.

2.

Леся работает кастеляншей в туберкулезном диспансере. Диспансер стоит почти на окраине города. Остановка, на которой Леся выходит каждое утро, так и называется — «Тубдиспансер». Следующая остановка, конечная, называется «Крематорий», но дотуда Леся еще ни разу не доезжала.

Леся заходит в центральный корпус больницы, дыхание перехватывает от хлорки и чего-то больнично-кислого, доносящегося из столовой. Так всегда — неприятен только этот первый вдох, когда приходишь со свежего воздуха. Потом запах приедается, становится частью больничного интерьера. Кажется, что и свежеевыкрашенные зеленые стены, и белые халаты врачей, и линолеумный пол в светло-коричневых ромбиках источают этот запах. Леся идет в кастелянскую.

В кастелянской холодно и густо пахнет дезинфицирующим средством. Лесе кажется, что если бы запахи можно было раскладывать по цветам, то запах ее каморки был бы белым.

Леся берет несколько пустых баулов. Теперь спуститься в подвал, получить свежее белье в прачечной, наполнить баулы. В один — постельное, в другой — больничные халаты и пижамы. Потом дотащить баулы до отделения, рассортировать... Сегодня работы не так много, не то что по четвергам, когда больным положено менять белье... Так, теперь погладить чистые халаты врачей и медсестер, затем собрать грязные, снова спуститься в прачечную...

Движения Леси уверенные — в меру расторопные, в меру энергичные. Достать гладильную доску, включить утюг...

Из утюга пошел пар — можно начинать. Туда-сюда, туда-сюда, готово, следующий. Лесины мысли далеко. Леся беззвучно шевелит губами: платежка пришла на пять триста, сдать Миланке двести на подарок, и че это опять на подарок, зачастили они с этими праздниками, а если все-таки сходить в соцзащиту как малоимущие, ну нет, а если детей отберут, маме еще на лекарства три двести, надо еще посмотреть полиоксидоний, вроде бы на сайте он есть за шестьсот восемьдесят четыре рубля, кажется в «Живике», потом Андрею надо отдать четыреста двадцать на рабочую тетрадь, и это сколько останется... Следующий платеж через неделю... Надо еще Миланке ботиночки забрать, те, которые утром выставили, дорога туда-обратно пятьдесят шесть рублей, это Заречный, кажется, нет, там с пересадками, сто двенадцать получится, лучше еще посмотреть, может, в нашем районе кто отдает, но там вообще-то хорошие вроде, замшевые...

— Леся, привет, — в поток мыслей врзается голос сестры-хозяйки Ирины.

— А, привет, — сонно здоровается Леся.

— Че, как на выходных?

«Вот нейметса ей», — думает Леся и отвечает:

— Да никак, дома сидели.

— А мы на оптовку ездили, — гордо выдает Ирина. — Гавриков моих к школе одевали. Ну и че по мелочи — тетради, канцелярка... Ты своих-то уже подготовила?

— Да нет пока, — Леся уходит в самую глубь кастаньянской и делает вид, что что-то ищет в ворохе лежащих в углу непронумерованных еще пижам.

3.

Леся почти не помнила своего детства. Помнила только, как жили в коммуналке, как соседи засиживались на общей кухне допоздна и большой небритый сосед дядя Боря сажал ее на колени и называл Лесей Украинкой. Помнила запах табака от его небритой щеки, собаку Журочку, что жила в комнате у другой соседки.

Потом матери дали квартиру от завода, и они переехали. Леся помнила, как пошла в первый класс, как мама заставила ее подарить георгины страшной учительнице с большим родимым пятном на полщеки. А дальше — пропасть...

Наверное, Леся как-то училась, о чем-то говорила с одноклассниками, но вот о чем? Наверняка у нее даже были подруги. Но из всего того периода она запомнила только, что мать всё время просила ее сидеть тихо, потому что «мама устала». И Леся сидела тихо и вечерами рисовала в тетрадке совершенно одинаковых принцесс — почему-то безносых, большеглазых красавиц с маленькими губами-бантиками. У самой Леси нос был ого-го какой — отвратительная приплюснутая картошка. «Пролетарский нос, — говорила мать. — У меня такой же. И у дочери твоей такой будет». Впрочем, и в остальном природа Лесю ничем привлекательным не наградила: глаза маленькие, почти безбровые, губы тонкие, волосы мышиного цвета. С «мышиностью» волос Леся быстро разобралась в двенадцать лет при помощи краски. Была брюнеткой, потом рыжей и в итоге к пятнадцати годам стала блондинкой.

Зато в те же пятнадцать стало понятно: Лесе всё же есть чем гордиться — фигурой она пошла явно не в худосочную мать. Тонкая и невысокая, с плоским животом и узкими за-

пястями, Леся к десятому классу разжилась вполне приличных размеров грудью и широкими бедрами. И внутренне Леся как-то расцвела, перестала сжиматься в комок от каждого, даже случайного людского взгляда. На нее стали заглядываться мужчины. Ну а лицо, что лицо? Поярче макияж, и никто и не заметит, что там, на этом лице...

Лесю сложно было назвать интеллектуалкой. Книжки она не любила, телевизор смотрела изредка, от музыки у нее быстро начинала болеть голова. До тринадцати лет Леся любила рисовать принцесс и смотреть в окно. Обычно она разглядывала облака и пыталась определить — какое из них больше похоже на слона. А на собаку? А на кошку? В четырнадцать прочитала роман «Анжелика» Анн и Сержа Голон. Прочитала, потому что стыдно было уже не прочитать, роман ходил по женской половине класса весь год, бережно передавался из рук в руки, девочки обсуждали любовные перипетии Анжелики на каждой переменке. Леся практически залпом прочитала книгу, потом всю серию, потом еще несколько романов того же пошиба и начала мечтать...

Ей не хотелось гулять, не хотелось есть, не хотелось жить той жизнью, которой жила она. Какое-то непонятное задумчивое томление напало на нее. «А вдруг всё это сон? — думала Леся. — И эта наша квартира, и наша жизнь, и всё, всё вокруг — стол, чашки, кастрюля с супом, телевизор на тумбочке со сломанной ножкой? Вдруг на самом деле я маркиза или принцесса, а вдруг я заколдована, а вдруг рядом со мной спит принц и видит точно такой же сон про то, что он живет в хрущевке?» Леся даже щипала себя за запястье и держала руку над газовой конфоркой, но сон не проходил. Она оставалась всё той же Лесей из хрущевки на окраине города.

Но однажды Леся встретила его — принца из сказки. Принц учился в ближайшем строительном колледже, был высоким зеленоглазым красавцем, залихватски носил шапку на затылке и курил «Кент», что среди Лесиных одноклассников считалось мажорством. Познакомились они в общаге того самого колледжа, где учился принц. Леся иногда ходила туда с подругами «чисто потусить со старшаками». Леся обычно сидела молча — она не знала, о чем говорить с этими веселыми разухабистыми ребятами. Казалось, скажи она хоть слово — ее тут же поднимут на смех. Но принц подошел первым. Угостил сигаретой. Леся тогда еще не курила, но отказываться не стала — покурила не в затыг, как делала всегда, когда крутые одноклассники звали ее «покурять» за гаражи. Принца звали Максом. Макс в первый же вечер по-свойски положил руку Лесе на плечо, а Леся не стала сопротивляться.

Романа, собственно, у них толком никакого и не случилось. Просто после пары походов в общагу все стали воспринимать Лесю с Максом как пару. Макс провожал Лесю до дома и зацеловывал в подъезде до сизых засосов. Его поцелуи вообще больше походили на укусы, но Леся не знала других поцелуев, а потому ничего Макс не говорила, а лишь стыдливо прятала шею в шарфы и воротники водолазок. В перерывах между встречами в общаге Леся с Максом не общались — у Макса, кажется, был мобильник, но Лесе неоткуда было позвонить.

Лесе было пятнадцать с половиной, когда Макс пригласил ее к себе в общагу «на днюху». «Днюха» была многолюдная, шумная, со странными приездами-отъездами знакомых какого-то Хмурого, с девушками гораздо старше Леси, с обильной выпивкой и походами «за догоном», с криками на

всю общагу: «Макс — наш пацан!» К шести утра они с Максом остались в комнате одни. Тогда-то всё и случилось. Леся даже не особенно поняла — как это произошло. Просто Макс притянул ее к себе и, дыхнув алкоголем, прошептал: «Ты — мой главный подарок». И Леся сдалась. Голова кружилась от выпитого, Макс казался таким нереальным, да и вообще всё вокруг казалось сном, как тогда, в четырнадцать лет. Леся хотела было заикнуться про защиту, но так и не решилась произнести стыдное слово «презерватив». Однажды лет в десять Леся спросила у матери, что это такое, и получила ответ, что такие вопросы задают только шалавы. С тех пор это слово казалось Лесе гадким, неприличным. «Ну он же знает что делает», — подумала Леся и закрыла глаза.

Было не больно, вообще никак. Леся плыла по черной реке, окруженная плотным кольцом тумана. Река тащила куда-то ее тело, утаскивала в водовороты, затягивала в воронки и, наконец, в десять утра выплюнула из своего чрева на панцирную кровать к Максиму, где Леся себя и обнаружила.

Она встала, быстро оделась, погладила на прощание Макса по темным кудрям и вышла из комнаты. «Спасибо за подарок, малыш», — сонно промямлил Макс на прощание и повернулся на другой бок.

Они еще встречались с Максом пару раз. Но вот странность — после той ночи Макс вдруг стал Лесе неприятен. Его поцелуи больше не будоражили ее, а зеленые глаза не восхищали. Хотелось отмотать время назад и «чтобы ничего этого не было» — ни дурацкой «днюхи», ни «проводаний». Макс эту перемену в Лесе заметил, но отнесся к ней философски:

— Вы, бабы, сами не знаете, чего хотите, — сказал он в очередную их встречу в коридоре общежития. — Ладно, не



## Ярослава Пулинович

хочешь — не надо. Чё я, не вижу, как ты от меня гасишься? Телок нормальных до фига, ты не единственная вообще-то.

Сказав это, Макс ушел в свою комнату и провожать Лесю в тот вечер не стал. Больше Леся в общагу не ходила.

Через два месяца Леся поняла, что беременна. Но рассказать матери об этом решила только когда начал выпирать живот. Мать поначалу кричала, что воспитала проститутку, но тут Леся в первый раз за свою жизнь огрызнулась и напомнила ей, что своего отца она так-то тоже ни разу не видела. Мать быстро перевела разговор на другое и больше Лесю ни в чем не обвиняла.

Пришлось уйти из школы, из одиннадцатого. «Но это не так уж и страшно, — размышляла Леся, — девять-то классов есть, поступлю потом в какой-нибудь колледж».

Беременность проходила легко, Леся как будто не заметила ее. Снова начала рисовать в тетрадке, но уже не принцесс, а маленьких девочек, играющих то с котятками, то со щенками.

В середине января родился мальчик. Андрюша. И жизнь закрутилась, ошетибилась, понеслась полноводной рекой куда-то — сначала хлопоты с младенцем, потом пришлось выйти на работу в ларек, потом кладовщицей в магазин, сына устроила в садик, появился ухажер Сережа, который всё набивался в мужья, но по причине «запойности» был отвергнут, потом Виталик, потом Илья... Леся мужчинам нравилась, но все они были «не то». От Виталика неприятно пахло потом, Илья заикался... Не то чтобы Леся была гордая, но с годами появилась в ней какая-то самодостаточность и даже самоуверенность, не хотелось ей размениваться на «абы что». А «тот самый» никак не появлялся в ее жизни. Так и жила она с мамой и сыном в хрущевке. Надо сказать, что

несмотря на предсказания местных старух-соседей, которые утверждали, что «эта шалава малолетняя ребенка как пить дать на мать скинет», матерью Леся была хорошей. По вечерам бежала к сыну с работы, покорно играла с ним и в лошадку, и в паровозики, а чуть позже в бэтмена и в человека-паука. Шила ему на праздники костюмы пиратов и рыцарей и даже прочитала две книги по детской психологии.

Леся уже работала в тубдиспансере кастеляншей, когда появился «тот самый». Пришел в их отделение проведать друга, был навеселе, громко смеялся и отпускал проходящим медсестрам комплименты. Ну и Лесю не обделил. А Леся возьми да и нагруби ему в ответ, мол, «еще всякое хамло будет задницу мою оценивать». На следующий день «тот самый» приехал с коробкой конфет — извиняться. Так и закрутилось. Того самого звали Владимиром, а чуть позже Володей. Вовой он называть себя запрещал.

Графика встреч у них никакого не было, просто в очередной вечер раздавался звонок и его голос, всегда немного навеселе, с придыханием, произносил в трубку: «Принцесса, а поехали в ночь?» И тогда Леся просила мать забрать Андрюшку из садика и неслась к своему принцу на другой конец города.

Встречались они в его холостяцкой квартире. То, что квартира нежилая, Леся поняла сразу, но разузнать у Володи обстоятельства его жизни постеснялась. Да всё и так было понятно — женат, кольца он не снимал. Во все их встречи Володя пил, но не до отключки, а как-то бодро, с огоньком, с куражом. Пил виски либо коньяк. Леся сама алкоголь не очень любила, но для приличия выпивала пару рюмок. Володя шутил, играл на гитаре песни собственного сочинения и Высоцкого, называл Лесю то «принцессой», то «царицей», то «колдуньей». И Леся влюбилась, околдовалась. Она как

## Ярослава Пулинович

будто оказалась в каком-то параллельном мире, где всё — то же самое, все те же машины, деревья, улицы, светофоры, но в то же время другое — зачарованное. И саму себя Леся ощутила другой — легкой, манящей, наполненной тайным волшебным знанием. Она как будто летела и сама удивлялась, как же раньше она не замечала, что умеет летать.

Леся пролетала всё лето, осень и половину зимы. А в середине февраля у нее случилась задержка... И лететь стало еще легче. Леся знала, что будет рожать несмотря ни на что. И она летела, летела к нему на встречу, еще не зная, как он отреагирует и продолжатся ли их отношения вообще.

Он не отговаривал ее, не просил сделать аборт, но новость о беременности принял сухо.

— Видишь ли, принцесса, я в некотором роде женат. И у меня двое детей.

— Я знаю, — пролепетала Леся.

— Я тебе ничего не обещаю. Но с ребенком буду помогать.

Это было главным. Он будет помогать. Он не исчезнет из ее жизни навсегда. Пусть нечасто, украдкой, но они будут видеться. У них будет расти ребенок. Быть может, он придет к ним в дом и познакомится с мамой.

Но он исчез. Исчез не сразу. Поначалу помогал немного деньгами, оплатил покупку кровати и коляски, несколько раз свозил на своей машине Лесю к врачу. Но звонки становились всё реже и реже. Леся звонила пару раз сама, но он то не брал трубку, то разговаривал с ней так холодно и отстраненно, что лучше бы не разговаривал вообще. Качать права, закатывать истерики Леся не умела. И перестала звонить. В назначенный срок Леся родила девочку. Первым делом посмотрела — не картошкой ли у нее нос. Слава богу, нос был обычным — две маленькие черные точки на смор-

## Кредит

щенном личике жадно втягивали воздух. Леся назвала дочь модным именем Милана.

Отсидела в декрете положенное и снова вышла на работу. И снова как белка в колесе — Миланкин садик, Андриюшина школа. Конечно, помогала мать.

А потом прогремел гром — на медосмотре у матери нашли рак груди. Поначалу врачи сказали, что не смертельно, нужно просто вырезать опухоль, и всё. Но мать, которая всегда казалась Лесе женщиной разумной и земной, вдруг ударилась в народную медицину и никаких Лесиных доводов слушать не хотела. Она обтиралась мочой, пила святую воду, покупала в аптеке «Травник» килограммами сушеные травы и заваривала их в каких-то хитрых пропорциях, читала сложновыговариваемые заговоры и заставляла Лесю покупать ей в церкви освященные свечи. К врачу мать пошла только когда начались боли. Рак дал первые метастазы в лимфоузел...

Операцию предложили делать по месту прописки, но сам врач на приеме начал их отговаривать. Больница была старенькая, медикаментов не хватало, хирург был один, и отзывы о нем ходили не лучшие... «Получите квоту, вы имеете право делать операцию в любой больнице России», — уверенно сказал им тогда врач и написал на бумажке адрес лучшего в городе онкодиспансера. Но квоту получить оказалось не так-то просто — Леся моталась по городу с материнскими выписками и результатами гистологического исследования — то в департамент здравоохранения, то в сам онкодиспансер, то обратно в больницу по прописке, куда каждый раз ее отфутболивали.

И, наконец, в онкодиспансере ей предложили сделать операцию за деньги, безо всяких квот. «Возьмите кредит, сейчас многие так делают», — сказал ей тогда главврач. Го-

## Ярослава Пулинович

лос его звучал убедительно, и упор на «многих» Лесю как-то успокоил — если все берут, а потом выплачивают, то и она, Леся, справится.

Кредит Лесе дали довольно легко, под семнадцать процентов годовых. Знающие люди на работе сказали, что это ей еще повезло, бывает и двадцать, и двадцать четыре процента, но всё равно люди берут — куда деваться. Взяла триста тысяч.

Матери сделали операцию. Опухоль вырезали и назначили химиотерапию — для профилактики метастазирования. Правда, уже бесплатно — на химиотерапию Леся квоту таки выбила. Мать химиотерапию переносила очень плохо — почти ничего не ела, за жизнь не боролась, лежала словно мумия на кровати и смотрела в одну точку. На заводе ее дотянули на больничном до пенсии, а после помахали рукой.

Так началась Лесина первая в жизни черная полоса... Даже в шестнадцать, когда родился Андрюша и приходилось несладко, жизненная энергия не покидала ее, скорее, наоборот — была ключом. Даже когда из ее жизни ушел Володя, было больно, но силы оставались, да и маленькая Миланка не давала ей окунуться в эту боль — требовала жить и веселить ее. А после материнной операции вдруг что-то тяжелое, черное, липкое запрыгнуло Лесе на спину, обвило ее своими лапшами и начало душить, ни днем ни ночью не давая покоя.

### 4.

Леся получает восемнадцать тысяч. Мамина пенсия — двенадцать. Итого — тридцатка в месяц. Семь с половиной тысяч в месяц уходит на кредит. Еще около четырех — на лекарства матери. Примерно полторы тысячи в месяц — на

проезд. Маме нужно ездить в больницу, Лесе на работу, хорошо садик и школа у детей близко. Две с половиной Леся платит за Миланкин садик. Коммуналка — около четырех. Пятьсот рублей в месяц — интернет, еще пятьсот — мобильная связь на троих, Миланке, слава богу, пока что телефон не нужен. На оставшиеся девять с половиной тысяч семья живет весь месяц.

Леся уже привыкла смотреть в магазине только на продукты с красными ценниками — те, что по акции. Вещи ни себе, ни детям она давно уже не покупает — вечерами сидит на сайтах «Авито» и «Отдам даром». Ездит, извиняется, забирает... Иногда отдают такое старье, что стыдно везти домой, и Леся оставляет его у ближайшей помойки, высчитывая в уме, сколько она потратила на проезд туда-обратно и проклиная себя за свой идиотизм. Но частенько отдают вполне годное, пусть ношеное, но целое и чистое. На прошлой неделе, например, Леся разыскала осеннюю курточку для Миланки, на очереди — ботинки для Андрея. Для него найти хорошую вещь сложнее. Одежда снашивается на мальчишечьих телах моментально и реанимации часто не подлежит, не говоря уж о том, чтобы передать ее куда-то дальше по цепочке... Но Леся в этом деле профессионал. Она найдет.

Леся уже привыкла натягивать улыбку, заходя в чужие квартиры, привыкла хвалить чужих детей и собак, привыкла, получив заветный пакет, уходить быстро, буквально исчезать, но не забывая благодарить при этом, чтобы не произвести впечатление «назойливой нищелюбки».

Леся считает деньги. Считает везде и всегда. Считает, такая тяжелые баулы из подвала в отделение, считает, разглаживая складочки на халатах врачей, считает дома, в автобусе, на улице. Сколько будет двадцать восемь (проезд)

плюс четырнадцать (булочка, не удержалась) плюс еще двадцать восемь (опять проезд) плюс триста девяносто шесть (магазин) плюс двести (отдала в садик на подарок Миланке) плюс сто пятьдесят (положила на телефон себе, маме и Андрею)? Такие несложные вычисления она производит изо дня в день и каждый день корит себя за результат.

Можно было бы обойтись без булочки, или купить другие макароны, или не класть денег на телефон матери — всё равно она никуда не звонит. Еще Леся иногда думает, что можно было бы плюнуть и не платить кредит — многие ведь плюнули. Но она боится коллекторов. Леся слышала, что когда банки продают своих должников коллекторам, жизнь человека превращается в ад. Эти самые коллекторы, а точнее сказать, бандиты, пишут похабные надписи на дверях должников (Леся сама видела на двери у соседа), непрерывно звонят по телефону и в домофон, могут подкараулить у дома. А могут даже украсть ребенка. Что-то такое недавно случилось в соседней области — коллекторы украли ребенка или даже не украли, а избили его, после чего ребенок остался инвалидом... Может быть, не совсем так, потому что Леся слышала эту новость от Ирины, а та — от медсестры, но от одной мысли о том, что с Андреем или Миланкой может что-то случиться, у Леси сжимается сердце.

Лесе жалко своих детей. Они не заслужили такой матери. Андрей учится без троек, Миланка участвует в садике во всех концертах. А она — жалкая неудачница без образования, нищая, загнанная в угол, постоянно раздраженная и уставшая. Когда дети вырастут, что они вспомнят? Ни нормальных семейных вечеров, ни турпоходов, ни даже просто совместных походов в кино в ближайший торговый центр... Даже в «Макдоналдс» она их не сводила, хотя обещает уже второй год.

Леся морщится, пытаясь справиться с наваждением. Раньше такие мысли ей в голову не приходили. Раньше ей казалось, что она сильная. Ну, по крайней мере, живучая. Что она всех вытянет на своей шее — и маму, и Андрея, и Миланку. А если шея переломится, она вцепится в них руками и ногами и будет тянуть, тянуть, пока не дотащит их до суши, до счастливого будущего, которое обязательно ждет ее и ее детей. Каким было это будущее? Леся не знала, она не задавала себе таких вопросов. Но она знала, что оно обязательно наступит. Иногда ей виделся директорский кабинет, в кресле которого важно сидел возмужавший и солидный Андрей. Иногда она видела Миланку, рассекающую по миру с мужем-миллионером и маленькой собачкой и говорящую на пяти языках. Видела себя в столовой санатория (они туда ездили с мамой, когда Лесе было пять лет), обедающую вместе с другими отдыхающими — умиротворенную и преисполненную собственного достоинства. Она съест только суп и салат, а от второго и десерта откажется, потому что дети перед отъездом до отвала забили холодильник в ее номере. А сейчас Леся не видит ничего. Маленькие цифры, путаясь, выпрыгивают из Лесиной головы, сбиваются в стайки и мельтешат перед ее глазами, не давая разглядеть, что там, впереди...

В кастелянскую заходит Валентина — старшая медсестра — и отрывает Лесю от грустных раздумий.

— Вот, — кладет на стол перед Лесей пакет с пирогами и конфетами, — помяни моего Коленьку, сегодня полгода ему. И деткам отнеси, пусть помянут.

У Валентины полгода назад умер муж. Леся помнит этот факт только по той причине, что их заставили скидываться по триста рублей на похороны.



## Ярослава Пулинович

— Спасибо, Валя, помяну, — покорно отвечает Леся и косится на пакет. Конфеты шоколадные — это хорошо, Миланка будет счастлива. — Ну как ты? Отошла маленько?

— Отошла, — Валентина ищет взглядом, куда присесть, но не находит, а потому отвечает коротко: — Что делать, надо жить дальше. Вот Сашке моему пенсию по потере кормильца назначили. Пятнадцать тысяч. Как-то будем жить.

— Сколько? — переспрашивает Леся.

— Пятнадцать.

Леся считает молниеносно. Пятнадцать плюс пятнадцать да еще двенадцать. Сорок две. Кредит она брала без поручителей, а взять с нее нечего — квартира записана на мать.

### 5.

Работа у Леси для такого дела — лучше не придумаешь. В туберкулезном диспансере многих больных лечат изозидом. Леся в точности не знает, что именно содержит это лекарство, но, по слухам, оно очень токсичное. Не раз слышала жалобы больных, мол, лечат от одного, а в результате калечат другое. Всем работникам больницы тоже раз в неделю колют этот самый изозид — в небольших дозах, для профилактики. Санитарка тетя Галя говорит, что это их всех государство «хочет потравить». Но Леся так не считает — кому они нужны, травить их еще. Сами помрут. Как Леся, например...

Леся часто видит, как дежурная медсестра с вечера кладет пачку изозида на пост, на специальную полку для лекарств. Утром она раздаст эти таблетки больным и уйдет домой, а до утра и не хватится.

В конце смены Леся идет на пост. Страшно. Чувствует себя героиней фильма и воровкой одновременно. Вот эта полочка, за стойкой. Нужно только зайти за нее, протянуть руку и взять пачку. Леся оглядывается и быстро заходит за стойку. Дрожащей рукой берет упаковку изозида и прячет ее в сумочку. Выходит, снова оглядывается. В самом конце коридора на скамейке сидит старушка, очередная мать зэка. Почти все старушки в их больнице — матери зэков. Сыновья приходят с зоны и одаривают матерей горячим сыновним туберкулезным поцелуем. Спустя несколько месяцев мать отправляется в больницу, а сын — обратно на зону или в ту же самую больницу, доживать, дохаркивать свой век.

Старушка на Лесю не смотрит, смотрит в окно. Может быть, ждет сына или просит бога о смерти. Леся почти бежит по коридору. Выходит из диспансера, идет по деревянному настилу вдоль стройки... Вот уже и остановка. Сегодня Леся в последний раз потратит двадцать восемь рублей на проезд. Так будет лучше для всех. Абсолютно для всех.

Дома Миланка пристаёт к Андрею, не даёт ему делать уроки. Приход матери вызывает у Миланки щенячий приступ восторга.

— Мама пришла! Мама пришла! — выплясывает она вокруг Леси. — А ты что принесла? А мы в садике делали знаешь что? Поделки! А принесла Мишку Барни? Ксюше сегодня мама принесла! А еще знаешь кто к нам приходила? Елизавета Григорьевна! Она нам пела песенку и играла на пианине!

— Милана, ну дай маме разуться-то хоть! — отгоняет Миланку Леся.

На кухне она отдаёт Миланке гостинцы. Миланка тут же принимается их уплетать.

## Ярослава Пулинович

— Эй, оставь Андрею! И бабушке оставь, — наставляет Леся.

— Оставлю, — с набитым ртом обещает дочь и разворачивает новую конфету.

На кухню приходят Андрей и мать.

— Я тут макароны с фаршем пожарила. Фарш ничего, нормальный. Поешь? — спрашивает мать у Леси.

Леся кивает, а сама смотрит на Андрея. Единственный мужчина в семье. Мужского в нем пока не разглядеть — щуплый, прыщавый, вечно насупленный мальчик. Но еще год-два, и он выправится, возмужает, так ведь всегда бывает с мальчиками. У Андрея, как и у отца, глаза ярко-зеленые, малахитовые. А цвет волос такой же мышиный, как и у Леси, но для мужчин это не так уж важно. Как он останется один? С Миланкой, с матерью, единственный, неоперившийся еще защитник? Как-нибудь справится. На сорок две тысячи без кредита как-нибудь, наверное, выживут...

В десять Леся укладывает Миланку спать. Целует дочь на ночь крепче обычного, но ничего особенного не чувствует. Прикосновение к детской молочной щеке, как и всегда, вызывает у Леси умиление, но не более... Хотя Леся и не знает, что обычно чувствуют самоубийцы, что они вообще должны чувствовать.

Почти в полночь ложатся спать Андрей и мать. Леся хочет зайти к ним в комнату и расцеловать их — каждого в обе щеки, прошептать им какие-то напутственные слова, но не делает этого. Андрей не поймет и оттолкнет своим коронным: «Ма, ну ты чё-о-о?» — а мать заподозрит неладное.

Когда свет гаснет и равномерное убаюкивающее посапывание заполняет обе комнаты, Леся идет на кухню. Зажигает ночник, достает из сумочки таблетки и коробку дешевого

вина. Открывает упаковку изозиды. В упаковке десять блистеров, по десять таблеток каждый. Итого — сто. Леся принимается выковыривать таблетки из блистеров. На шестом ей надоедает. «Надо подготовить документы детей», — проносится в голове у Леси, и какой-то мерзкий голос, вроде бы не Лесин, но звучащий у нее в голове, вдруг командует Лесе: «Пей».

— А документы? — сама себя спрашивает Леся.

— Сначала выпей, а потом пойдешь, — не унимается голос, — иначе передумаешь ведь, дура.

Леся горстями пьет таблетки, запивая их вином прямо из коробки. Ей вдруг становится одновременно и весело, и удивительно — вот она, Леся, самая что ни на есть заурядная девчонка, троечница в школе, кастелянша в тубдиспансере, мать двоих детей, вот она, как в кино, пьет какие-то таблетки, собирается покончить с собой. Лесе не верится, что она умрет. Что она умрет именно сегодня. Что завтра ее уже не будет. Что она больше не поедет на работу и не поведет Миланку в садик. Не заплатит за коммуналку, не приготовит Андрею его любимые «макарошки в томатной пасте»... Странно это всё.

Леся идет в их с Миланкой комнату, находит коробку с документами, приносит ее на кухню. Выуживает из вороха многочисленных банковских платежей свидетельства о рождении Андрея и Миланы. Рассматривает зеленые листы. У обоих в графе отец — прочерк. Фамилия материнская. Леся аккуратно складывает свидетельства на столе — а вдруг потом не найдут? Сверху кладет свой паспорт. Делает еще глоток вина. Выходит покурить на балкон. Во дворе дома темно и скучно. Зато там, вдалеке, на кольцевой, машины всё так же ровной светящейся лентой едут куда-то друг за другом. Куда они едут? Кто их ждет?

Леся возвращается на кухню, открывает свой старенький ноутбук, тоже выуженный задаром на «Авито». Заходит на свою страницу «ВКонтакте». Лесе нравится ее страница — аккуратная, немногословная, как она сама. Друзей — шестнадцать. Выложенных фотографий — пять. На аватаре самая лучшая ее фотография — Леся стоит посреди зимнего поля в сером пуховике и «держит в руке солнышко». Лесе нравится это фото, его сделал Володя когда-то, на закате их романа. Но тогда она еще не знала, что это закат. В тот день они впервые встретились вне стен его квартиры. Был выходной, ему нужно было что-то забрать у знакомого в соседнем городе, вот он и взял Лесю с собой.

По дороге Леся запросилась в туалет, а заправок всё не было. Володя остановил машину посреди поля и по-джентельменски прикрыл Лесю своей курткой, чтобы другие водителю не увидали ее с трассы. А уже после Леся попросила сфотографировать ее «с солнышком в руках». Секрет такой фотографии прост — нужно подставить руку так, чтобы создавалось ощущение, будто человек держит солнце на ладони. У многих на страницах Леся видела такие фотографии, и вот — обзавелась своей. Не хуже, чем у других.

Остальные четыре — фотографии с детьми. Две сделаны в детском саду. На одной из них Леся сидит на стуле и держит наряженную Миланку на коленях. Леся улыбается в объектив, а Миланка смотрит куда-то в сторону. На второй они с Миланкой сфотографированы возле елки. Леся присела на корточки и обнимает Миланку-снежинку за плечи. На Лесе старые джинсы и темно-зеленая заношенная кофта, и поэтому Леся чуть-чуть выбивается из антуража. Но всё равно фотография получилась красивой, праздничной. На двух других Леся с еще маленьким Андреем и Ми-

ланкой в коляске гуляет по парку. Фотографировала мама на Лесин телефон. Фотографии немного размытые, зато Леся на них выглядит совсем девочкой, почти подростком.

Лесю начинает клонить в сон. Она делает еще глоток вина и находит в компьютере еще одну свою фотографию. Лесе семнадцать лет. Тогда у нее еще были подруги и жизнь не предвещала ни болезней, ни кредитов, ни нищеты. Мать отпустила Лесю на один вечер к девчонкам, к тем самым, с которыми она когда-то ходила в общежитие — потрын-деть «за женское». Пили шампанское, смеялись, одна девочка (Леся раньше не знала ее) гадала всем желающим на картах Таро и нагадала Лесе долгую жизнь. Тогда и была сделана эта фотка. Делала хозяйка, на обычную мыльницу, но фото получилось очень четким, прямо идеальным. На ней глаза у Леси густо подведены, модная по тем временам челка лежит чуть-чуть набок, недавно выкрашенные в блонд волосы блестят, и сама Леся на этой фотографии так и светится вся изнутри. Красивая юная девушка, даже не скажешь, что у нее уже есть ребенок. «Вот эту, — думает Леся, — вот эту надо на памятник». Леся загружает ее к себе на аватар. Андрей догадается, что она этим хотела сказать.

Какая-то странная дрожь растекается по Лесиному телу. Правая рука немеет, а ноги начинают непроизвольно подрагивать. Лесю тошнит и одновременно клонит в сон. Леся не понимает, чего ей хочется больше — блевать или спать. Наверное, спать... Проходит десять, пятнадцать минут. Подрагивания усиливаются, во рту появляется странный металлический привкус. Лесю охватывает тревога, но какая-то неведомая ей доселе, имеющая скорее физическое, чем метафизическое происхождение. Она возникает в желудке и, поднимаясь вверх, заставляет Лесино сердце колотиться

## Ярослава Пулинович

неритмично, со странными перебоями. «Ух! Ух!» — отбивает сердце удары и вдруг как будто проваливается в пропасть, а вместе с ним в пропасть проваливается и Леся. На лбу у нее выступает испарина. Лесе становится страшно. «Я что, правда умру?» — спрашивает себя Леся.

— Конечно, умрешь, — отвечает голос в Лесиной голове. — Не бойся, это не больно. Просто немного потерпеть, и всё. Ты же хочешь, чтобы твои дети получали по пятнадцать тысяч на нос?

— Конечно, хочу.

— Ну вот. Кстати, допей таблетки, ты всего шестьдесят выпила. А надо сто...

— Сейчас, — отвечает Леся и вдруг спохватывается: — А прощальная записка?

Леся ищет хоть какой-нибудь клочок бумаги на кухне, но не находит. В итоге достает из пачки сигарет обертку и пишет на ней мелкими буквами: «Дорогие мои детки, хоронить меня не надо. Пусть похоронит государство, а вы поставьте памятник, когда подрастете и станете директорами. И еще, у меня всё будет хорошо и у вас тоже. И еще, пин-код от моей карты — 1410, день рождения Миланы, там есть четыре тысячи, вы, если что...» Рука Леси соскальзывает со стола, ее тело тяжело падает на пол. Лесю колотит в эпилептическом припадке.

## 6.

→ У-у-у! У-у-у! — мычит от боли Леся, когда медсестра в очередной раз поправляет мочеприемник. Пластмассовая трубка грубо царапает уретру, и от боли Леся может только мычать.

## Кредит

— Всё, уже всё, — говорит медсестра.

— Отвяжите меня, — вырывается у Леси жалобный хрип.

— Это еще зачем? — беззлобно отвечает медсестра.

— Тогда пить дайте.

— Вечером пить, сейчас пока лежи так.

Медсестра поправляет простыню, которой укрыта Леся, и уходит куда-то.

Леся лежит в реанимационном отделении областной психиатрической больницы города Екатеринбургa. Вот уже три дня как она вышла из комы. Леся лежит абсолютно голая, обездвиженная, привязанная к койке. К ней никого не пускают. Да она и не хочет никого сейчас видеть. Ноги у Леси перевязаны бинтами — за десять дней комы на пятках образовались пролежни.

Еще через четыре дня Лесю переводят из реанимации в общее отделение. Там ее навещает мать.

— Андрей просил не ругать тебя, поэтому я тебя хвалю. Молодец! Ты всё сделала правильно! — саркастически произносит мать, поправляя на сильно исхудавшей Лесе спадающий с плеч больничный халат.

Сил плакать у Леси нет. Она лишь пытается отвернуться от матери, но мать не дает ей этого сделать.

— Куда? На меня, на меня смотри, я сказала! Что ты с собой сделала? На кого ты их решила кинуть? Ты сама их родила! Я тебя ноги раздвигать не заставляла и рожать их не заставляла! Ты сама решила рожать! А раз уж решила, так будь добра — дорости их хотя бы до восемнадцати, а там уже делай с собой что хочешь! Ты бы видела, как Андрей перепугался, когда тебя там на кухне увидел...

Леся тяжело вздыхает, встает и медленно, по-старушечьи уходит в палату.



Еще через две недели к Лесе приходит незнакомая Лесе медсестра, приносит ей халат, ночную рубашку, резиновые сапоги и ватник. Она ведет Лесю в душ, а затем заставляет переодеться в принесенное. Леся покорно переодевается, и медсестра отводит Лесю в другое здание — в отделение номер два. Там Лесю кладут в «острое», в наблюдательную палату на восемнадцать человек. В палате стеклянная дверь, и в туалет выпускают по расписанию. Сначала Лесе кажется, что она попала в ад. Вокруг нее девушки, женщины и старухи всевозможных мастей стонут, бормочут, выкрикивают что-то невнятное, не обращая внимания на окружающих. От них от всех ужасно пахнет мочой. Леся тоже хочет закричать, но к ней подходит медсестра и говорит, что ей нужно сделать укол. Леся послушно задирает рубаху и подставляет синюю от укулов ягодицу. Через пять минут мир начинает плыть вокруг нее. Леся засыпает.

Следующие полтора месяца Леся спит. Иногда она просыпается, чтобы поесть. Иногда вяло отвечает на вопросы пришедшего на обход врача. Иногда к ней приходит мать, и Леся точно так же вяло отвечает на вопросы матери. Когда мать приносит еду, Леся тут же в коридоре на скамейке жадно ее съедает. Мать часто плачет, но Лесе всё равно. После еды ее начинает клонить в сон, и она ждет, когда мать уйдет, чтобы поскорее вернуться в палату. Леся уже не чувствует запаха мочи. Наверняка от нее от самой теперь пахнет так же, мочут их здесь крайне редко, но Лесе плевать. Какая разница, как от нее пахнет, если от других пахнет не лучше?

Через полтора месяца Лесю переводят в другую часть отделения. «На тихую половину», как говорят здесь. В отделе-

нии есть душ, в котором можно мыться хоть каждый день, есть общая комната с телевизором, нардами и книгами, разрешены телефоны и прогулки по два часа в день.

### 7.

«Скры! Скры!» — кричит большая черная птица, сидящая на ветке. Леся идет по зачарованному лесу. Под ногами у нее хрустит первый снег. Небо впервые за много дней прояснилось и сияет, как после стирки в голубизне. На самом деле это никакой не зачарованный лес, а всего лишь сосновый бор, который окружает психбольницу. Но Лесе всё равно кажется, что она в глухом лесу, что еще секунда, и прямо к ней навстречу выйдет огромный лось или пробежит мимо лисица. Какие там животные есть еще в лесу?

Леся выходит на аллею. Мимо нее проходят двое — медсестра и маленькая девочка лет семи. Медсестра крепко держит девочку за руку, ведет ее в детское отделение, по всей видимости. На девочке темно-синий пуховик и белые колготы. Девочка послушно идет за медсестрой и смотрит перед собой. Маленькое детское сумасшедшее личико. Леся ежится. С ней в остром отделении лежала двадцатилетняя девушка, Надя, хроник. В психушку она попала в пять лет из детского дома и, скорее всего, не выйдет из нее никогда. Никогда не познает мужчину, не родит детей, не сходит в магазин, не купит Мишку Барни дочери, не пойдет в выходные в парк с детьми... А Леся здесь не навсегда. Марк Вадимович говорит, что такое может случиться со всеми, никто от этого не застрахован. Даже следователю, который приходил по Лесину душу выяснять обстоятельства ее суи-

## Ярослава Пулинович

цида, ответил за Лесю: «У нее была депрессия. Это точно такая же болезнь, как и все остальные!» Лесе тогда понравились слова врача. У нее была депрессия. Она была больна. А сейчас Леся почти здорова. Скоро она выпишется и поедет домой. Марк Вадимович говорит, что она — молодец, быстро идет на поправку. А еще говорит, что когда Лесю привезли в реанимацию, она уже не дышала и бог дал ей большой кредит — подарил вторую жизнь.

Неизвестно, что там с работой... Но из тубдиспансера она всё равно уйдет. Устроится продавщицей в «Пятерочку», если возьмут. Там и двадцать пять можно иметь, говорят. Пойдет еще уборщицей в какой-нибудь офис, будет мыть полы по вечерам, делов-то. Будет иметь еще десятку. На выходные сводит детей в «Макдоналдс». А на Новый год они обязательно купят живую елку и будут все вместе наряжать ее. Достанут из шкафа коробку с игрушками. Каждая игрушка завернута в газету, а в самом низу ледяной сверкающей подушкой — серебряный дождь. Леся с детьми будут разворачивать игрушки, аккуратно, по одной, и вешать их на елку, мама приготовит оливье... И кредит они выплатят. Выплатят. Все ведь выплачивают. Разве Леся хуже? А считать она больше не будет...

В глубине аллеи Леся видит Андрея с Миланкой и мать. Дети бегут к Лесе. Миланка с визгом повисает на матери.

— Мама! — кричит она, захлебываясь от восторга. — Мамочка!

Андрей тоже прижимается к Лесе.

— Мамочка, — говорит он, — я слежу за Миланкой. Я каждый день кладу ей трусики в пакет...

# Игорь Сахновский Аленький цветочек

Когда я поняла, что это ты — тот самый человек, которому я тысячу лет назад, в другой жизни, мечтала отдать на разтерзание свою сумочку, у меня ёкнуло и упало сердце, как перед чем-то непоправимым. И ёкало и падало каждый раз, стоило мне только увидеть, что от тебя пришло сообщение, хотя бы два слова на корпоративную почту, или просто замечала какой-то жест в мою сторону. Ты был корректен и сохранял дистанцию. Ну и ради приличия стоит сказать, что доктор Фрейд может не волноваться: дамская сумочка иногда всего лишь сумочка, не более того.

Потом каким-то загадочным образом ты меня разглядел в бесконечной ленте Фейсбука — сама-то я давно тебя нашла, но вела себя как очень влюбленная, старательная тихоня, и ты вдруг одарил молчаливым «лайком» фотографию, которую я выложила: некрасивая девочка с книжкой и короткая подпись, что я и есть эта девочка, но без кос, как у нее.

Мне начало казаться, что ты сразу всё понял про меня, а потом стало немного обидно: вдруг ты думаешь, что я такая угловатая, сутулая и нелюдимая. Ведь на самом деле я живая и горячая. Но сколько нас там таких — живых и горячих? Ты-то был живым для меня с самого начала, и я была живой. Потом я возмечтала: почему бы нам вдруг не стать друг для друга чем-то бóльшим? Тут у меня возникло что-то вроде плана, который состоял из трех пунктов: 1) не надоест; 2) напасть; 3) будь что будет.

Проще всего было с «напасть». Приближался твой день рождения, и мне хотелось написать тебе письмо. Что-то совсем особенное, хоть и нейтральное. Текст был придуман примерно за месяц и проговаривался в самых тайных мыслях. Пусть это будет не бесполое интернет-сообщение, а надушенная любовная записка, как в старинном романе, почему бы и нет. Ну и что с того, что она послана программой, которая шлет всё и всем? Я буду знать, что это совсем личное, и ты сумеешь это понять. Даже если я буду «одна из», а я обязательно ею буду, тут у меня иллюзий не было никаких.

Сложнее было «не надоест». Я сознательно удерживала себя от комментов и от писем, которые желали быть ежедневными. Уж не знаю, как мне это удалось. Рискованней и трудней всего было не писать о себе. Мне казалось, в какой-то момент ты согласишься на меня с любопытством и, возможно, тебе представится, какая тонкая у меня кожа, как пахнут мои волосы на затылке, как горят мои щеки и леденеют кончики пальцев, когда я набираю буквы на экране.

В первых разговорах самое сложное было вовремя попроситься — хотя бы за секунду до того, как начнешь со-

мневаться: вдруг тебе отвечают из простой вежливости. Но я успела заручиться твоим разрешением написать тебе когда-нибудь еще — и посчитала это большой удачей.

С того момента я вообще на всё вокруг смотрела сквозь один вопрос: а будет ли это интересно ему? Я послала тебе файл с любимой песенкой, ты ответил не сразу, но зато прислал мне ответную песенку. Туманно сказал, что не спал всю ночь — провожал человека в аэропорт, и я не решила себе задержаться на мысли, кто был этот человек. Хотя немножко все-таки подумала: «Кого мужчина может провожать в аэропорту? Конечно, женщину». Чуть-чуть поревновала, но строго сказала себе: «Человек имеет право на личную жизнь. А ты не имеешь права в нее лезть. И вообще».

Однажды твое сообщение застало меня в дороге. Я ехала в такси, у меня жутко гудели ноги после целого дня на каблуках, в новых узких туфлях, и мы как раз пошутили о ногах, и ты написал мне что-то сдержанное, но, как мне показалось, интимное, у меня тут же загорелись щеки, вспотело под коленками, и я начала так ёрзать, что мой таксист подозрительно заинтересовался, всё ли у меня в порядке и не забыла ли я, например, кошелек.

Потом наступили морозы, и я всю зиму подумывала, что неплохо бы купить специальные перчатки, чтобы тыкать буквы на телефоне не ледяными пальцами, а как модная передовая молодежь — силиконовыми пимпочками на теплом трикотаже. Но зима как началась, так и закончилась, а мы остались и продолжились.

Иногда я ходила в гости. Перед уходом мне нравилось постоять под горячим душем, погулять по квартире, замотавшись в полотенце, выпить кофе, растереть на коже крем.

## Игорь Сахновский

Казалось, что ты видишь меня в эти моменты и что еще чуть-чуть — и я точно опоздаю, потому что ты притянешь меня к себе по очень важному, неотложному делу, и мне потом придется заново укладывать волосы и красить губы.

В гостях меня называли человеком, потерянным для общества, грозились отнять телефон, ехидно спрашивали, не влюбилась ли я в кого-то в интернете, а то, знаешь ли, бывают случаи, такая беда. А один системщик, умудренный электронным опытом, зачем-то сказал мне, что в Сети ничего не пропадает, ни одно слово нельзя сохранить в полной тайне, и что-то еще про «кэш Гугла», но это я уже не поняла.

Удивительно, что я сумела не надоесть и у нас стало то, что стало. А стало так, что в моем «самсунге» с сенсорным экраном начала жить вся моя жизнь. Влюбленность в буквы была совершенно животной, вызывающей такие реакции в организме, что иногда приходилось срочно бежать менять белье или, сидя в кафе с подружкой, внезапно умолкать, потому что голос пропадал или делался по-звериному хриплым. Когда я раньше слышала о виртуальном сексе, мне было понятно, что это вообще занятие не для нормальных людей. Теперь оставалось думать, что либо я ненормальная, либо у меня что-то другое. Мне нравились оба эти предположения: я точно ненормальная — нормальные не кусают губы до крови, читая сообщения, и у меня точно не секс. У меня любовь. Пришлось это признать. А позже оказалось, что у тебя тоже любовь и ты еще более ненормальный, чем я.

Что было совершенно очевидно — ты находился фактически рядом. Мы жили вместе. Знали, кто что и когда ест, пьет, когда спит, когда ходит курить или в душ. Сложились

ритуалы и привычки, нам хорошо было и нежничать, и молчать вместе.

Иногда ты уезжал по своим делам, и каждый раз это была разлука, даже если, уехав из дома, ты попадал в мой часовой пояс, то есть оказывался географически ближе, чем обычно. И вот однажды ты сказал, что скоро полетишь в Лондон, а я стала думать всякие мысли: как я буду одна? Ему там будет интересно и весело без меня? Как это вообще такое может быть? Ну хорошо, пусть ему там будет интересно и весело, я же люблю его, и надо иметь совесть. Но совести не было. А была такая лютая тоска, что, наверное, от нее поднялась температура, вылез прыщик, и еще один, и еще сто, и оказалось, что от любви и грусти случается ветрянка. Детская болезнь взрослого человека. Болело всё, но самой болезненной была мысль: вот теперь он меня с этими папулами и пустулами даже видеть не захочет. И слава богу, что он их не видит! Ах, он их не видит?.. Но ведь зачем-то на голубом глазу просит прислать свежую фотографию пациентки. Тогда пусть увидит и напугается. Вот тебе — смотри. Как там сообщается в вашей любимой песне? У ней следы проказы на руках, у ней татуированные знаки!.. Но, как нам стало известно, уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Потому что извращенцев и маньяков проказа не пугает, они всё равно любят и хотят. И это было очень волнующе — иметь своего личного извращенца и маньяка.

Что было совсем непостижимо для меня: ты серьезно спрашивал, что мне привезти из Лондона. «Куда привезти?» — думала я. В личку? В наш с тобой мессенджер? Я решила, что это такая игра в реальную реальность. «Ну, привези мне цветочек аленький, чтобы краше его не было на



всём белом свете», — написала я, находясь в трезвом уме, чтобы ты понял, что не за подарки я тебя люблю, купец мой батюшка. Но ты спокойно согласился. «Хорошо, привезу. А что еще?» Я совсем наугад назвала что-то из белья. Но у вас, у маньяков, наверно, принято выпытывать подробности: размер, цвет. Чтобы задача выглядела наименее правдоподобной, я ответила: «А в тон цветочку! Аленькому». Откуда мне было знать, что маньяки такие ответственные. Мне в голову не могло прийти, что ты будешь приставать к продавщицам из сонных отделов с дорогими тряпочками, заставляя рыться на складских полках и снимать недостающее с манекенов. Ты выслал мне почти шпионский фотоотчет со скептическими вопросами. Но выбрал ты всё равно сам. «А что еще?» Тут я вошла во вкус, точнее, в роль. Хочу еще маечку. Еще магнитик с красной телефонной будкой. Еще укради для меня в отеле фирменную авторучку!

Я была уверена, что всё это невозможное богатство ляжет у тебя дома где-нибудь в шкафу, а мы будем знать, что это мое. Однажды я уже таким образом подарила тебе оберег в виде хрустального дельфина: мы договорились, что ты мне разрешаешь его «пока поносить», и я даже успела его потерять. В общем, я думала, это такая игра, чтобы немного потрогать если не друг друга, то вещи друг друга. А теперь у тебя в руках вообще окажется мое белье, мама дорогая!

Но ты был настроен решительно. У тебя всего один лишний час в аэропорту между рейсами, чтобы воспользоваться почтой. Нужны адреса, пароли, явки! Серьезность твоих намерений так меня поразила, что я тут же всё сдала. Меня счастливила страшная сладкая мысль: теперь мой маньяк точно знает, где я живу с любимым сыном и нелюбимым мужем, и может меня подстеречь. Или, допустим,

ты приезжаешь, звонишь в дверь, а я открываю и стою перед тобой такая — в болячках от ветрянки и в домашних тапочках. С этой мыслью я останавливалась прямо на улице и глупо улыбалась, пока кто-нибудь из прохожих не толкал меня в общем потоке. Теперь я точно была в твоей власти. И на кончиках пальцев: ими ты набирал сообщение, ими ты трогал и держал меня так крепко, что я растворялась, но не таяла, а проникала в тебя. У нас произошла диффузия. Мы с тобой удивились, что помним это слово из школьной физики. По-моему, отличное слово — и точно про нас.

А потом пришла твоя посылка. Оказалось, у тебя есть почерк, и он отличается от тех буковок, которые сыпались из мессенджера. Я нарядилась в обновки, сфотографировалась в зеркале — и показала тебе себя. Ты написал: «С ума сойти». И добавил несколько нежных слов. Красная телефонная будка примагнитилась к холодильнику, а ручку я спрятала подальше — мало ли что. Вдруг в отеле хватятся, и будет международный скандал.

И только через два или три дня я разобрала ворох пакетов, оставшихся от посылки. Выкинуть я их не могла, для меня это было похоже на святотатство. Да, ничего смешного. И тут под ворохом целлофана нащупала маленький прямоугольник. Почему я не увидела сразу? Настоящий алый цветок с пятью лепестками, запаянный в брикет из белого стекла. Именно такой, как я себе представляла: можно любоваться, невозможно дотронуться.

А спустя четверо суток ты пропал. Отовсюду, со всех радаров. Я спрашивала и спрашивала: «Ты где? Что произошло??» Мои сообщения висели непрочитанные. Ты молчал.

## Игорь Сахновский

Я вспомнила один наш разговор о возрасте и смерти. Когда ты сказал: «Чем старше, тем любопытнее становится жить. И еще ведь умереть предстоит — тоже интересно».

Мы никогда не звонили друг другу, так у нас было заведено. А тут я набрала твой номер и безнадежно зависла на длинных гудках.

В общей сложности я позвонила тебе одиннадцать раз. На двенадцатый раз трубку взяла незнакомая женщина и молодым прохладным голосом известила: «Мы похоронили его вчера. Сердечная недостаточность».

Когда я назавтра проснулась в слезах и пожелала тебе доброго утра, а ты снова не ответил, я подумала, что можно выплакать хоть целую соленую реку и она без остатка растворится в этом океане интернета. Но я всё же хотела бы знать, в каком запаснике, в каком проклятом и драгоценном кэше Гугла уцелел, сохранился наш с тобой рай, который точно был — вот где-то здесь, в двух шагах от реальности, до которой мы не успели дожить.

# Екатерина Златорунская

## Голубое или розовое

Она была младшей сестрой моей мамы, но я никогда не называла ее тетей, только по имени, и не Аля, а Алька.

Мама дежурила по ночам на «скорой», папа — в котельной. Алька ночевала со мной и моей сестрой. Утром сестра уходила в школу, и мы оставались вдвоем. Каждый раз мы рассматривали альбом с фотографиями, оливково-бежевого цвета, бархатный на ощупь, с плотными картонными листами, перемежавшимися припудренной калькой. Она приносила его тайно и никому, кроме меня, не показывала, но и мне разрешала смотреть только вместе с ней.

Все фотографии были подписаны ее аккуратным почерком. Место и дата.

На фотографиях — молодые дед и бабушка по отдельности и вместе. Таких у нас дома не было. Дед кудрявый, а бабушка в черной шляпке, и шляпкой Алька гордилась особенно. Потом они же и три девочки на крыльце деревенского дома — двенадцатилетняя девочка (моя мама), семилетняя

## Екатерина Златорунская

тетя и двухгодовалая Аля — маленькая, кудрявая, акварелью проступавшая сквозь серую бесцветность фотографии. Бабушка уже постаревшая, в привычном белом платке, концы платка заведены назад и связаны узлом на затылке. Дед закрыл рукой лицо от солнца. Алька смахивала на их лица стрекозиное крыло бумаги и переворачивала страницу. На прозрачную кальку она сводила картинки с открыток и раскрашивала их цветными карандашами — длинные стебли гиацинтов, воздушные шары, румяных малышей, окруживших Деда Мороза. Чтобы не смазать рисунки, она держала локоть высоко над бумагой или клала между кистью руки и рисунком салфетку.

Я рисовала в своем блокноте, но мне хотелось на этих туманных листах, вуалю накрывающих лица бабушки и дедушки. Она не разрешала. Пока была у нас, прятала альбом, как сокровище, от всех в шкаф, далеко, в темноту, в безопасность. Я доставала и смотрела. Со временем прозрачные листы от множества просмотров затрепались и порвались.

Она покупала две одинаковые раскраски, одну — мне, другую — себе. Я закрашивала черно-белые фигуры как попало, она — аккуратно, кисточкой, не выходя за края. Мы лежали на полу. На газете — коробочки с красками и стакан с водой. Совсем не разговаривали. Сколько мне было? Три? Четыре? Если бы вспомнить.

Провожала и встречала со школы, весь первый класс. Помню, как сидела в белой кроличьей шапке на скамейке рядом со входной дверью и ждала меня. Свет в холле был рудный, маслянистый, зимний.

Я бежала к ней, переобувалась, что-то рассказывая на ходу, и продолжала рассказывать всё время, пока мы шли

домой по обледенелым ветреным улицам, я поскользывалась, она тут же подхватывала — да держись, не разбейся. Приходили домой, ели жареную картошку на кухне, я делала уроки. Ей очень нравились каллиграфические буквы в прописях. У нее самой был красивый почерк. Я просила — напиши за меня, и она с удовольствием писала.

Она работала на кондитерской фабрике, мой дядя шутил — сладкая женщина, но она и правда была сладкая: кудрявые волосы, голубые глаза, мягкие нежные губы, верхняя полнее нижней. Единственное, что немного портило красоту ее лица, — это зубы, передние чуть выступали. Она стеснялась и на фотографиях улыбалась, не разжимая губ. Она была мягкая, пепельная, ее можно было очень любить, но она всю жизнь прожила одна. Полуженщина, полуребенок. Чем-то болела в детстве, и болезнь дала осложнение на слух. До сих пор помню ее беспомощное, даже просительное выражение лица, когда она что-то не слышала. Бабушка любила ее больше остальных детей, и она ее больше всех.

На юге хозяин квартиры, которую мы снимали, каждый раз вздыхал, когда видел ее, — ах, какая горячая, копченая. Ей не было и тридцати.

Она любила загорать. Приезжала в деревню, к бабушке, и лежала в саду. Одеяло, подушка, солнце. «Не мешайте, не загораживайте солнце», — говорила она мне и двоюродной сестре Наташе. Но мы загораживали, обступали ее со всех сторон, лежать на солнце долго мы не могли. Она прогоняла нас к мелкой речке, на дне которой круглые камни блестели, как рыбки. Мы ходили по дну и искали среди каменного одноцветья — редкий цветной, драгоценный, волшеб-

## Екатерина Златорунская

ный. Речка лежала в тени ивы, на наши плечи, руки слетались комары, и мы, не отыскав магического камня, возвращались обратно. Алька по-прежнему лежала, читала что-то, вокруг нее — дремотная тишина.

— У вас ноги грязные, не наступайте на одеяло, — сердилась она, но мы не обижались, садились на траву и рассматривали укусы, вспухшие розовыми поцелуями на руках.

Так она лежала, засыпала, мы разговаривали с сестрой шепотом, ходили по саду на цыпочках и в конце концов убегали в дом.

Она приезжала в субботу, на первом автобусе. Бабушка говорила — я вам скажу, когда встречать. Но мы не ждали бабушкиного предупреждения и стояли на своем посту, у подножия горы, с самого утра. Ждать было скучно, поэтому мы устанавливали дежурство. По очереди бегали в сад есть вишню, по очереди катались на качелях. Мы загадывали — розовое или голубое. Два ее любимых платья. И радовались, когда угадывали. Голубое. Розовое. Наконец, она спускалась с огромными сумками в руках, мы выбегали навстречу с криками — Алька, Алька приехала!

Бабушка ждала ее в доме. Встречала сдержанно, без объятий и поцелуев.

Но внешняя холодность их отношений была скорее рамкой для безграничной внутренней любви.

После первых радостных минут она переодевалась в старое платье, шла за водой к колодцу, мыла полы. Мы тихо сидели в комнате с предварительно вымытыми ногами и смотрели на ее руки и тряпку из старого махрового халата, стиравшую с половиц сухую темную тень, и они становились светлыми, сливочными.

В деревне она становилась грозной хозяйкой, стерегла бабушкино спокойствие. Не ходите грязными ногами по дому, не хлопайте дверью, разговаривайте шепотом, не бегайте, не крошите на пол печенье, не рыскайте в шкафах.

Но мы всё равно вились за ней следом повсюду. Она на кухню — и мы на кухню, она в сад — и мы в сад. Так проходил день.

А вечером сидели на крыльце, темнело, мы грызли семечки, разговаривали. Вот о чем? Вспомнить бы.

И вечер сине-лиловый, темный, и деревья, и ветер, и прохладное, скользкое от краски крыльцо, и как она расплетала мне волосы, проводила пальцами между прядями, словно просеивала зерно, и как это было приятно. И как было тихо, спокойно. Всё утреннее, дневное, шумное, гневливое засыпало, умиротворялось, мы не помнили прежних ссор, обид.

Совсем в ночь приезжал дедушка с рыбалки, снимал резиновые сапоги, раскладывал в гараже удочки, снасти. Машина стояла на улице с зажженными любопытными фарами, похожая на странное животное с желтыми глазами. Наконец, он загонял ее в гараж. Животное засыпало. Мы ложились спать, а они там с дедушкой еще долго говорили, ходили, чистили рыбу, вешали ее на крючки, а через несколько дней ели вяленую с черным хлебом. Хлеб поливали подсолнечным маслом, сверху посыпали крупной, как град, солью.

А дома, у себя, — она разрешала всё. Каждую субботу мы с сестрой Таней приезжали к ней ночевать. Так хорошо помню ее однокомнатную маленькую квартиру. Крошечная прихожая, кухня, комната, телевизор у окна, диван у стены.



## Екатерина Златорунская

На кухне шкаф, в нем жестяные зеленые баночки, на них белой краской написано — сахар, перец, соль. Чашки листового цвета, с белой полосой посередине, словно перевязанные лентой по беременной талии. Шкаф, обклеенный обоями под дерево, висел над плитой, как скворечник. Белый стол под клеенкой, кресло, в нем любила сидеть моя сестра, круглая решетка радио в стене. Оно включалось само по себе, оглашало время и новости и на полуфразе отключалось по-стариковски в долгий сон. Все наши выходные были одинаковыми. Она готовила всегда одно и то же, то, что мы любили. Мама делала такое же, но не такое. У Альки всё было маленькое, аккуратное, красивое.

Она пекла шоколадный пирог или шарлотку с яблоками. Отдельно взбивала крем. Хочешь — с кремом, хочешь — без.

Зимой стелила на полу большое стеганое одеяло. Мы ложились на одеяло, опираясь локтями на подушки, выключали свет и смотрели телевизор. Совсем к ночи грели чай и пили его с пирогом. Как она хотела, чтобы нам было тепло! Приносила еще одеяла, укрывала, подтыкая так, чтобы не оставалось щелей для сквозняков. Мы спали на диване, она на кресле. Его можно было раздвинуть в длину, но оно всё равно было короткое, неудобное. Утром снова разговоры, чай, пирог, радио.

Обратно она провожала нас до остановки. Еще холодный март. Снег только начинает таять. Мы долго ждем автобуса. Сестра шутит, она всегда так умеет шутить, что всем смешно, а потом мы садимся в автобус, и я через заднее стекло смотрю, как Алька, помахав нам рукой, уходит в своем сером пальто.

Про любовь они говорили только с Таней. Алька любила ее очень и восхищалась, и смеялись они тоже над чем-то своим, а я была маленькая, и даже когда выросла, всё равно осталась для нее маленькой.

Читала она только любовные романы. У нее была коллекция книг Даниэлы Стилл. Однажды кто-то позвонил по телефону, мужской голос попросил неизвестного Владимира, всего лишь ошибся номером, но она ходила весь день улыбаясь. Рассказывала сестре, с которой делилась всем, вот помнишь, такой-то, два раза приходил в общежитие, давно было, лет семь назад, это он звонил. Сестра, конечно, не помнила. Алька сердилась — ну как же, кран протекал, помог починить кран, во второй раз принес какую-то краску. Невысокий. На Николая Рыбникова похож.

У них мог быть роман. Но не случился.

Но как долго потом, наверное, она ждала его звонка.

Она любила наряжаться. Всё время покупала новые вещи. Говорила нам с сестрой небрежно — вот, купила, на рынке сказали, что мне идет, — и осторожно вынимала из шкафа, словно только что напечатанную фотографию из проявителя, очередное платье, и так же медленно, как снимок на фотобумаге, проступала на ее лице радость. Мы всё хвалили.

До сих пор помню зеленую блузку с желто-черными разводами, желтую юбку с черными цветами по подолу, платье, еще одно платье, пиджак с блестящими пуговицами. Потом, после ее смерти, всё это так и осталось висеть в шкафу — многоцветной безумной болью.

Я долго помнила наизусть номер ее телефона, шесть цифр. Иногда набирала и слушала гудки, зная, что никто не отве-

## Екатерина Златорунская

тит, но мне казалось — так идет какая-то связь, я звоню ей туда, где она сейчас, и она слышит, но не может подойти.

Через месяц мы отключили телефон. Через полгода в ее квартиру переехала моя сестра.

Ее зимнее пальто я запомнила серым, но оно не было серым. Это потом оно снилось таким. А тогда? Была серая шуба, козликсовая, какое-то коричневое пальто с воротником, плащ.

В конце зимы, когда ее выписывали из больницы, она позвонила мне и попросила привезти пальто. Я собиралась больше часа. Пальто привезла моя тетя. Так оно и осталось — незажившим воспоминанием.

В последний месяц ее жизни мы не разговаривали. Она избегала нас, злилась, когда мы звонили, допускала в квартиру только маму с тетей. За две недели до ее смерти приехали к ней в гости, мама сказала — надо успеть попрощаться. Она лежала на кровати, голова ее была обвязана платком, в шкафу, на полке с любовными романами, лежал черный парик. Она уже его не надевала. Всё было чисто, стерильно, страшно, темно. Мы смотрели в тишине телевизора.

В автобусе меня колотило, колотило и ночью. Хотелось ей позвонить, но я не позвонила.

За неделю до своей смерти она пришла в мой сон — здоровая, кудрявая, счастливая, в темно-сером пальто с меховым воротником. Я сидела на лекции в университетской аудитории, и преподаватель, интимно склонившись надо мной,

## Голубое или розовое

сказал — пришла твоя тетя, хочет тебя увидеть. Она стояла у окна, улыбалась.

— Ты выздоровела? — спросила я ее.

— Я пришла попрощаться.

Она говорила громко, радостно. Я гладила ее по колкой шерстяной ткани, по волосам, лицу, целовала рукава ее пальто и говорила, говорила, как люблю ее, просила прощения за непривезенное пальто, за последний приезд, за то, что не поздравила ее с днем рождения, потому что не знала, что сказать. Она тоже обнимала и гладила меня, и я понимала — она любит меня, и как неважно всё, за что я прошу прощения.

Я целовала, плакала, не отпускала, мама будила меня, а я всё плакала, плакала.

Умерла она через неделю, одна. Помылась, положила на кровать деньги, иконку, листок с переписанной молитвой. Она не успела одеться, не успела лечь на кровать.

Во сне я часто стою у спуска горы. Вижу одно и то же — дорогу, крыльцо дома, надо всем — небо. Иногда идет снег, иногда день — бесснежный. Я жду — голубое или розовое. Но Алька, счастливая, румяная, спускается в сером пальто и меховой шапке. И я не знаю, почему так.

# Алексей Слаповский

## Новая жизнь

### 1.

Владимир Песцов, инспектор Государственного архитектурного надзора, приехал в небольшой приволжский город.

Его повели осматривать только что построенный дом.

Он знал, что дом будет сдан и принят независимо от его мнения, поэтому смотрел и слушал без интереса.

Спросил мимоходом:

— А сколько тут квартиры будут стоять?

Ему сказали. Недорого — если сравнивать с Москвой.

— У половины квартир вид на Волгу, — добавил Михайличев, управляющий строительной компанией. — Некоторые даже москвичи покупают в качестве как бы дачи и в смысле свежего воздуха.

— А когда заселять будете?

— Да через неделю практически, вы же видите: и газ уже подключен, и вода идет. Чего не жить?

Песцов вернулся домой.

— Как съездил? — спросила жена, утирая слезы от лука.

— Нормально.

На другой день он позвонил Михайличеву и сказал, что хочет купить квартиру.

Тот одобрил и сказал, что подыщет наилучший вариант.

— С семьей будете проживать?

— Нет. Мне нужна обычная однокомнатная. Или двух, если ненамного дороже. Кстати, просто интересно, если бы я к вам переехал, работу нашел бы?

— С вашей квалификацией?! Да я первый вас возьму!

Все эти дни Песцов жил необычайно тихо и спокойно, оберегая свою тайну. Был добродушен с женой Таней, ласков с малышкой дочерью, терпим с тещей, проживавшей с ними.

Навестил и первую семью, где двум сыновьям-близнецам, подросткам, подарил новые планшеты, каждому свой, чтобы не ссорились, а первой жене — ее тоже, между прочим, звали Таней — преподнес энную сумму не в зачет алиментов.

— С чего это вдруг? — спросила она.

— С премии.

После этого Песцов частью перевел на карточки, частью снял наличными те деньги, что он копил и сберегал не один год на всякий случай, оформил увольнение, огорчившее начальство, организовал для коллег прощальный фуршет. Они удивлялись, задавали вопросы. Он улыбался и говорил:

— По семейным обстоятельствам.

Потом сказал жене, что его посылают в длительную командировку: надзирать за важным объектом.

— Надо так надо, — пожалала она плечами.

То же самое по телефону он сообщил и Тане-первой. Деньги сыновьям обещал присылать, как и раньше, регулярно.

И вот Песцов среди голых стен, с потертым, выдавшим виды чемоданом на колесиках.

Сопровождавший его Михайличев удивился:

— Это все ваши вещи?

— Да. Хочу с чистого листа. Ничего старого, всё новое.

— Хорошая мысль! — позавидовал Михайличев. — Я вот тоже возьму да и уйду наконец.

— Проблемы?

— Жена! Ни ума, ни секса! — с обидой сказал Михайличев. — Чего ради, спрашивается? А где спать-то будете, тут вообще ничего же нет!

— Поживу в гостинице, пока делают ремонт.

— Могу порекомендовать хорошую бригаду. Все наши, местные, никаких нелегалов.

— Спасибо.

Песцов жил в гостинице и каждый день с утра спешил к своей квартире. Ездил на машине, только что здесь купленной. Очень недорого, зато абсолютно новой.

Он сам с расторопным бригадиром Борисычем выбирал отделочные материалы и обсуждал, как и что сделать, чтобы недорого и качественно. Покупал сантехнику, мебель для кухни и двух комнат. Всё достаточно простое и стильное. Никаких излишеств. На окнах деревянные жалюзи теплого орехового оттенка. Комната поменьше — спальня, побольше — гостиная и одновременно кабинет с письменным столом у окна.

Через месяц квартира была готова.

Песцов собрал в чемодан свои вещи, по пути заехал на свалку и выкинул чемодан подальше в мусорные кучи. Отправился в супермаркет и купил необходимые мелочи: зубную щетку, бритву, другие туалетные принадлежности. Там же приобрел белье, джинсы для повседневности, пару хороших брюк, кроссовки, туфли, домашние тапочки, несколько рубашек и футболок. Приехав в квартиру, принял душ, оделся во всё новое, а то, в чем был до этого, завернул в кусок обоев и вынес в мусоропровод.

Он казался себе новорожденным или персонажем фантастического фильма, который исчез из одной жизни, чтобы появиться в другой — голым, как Адам. Ничего из предыдущего существования, кроме документов.

Михайличев поставил его руководить небольшим подразделением, которое проектировало и утверждало квартирные перепланировки.

— И творческое удовольствие будете получать, — сказал он, — и моральное удовлетворение.

Под моральным удовлетворением, как позже понял Песцов, Михайличев подразумевал небольшие бонусы от клиентов и руководства, разумно делившегося прибылью — понемногу, но регулярно.

Михайличев вообще заужал Песцова — не за бывшую его должность, а за смелость: не каждый способен так вот резко изменить судьбу. Он оказался единственным гостем на новоселье Песцова. Тот купил бутылку шампанского, фруктов, приготовил себе ужин, собирался отметить, а тут и Михайличев. Не прогонять же его. Михайличев поздравил Песцова, выпил, пожаловался на жену и взрослых, не очень толковых детей, сына и дочь, на брата-пьяницу, вымогающего деньги, на здоровье, на невнятную отечествен-



ную экономическую политику, правда, при этом похвалил политику внешнюю, которую, как патриот, поддерживал, потом похвастался, что у него есть замечательная женщина для души и удовольствия, и посоветовал Песцову тоже завести кого-нибудь.

— Я бы в твоём статусе их вообще каждую неделю менял, — сказал Михайличев без хамства и панибратства — они были уже на «ты», — а если какая начнет что-нибудь, как они это обычно делают, тут же пинком под зад, извини за реализм, и пусть ищет другого дурака. Мне жены хватает мотать мне нервы и затирать мозги! — сердито выговаривал он воображаемой подруге Песцова, но как бы от своего имени.

Песцов не собирался никого заводить.

Он спокойно работал и спокойно жил, возвращаясь каждый вечер в любимую свою квартиру, где были такая чистота, порядок и уют, каких никогда не водилось ни в первой, ни во второй семье.

После ужина выходил на лоджию, садился в кресло за плетённый столик, пил чай, смотрел на Волгу и почитывал Чехова, двенадцатитомное собрание сочинений которого купил в букинистическом магазине. Что интересно — выпущено это собрание больше чем полвека назад, но абсолютно нетронутое, нечитаное, некоторые страницы приходилось аккуратно отклеивать по краям. Кроме Чехова в книжном шкафу Песцов ровными рядами поставил собрания Гоголя, Толстого, Достоевского, Тургенева и прочую классику, современностью пренебрегая. Песцов читал этих великих писателей в школе, во взрослой жизни предпочитал фантастику или детективы, а последние лет десять вообще не брал книг в руки, только смотрел кино, скачивая

его в интернете. Любил ужасы, триллеры и приключения. Теперь решил наверстать. Сначала показалось скучновато, тяжеловесно, но Песцов вспомнил, что ранние рассказы Чехова смешные, взялся читать их с первого тома — и втянулся и часто, возвращаясь домой, с уважительным удивлением чувствовал, как ему не терпится, отужинав, взяться за очередной чеховский том. Рассказы становились всё серьезнее, и это ему нравилось; Песцов понял, что увлечение легким чтивом и легкими фильмами его обеднило, обузило, а тут вникаешь в текст и чувствуешь, как шевелит просыпающимися мускулами твой потребовавший работы мозг, как приятно ему чувствовать свою силу, гибкость и восприимчивость.

Песцов даже внешность изменил: отрастил небольшие усы и аккуратную бородку.

— Ты прямо культурный интеллигент какой-то стал, — одобрил Михайличев. — Я тоже пробовал усы отпустить — не растут, заразы. Три волосинки вылезут, как у чукчи какого-нибудь, и всё!

Песцов регулярно звонил своим двум семьям, а через три месяца явился сам.

— Предлагают остаться насовсем, — сказал он Тане. — Меньше денег, но намного спокойней.

— Ты серьезно? Я не поеду, — ответила жена. — У меня работа тут, детский сад под боком. Да и вообще, Москва это Москва.

— Тогда я пока один.

— Что значит — один? Где ты будешь жить?

— Мне дали квартиру от фирмы, — слукавил Песцов.

— Постой. Что случилось, Володя? — Таня наконец забеспокоилась. — Ты, может, там нашел кого-нибудь?

— Никого, клянусь памятью мамы, — очень серьезно сказал Песцов.

Жена его не поняла. Стала уговаривать вернуться домой. Говорила без слез, но довольно нервно. Песцов спокойно и твердо отказывался.

А бывшая жена Таня его решение приняла взволнованно: ей показалось, что уход Песцова из второй семьи означает будущее возвращение в прежнюю.

— Я тебя предупреждала! — сказала она с невольным злорадством.

Песцов не помнил, чтобы она его предупреждала. То есть он как раз точно помнил, что ни о чем таком она не предупреждала, напротив, напутствовала: «Счастливого плавания, я свое отбыла, пусть теперь другая помучается!» Раньше он попенял бы ей на склонность переиначивать прошлое. Он раздражился бы. Возникла бы ссора. Он ушел бы, хлопнув дверью, с криком: «Господи, как я счастлив, что вовремя от тебя ушел!» Сейчас — ничего подобного. Выслушал с мягкой, соболезнующей улыбкой, сказал:

— Ну, пока. Буду навещать, когда получится, не так уж и далеко.

И поехал.

Он ехал в поезде и улыбался, чувствуя приятное нетерпение; так возвращаются на родину. Бережно, как шкатулку с драгоценностями, открыл дверь квартиры. Вошел осторожно, словно боялся спугнуть тишину. Нетерпеливо разделся, умылся, попил на ночь чаю и улегся в белую, чистую, мягкую постель — будто к любимой женщине, обнял подушку — будто голову этой женщины, и даже чуть не всхлипнул, растрогавшись.

## Алексей Слаповский

Работал он умело, быстро, сохраняя равновесие духа в конфликтных ситуациях. Михайличев говорил ему:

— Я прямо завидую на тебя смотреть, ты весь какой-то счастливый живешь!

Однажды пришел вечером со своей замечательной женщиной. Наверное, чтобы показать, что и он бывает счастлив. Женщина громко говорила и смеялась. Михайличев обнимал ее за плечи, гордясь ею и собой. Она курила, Песцов настоятельно попросил ее удалиться для курения на балкон.

— У нее подруга есть одинокая, — сообщил Михайличев. — Не такая эффектная, как моя, но с высшим образованием. Познакомить?

— Спасибо, нет.

— А как же ты обходишься?

— Я в поиске, — отговорился Песцов.

На самом деле он никого не искал. Он впервые жил один и купался в своем одиночестве, в свободе жить как хочется, при этом хотелось ему только нормального и аккуратного: с чистой совестью поработать, а потом с чистой совестью почитать полюбившегося Чехова, изредка посмотреть телевизор. При этом чем интереснее для него становился Чехов, тем умнее казался сам себе Песцов, тем глупее был телевизор. Настал даже момент, когда Песцов осознал, что пятьдесят минут, проведенные перед экраном, словно отравляют его чем-то, он всё яснее чувствовал в просмотрении телевизора что-то унижающее. И вовсе перестал его смотреть. Может, и продал бы, но очень уж удачно вписалось в интерьер черное прямоугольное пятно, элегантно контрастом подчеркивая пастельный колорит светло-зеленых стен и переключаясь с ковриком такого же размера, лежащим перед креслом.

Приятно было представить в этом кресле гостя — интеллигентного и неторопливо разумного человека, ведущего непустую беседу. Однако дружб и приятельских связей Песцов пока не завел. Михайличев не в счет.

Как-то вечером пришла соседка, женщина лет тридцати пяти.

— Здравствуйте, извините, я с вами рядом живу, — сказала она, без разрешения переступив порог и войдя в прихожую. — У вас дрели нету?

— Есть, — сказал Песцов.

У него была не только дрель, в шкафчике на лоджии в идеальном порядке лежали все необходимые для хозяйственных дел инструменты.

— Ой, хорошо! — обрадовалась женщина. — А не можете мне пару дырок просверлить?

— Нет.

— Заняты? Не обязательно сейчас, я в принципе.

— Я просто не хочу, — сказал Песцов, получая удовольствие от обретенного умения говорить правду, которого ему так не хватало раньше.

— Почему? — растерялась женщина.

— Что почему?

— Почему не хотите? Не умеете?

— Умею. Но не хочу.

— Какой-то вы странный. — Женщина заглянула в квартиру, словно ища причину этой странности. Жену, например. Но никого не увидела.

— Вызовите мастера, он вам всё сделает, — посоветовал Песцов.

— Эти мастера еще те! Кучу денег слупят, а сами накосячат чего-нибудь!

## Алексей Славовский

— Не исключено, — согласился Песцов.

Женщину его согласие обнадежило.

— Так как? — спросила она.

— Что?

— Поможете?

— Я же сказал: нет.

— Ладно, извините.

— Ничего. Дрель дать?

— Обойдусь!

Через пару дней он встретил ее в лифте. Она даже не поздоровалась. Ехали до своего этажа молча, глядя перед собой.

Позвонила Таня. Которая вторая.

— Я все-таки не пойму, это у нас развод или как?

— Как тебе удобней.

— То есть ты ушел? В смысле — уехал? Насовсем, что ли?

— Скорее всего.

— Нет, а причины-то в чем? Кто так делает? Что вообще случилось, ты можешь сказать?

— Ничего.

— Володя, знаешь, если насчет претензий ко мне, то у меня к тебе их тоже много накопилось! Но я терпела, между прочим!

— И зря.

— Но у тебя-то какие претензии?

— Никаких.

— Тогда в чем дело?

— Ну, допустим, в том, что разлюбил.

— А если без «допустим»?

Этот разговор продолжался часа полтора. Песцов всегда поражался умению женщин бесконечно долго обсуждать одно и то же. Наверное, причина в нежелании понять то,

чего им не хочется понимать. Впрочем, *поражался* — слово из прошлого, сейчас его уже ничто в женских приемах не поражало и не удивляло.

Кончилось тем, что Таня-вторая сказала: ладно, пусть развод, но тогда, будь добр, отдай свою долю квартиры, если тебе хоть немного дорога дочь и ее будущее.

Песцов утешил ее как мог:

— Перестань. Всё будет хорошо. Ты еще найдешь человека в сто раз лучше меня.

— Не сомневаюсь! — последовал гордый ответ.

Потом позвонила Таня-первая:

— Как ты там?

— Нормально.

— Не женился опять?

— Нет.

— А я с пацанами собираюсь в выходные твой город посмотреть. Вокруг вообще такое Подмосковье красивое, храмы, музеи, а мы нигде не бываем, даже стыдно!

— Ну, здесь не совсем Подмосковье.

— Тем более! Зато Волга, я по карте смотрела.

И они приехали.

— Круто! — сказали братья-близнецы, зайдя в квартиру.

— Не скучно тебе одному? — спросила Таня-первая.

— Нет.

Песцов сводил сыновей в местный музей прикладного искусства, на набережную Волги и, конечно, в «Макдоналдс». Таня осталась в квартире, сославшись на недомогание после дороги: она водила машину редко и быстро от этого утомлялась.

Песцову было неприятно думать о том, что она сейчас там одна и неизвестно, что делает.

## Алексей Слаповский

Помечает территорию, подумалось вдруг, и от этой мысли стало смешно, но как-то и страшновато. Он заторопился домой.

— Рано вы, — удивилась Таня.

— Тут делать нечего, — сказали братья. — Даже к Волге искупаться не подойти.

— Пляж за городом, очень хороший, — оправдался Песцов.

— Мы завтра туда съездим, — пообещала Таня сыновьям. — И я позагораю немного, с начала лета на солнце не была.

— На ночь хотите остаться? — спросил Песцов.

— А в чем проблемы?

— У меня одна кровать.

— Но двуспальная же.

— Всем на ней улечься?

— Зачем? У меня в машине матрас дорожный. На поролоне. Я взяла на пляже полежать, вот и пригодится. Пацаны на нем вполне помещаются.

— А мы будем спать с тобой?

— Да не бойся, не трону я тебя! — рассмеялась Таня.

Ночью они оба долго не могли заснуть. Таня ворочалась с боку на бок, не выдержала, повернулась к Песцову и спросила:

— Все-таки до сих пор не понимаю, почему ты тогда к ней ушел? Ну, моложе, это да. А что еще?

— Когда мужчина уходит от одной женщины к другой, — разъяснил Песцов, — надо всегда смотреть, уходит он именно «к» — на звук пришлось надавить, чтобы ясен был смысл, — или «от». Я ушел — «от».



— Да? Интересные новости! — усмехнулась Таня, словно забыв, что Песцов не раз ей это говорил. — И сейчас тоже — «от»?

— Да. И никаких «к».

— Ясно. Мучаешь ты себя, — пожалела Таня, погладив Песцова ладонью по щеке.

Песцов рассмеялся.

— Что? — насторожилась Таня.

— Да одинаковые вы все. Одна и та же манера — внушить мужчине те мысли и чувства, каких у него нет, но должны быть. И мы ловимся на это — знаешь почему?

— Я ничего не внушаю. Почему?

— Потому что на самом деле у большинства людей ни чувств, ни мыслей. Они жизнь пережевывают, как траву. Тупо. Но вот кто-то намекает: нет, у тебя есть и мысли, и чувства, ты страдаешь, мучаешься — и так далее. И человек соглашается: да, страдаю, да, я такой вообще глубокий, дна не видно. И всё, он пропал, его тут же начинают со дна вытаскивать. За волосы.

— Ну ты и придумываешь! — огорчилась Таня. — Жаль, что ты так плохо думаешь о людях. Ты знаешь, что негативные эмоции влияют на здоровье?

— Хорошая попытка, — оценил Песцов и отвернулся.

При этом он чувствовал весьма сильное мужское влечение, но в сопротивлении влечению ощущалась новая прелесть, оно было ценнее того, что сейчас могло произойти и всё разрушить.

Наутро Таня раздраженно объявила сыновьям, что никаких пляжей, она после этого будет вся разбитая, а надо еще дома прийти в себя и отдохнуть перед рабочей неделей.

## Алексей Славовский

— Знаешь, — сказала она на прощание Песцову, — я правильно сделала, что развелась с тобой. Тебя в больших дозах выносить невозможно. Я бы с ума сошла.

— Вот и славно, — ответил Песцов.

Дни шли за днями, не утомляя и не огорчая неожиданностями. Один лишь Михайличев нарушал этот ритм, время от времени появляясь с выпивкой и жалобами на свою надоевшую семейную жизнь. Он описывал ее в деталях самых интимных, Песцов терпеливо и молча слушал.

— Нет, хватит, разведусь! — такими словами заканчивал Михайличев свои речи. И целый час после этого сидел, пил крепкий кофе, потому что его жена терпеть не могла видеть Михайличева пьяным и устраивала громкие скандалы, не стесняясь домочадцев.

— Да развелся бы, в самом деле, и всё! — сказал однажды Песцов.

— Легко тебе говорить! — тут же возразил Михайличев. — Как я с ней разведусь, если она, во-первых, финансовый директор моей параллельной фирмы, то есть на самом деле это я у нее параллельный, а во-вторых, мы с ней на двоих дом строим. Подстраховалась, подлая баба, уговорила меня на двух владельцев оформить. С ней-то я легко разведусь, а попробуй ты разведись с деньгами. И с домом. Она меня без последних штанов на волю отпустит, знаю я ее. Это не женщина, а маршал Жуков! Победа без пощады!

Позвонила Таня-вторая, сказала, что нечего тянуть, пора оформить развод.

Песцов поехал в Москву. Он думал, что всё ограничится посещением загса, но выяснилось: при наличии несовер-

шеннолетнего ребенка, да еще до трех лет, нужно подавать заявление в суд.

— Что ж, подавай, — сказала жена.

— Почему я?

— Ты же хочешь развода.

— Вообще-то я не настаиваю, меня эти формальности не смущают. Деньги и так присылаю, без всякого суда. И буду присылать.

— Дело в тонкостях, — объяснила Таня, успевшая почитать об этом в интернете. — Если ты истец, то рассматриваться будет в районном суде по моему месту жительства. То есть в Москве. А если я подаю заявление, то должна буду ехать к тебе и там с тобой судиться. Как думаешь, у меня есть на это время, с ребенком и мамой на руках плюс работа?

Песцов наведаясь в юридическую консультацию и узнал, что развод при маленьком ребенке и не вполне ясном квартирном вопросе (он до сих пор не оформил передачу своей доли жене) — это нудная и долгая история.

Сообщил об этом Тане.

— И что теперь, в воздухе мне висеть? — спросила она. — Ни жена, ни вдова, неизвестно кто! А я еще не старуха, если кто забыл!

Песцов позвонил Михайличеву, попросил неделю за свой счет.

— Зачем?

— Развод оформляю.

— Это дело! — порадовался за него Михайличев. — Валяй, занимайся сколько надо!

Недели не хватило. Не хватило и двух. Почти месяц потребовался, чтобы оформить дарение своей доли, подать заявление на развод, дожидаться рассмотрения, максимально

## Алексей Слаповский

его приблизив с помощью материально стимулированной Песцовым энергичной адвокатши. Всё это требовало расходов, учитывая проживание в гостинице; Песцов нашел самую дешевую, без удобств, ему жаль было тратить деньги, предназначенные для новой квартиры, где он наметил кое-какие улучшения.

Когда всё кончилось, когда вышли из суда с документами о разводе, жена сказала:

— Ну, теперь доволен?

И заплакала.

Он дотронулся до ее руки, чтобы успокоить, она рванула руку так, будто обрезалась или обожглась, и закричала на всю улицу:

— Не смей ко мне прикасаться! И ребенка больше не увидишь, понял? Никогда!

Песцов хотел напомнить, что решением суда предусмотрены регулярные встречи, но промолчал. Пусть отойдет. Время лечит.

Вернулся к заждавшейся квартире, целый день вытирал пыль во всех углах и уголках, приготовил ужин, откупорил бутылку вина и поздравил себя с завершением очередного этапа и окончательным разрывом с прошлой жизнью.

И с удвоенным рвением взялся за работу, наверстывая упущенное.

## 2.

В архитектурно-проектное бюро, возглавляемое Песцовым и состоявшее из восьми человек, пришла новая сотрудница вместо ушедшей в декретный отпуск. Лет око-

ло тридцати, имя Катя. Очень симпатичная, довольно стройная.

Когда она явилась и представилась, все посмотрели на Песцова. Будто тут же мысленно их сосватали. Одинокий привлекательный мужчина без вредных привычек и молодая, обаятельная, улыбчивая женщина, какие тут могут быть варианты?

У Песцова испортилось настроение.

Первое задание Катя выполнила не очень хорошо, Песцов долго и нудно упрекал ее, даже швырнул папку на стол, хотя раньше за ним таких резких движений не замечалось.

Он увидел при этом, что предпенсионная дама Евгения Давыдовна смотрела на него с усмешкой, словно понимала больше, чем он сам. И крикнул ей:

— Вы зря радуетесь, Евгения Давыдовна, вы ненамного лучше работаете, и если я не всегда это говорю, то из уважения к возрасту!

Евгения Давыдовна оскорбилась.

Да и от других повеяло холодком отчуждения. Такой был милый начальник, в меру строгий, в меру добрый, главное — справедливый, и нате вам, как остервенился! Видно, зацепила его эта новая женщина, а он показать не хочет, вот и кипятится от растерянности. Такие разговоры о себе представлял Песцов, когда пытался дома отвлечься Чеховым. Это был уже поздний Чехов, горький, местами страшный. Но Песцов как раз этой горечью и утешался.

Катя исправила документацию, принесла, Песцов молча пролистал и вернул, кивнув: да, теперь порядок. Она обрадовалась, как школьница-отличница, которую похвалили.

Всё пошло не так. Песцов вовсе не влюбился в Катю, хотя она ему нравилась — отстраненно и объективно. Но он

видел, что все ждут именно влюбленности, и это злило. Он чувствовал Катю постоянно, как чувствуют что-то колющее в одежде, как камешек в ботинке, как слышат навязчивую мелодию, прозвучавшую по радио и непрошено вклеившуюся в память, ставшую чуть ли ни галлюцинацией. И если камешек можно выкинуть, колющее найти и выстричь, то от мелодии отвязаться труднее, потому что она слышится и тогда, когда ее нет.

Песцов обратился к Михайличеву:

— Нельзя ли эту Катю куда-нибудь перевести?

— Ага, уже влюбился! — засмеялся Михайличев.

— Нет. Плохо работает.

— Прямо совсем?

— Ну...

— Обучи. А уволить не могу, за нее отец просил, а он — замглавы городской администрации. Ерепеев такой, слышал?

— Нет.

— Дольше проживешь. Злопамятный и вонючий, с ним лучше не связываться. А дочка не в него, скромная, миленькая. И на внешность вполне, лично я бы не отказался.

Однажды Катя попросила Песцова помочь.

— Какая-то сумасшедшая бизнесвумен попалась, — пожаловалась она. — Упертая, я не могу. Требуется окно кирпичом заложить. Я объясняю, что нельзя, она не верит.

— Пусть обращается в другую организацию.

— Да она уже почти весь проект одобрила, аванс заплатила, жалко терять заказ.

Песцов отправился с Катей к этой бизнесвумен. Увидел совсем молоденькую, лет двадцати пяти, девушку, тонкую, хрупкую. По виду казашка или киргизка.

— Вот, Раиля, это Владимир Георгиевич Песцов, лучший наш специалист, — представила Катя. — И он подтвердит, что я говорила. И в любой другой организации скажут то же самое: фасад многоэтажного дома изменять нельзя.

— Я не с любой другой организацией работаю, а с вашей, — заметила Раиля. — Какой еще фасад, это боковое окно в торце дома!

— В проектно-архитектурном смысле все внешние стороны дома называются фасадом, — объяснил Песцов.

— Но я же сама видела, в угловых квартирах по всему городу эти окна кирпичом закладывают! Зачем мне два окна в комнате, мебель поставить некуда!

— Закладывают незаконно, — сказал Песцов. — В любой момент могут прийти и потребовать восстановить.

— И пусть требуют! — охотно согласилась Раиля. — Их дело требовать, а мое — жить, как мне нравится, в купленной за собственные деньги квартире. Я не права?

— Давайте не терять время, — предложил Песцов. — Есть три варианта. Первый: мы расторгаем договор, возвращаем вам аванс...

— Еще чего, я время потеряла с вами, а вы меня посылаете, что ли? — возмутилась Раиля.

— Дослушайте, хорошо?

— Я сказала: вариант один — заложить!

— Или вы позволите мне договорить, или мы уйдем.

— Ладно, договаривайте, — насупилась Раиля, и меж бровей у нее появилась складочка, которая сделала ее похожей на обиженную своевольную девочку.

— Готовы слушать? — уточнил Песцов.

— Да слушаю уже, давайте!

## Алексей Славовский

— Первый вариант я уже описал. Второй: мы составляем проект на всё, не трогая окна. Закладывайте его самостоятельно, без проекта.

— А как же...

— Дайте закончить, пожалуйста! Третий вариант: вам ведь важно, чтобы была стена. Чтобы поставить мебель. Закрываете окно изнутри панелями из ПВХ или дерева, как вам больше нравится, снаружи окно будет выглядеть окном, и это лучше, чем закладывать, вы же видели — будто заплатки.

— Вообще-то да.

— Ну вот. А изнутри будет как обычная стена. Можно утеплить, но у вас и так квартира не холодная.

— А что, это вариант! — сказала Раиля.

— Красиво и почти законно! — подтвердила Катя.

На обратном пути в контору она восторгалась:

— Здорово вы ее! Как дрессировщик! Я уже ее боялась, честное слово! Напирает, глаза выкатывает, просто буря в пустыне! А вы — раз-два, и она перед вами на задних лапках. Научите?

— Опыт.

— Это верно. Есть хочется. Вы не хотите? Может, заедем куда-нибудь?

Песцов мысленно усмехнулся. Мог бы отказаться, но решил посмотреть, как она будет вести себя дальше.

В кафе Катя рассказывала о том, что хотела стать полноценным архитектором, но в этом городе негде развернуться, а в Москву перебираться нет охоты. Жила она там два года, не понравилось.

— Народа больше, чем людей. У кого возможность есть, бегут оттуда. Вы вот тоже уехали. Но нам с вами легко пере-



мещаться, мы без семей, сами по себе, а кто оброс со всех сторон, им деваться некуда.

Всё обо мне узнала, подумал Песцов. И о себе сказала — как бы невзначай.

Ела Катя не спеша, понемножку, время шло, рабочий день кончился, поэтому и Песцов не торопился, пил чай и с удовольствием смотрел на Катю, понимая, что она ему нравится, но так, будто не живая, а в каком-то кино, не здесь, на экране. Неплохая красивая актриса неплохо исполняет роль, почему не полюбоваться?

Катю его внимание вдохновило, она рассказала о своем детстве, о сложных отношениях с отцом, который требует от нее честолюбия, а для нее дороже свобода и личная жизнь.

Официантка принесла счет.

Песцов глянул и сказал:

— На два разделите.

Официантка ушла и вскоре принесла два счета.

Песцов заплатил за себя, а Катя за себя. Было видно, что она слегка недоумевает. Но вдруг рассмеялась:

— Я поняла! Вы не хотите за меня платить, потому что мой начальник и это будет выглядеть... Ну, как-то не так, да?

— Нет. При чем тут — начальник, не начальник? Я плачу за свой ужин, вы за свой, потому что вы мне, уж простите, не подруга, не невеста и тем более не жена. С какой стати я должен оплачивать ужин чужого человека?

— Ну да, правильно, — сказала Катя, продолжая недоумевать.

А в машине догадалась:

— Это у вас принципы такие? Наперекор социальным протоколам? Интересно! Нет, правда. Зря о вас говорят, что

## Алексей Слаповский

вы сухой и скучноватый, вы — оригинальный человек, Владимир Георгиевич!

— Нет, — сказал Песцов. — Я именно скучноватый и заурядный. Вас домой подвезти?

— Если не трудно. Если это не противоречит вашим принципам.

Песцов подвез. Дом в центре, новый, трехэтажный, с квартирами так называемой свободной планировки, их контора здесь выполнила не один заказ. Катя напомнила об этом и сказала:

— А я до сих пор не решила, что делать. Хотела студию, но вообще-то надоела эта мода, когда всё на виду. Может, наоборот, комнатки сделать? Такие светелки? Может, посоветуете?

Песцов пошел с ней — советовать.

Увидел, что на самом деле всё готово, зона кухни отделена стеллажами с цветами, книгами и безделушками, виднелась дверь в спальню, а центральное пространство нет смысла перегораживать, получатся два пенала.

— Кофе? — спросила Катя.

Песцов не хотел, но согласился.

Сидел, пил кофе и молчал. Видел, что Кате неловко, и ему это нравилось.

Наконец, заговорил:

— Всё грамотно, Катя. Дали мне возможность показать мои блистательные навыки. Оценили мою оригинальность, когда я не стал за вас платить. Придумали достоверный способ пригласить меня в квартиру. Намекнули, что вы одна, без семьи и без друга. Хотя друг, может, и имеется. Приходящий и временный. Грамотно, очень. Но для чего вы это делаете? Я вам нравлюсь?

Катя смяла в кулачке салфетку и бросила ее на блюдце. Ответила не сразу: искала слова, чтобы и достойно возразить, и при этом не спугнуть, не слишком обидеть.

— А вы никогда не думали, Владимир Георгиевич, что есть люди, которые всё делают без задних мыслей?

— Нет таких людей. Всегда есть задние мысли. У всех. Во всех ситуациях.

— Вы уверены? И вам не страшно так жить?

Песцов от души рассмеялся:

— Ну, Катя, это уже перебор!

— В чем?

— Да в этом вот: «вам не страшно?» — повторил Песцов слова Кати. — Такая женская забота, такое сочувствие! Сто мужчин из ста тут же растеклись бы перед вами — черпайте хоть ложкой!

— Сто из ста? А вы тогда какой?

— Сто первый, Катя.

— Вы просто жизни боитесь.

— Хватит, Катя, это уже не смешно. Раньше — да, боялся жизни и во всем поэтому ее слушался. А теперь она пусть боится и слушается.

— Интересный вы. Сами хотите меня оскорбить, а сами делаете всё, чтобы еще большее заинтересовать и понравиться.

Песцов хмыкнул:

— А вот это вы по-настоящему удачно сказали. Чистую правду. Слаб человек, действительно, не может удержаться, чтобы не похвастаться. На самом деле будет лучше, если вы на меня обидитесь. И вам лучше, и мне.

— Договорились, — сказала Катя.

И она обиделась. Общалась с Песцовым редко, скупно, только по работе.

## Алексей Славовский

Его это вполне устраивало.

Но через неделю поймал себя на том, что не получает прежнего удовольствия от работы, от Чехова, от блаженного своего одиночества. Хотелось подойти к Кате и что-то сказать, чтобы она опять потеплела.

Хоть город меняй, подумалось вдруг.

На выходные съездил в Москву, пообщался с обеими Танями, с дочкой, сводил сыновей на ВДНХ, где было шоу динозавров: в душных ангарах стояли огромные муляжи, сделанные из резины, пластика и тряпок. Песцов взялся было вслух читать таблички с данными о размерах этих зауроподов и игуанодонов, но близнецам быстро прискучило, они то и дело перепрыгивали ограждающие канаты, соревнуясь, кто первый дотронется до очередной куклы, Песцов пугал их охраной, они делали вид, что боятся, и тут же начинали опять хулиганить.

После этого сидели в открытом кафе со столиками под зонтами, ели мороженое.

— Вы уже выросли, дети мои, — сказал Песцов, шутливой интонацией заранее смягчая тему предстоящего разговора. — И, наверно, спрашиваете маму... или не спрашиваете, но думаете: почему папа с нами не живет?

— Да ладно! — застеснялись близнецы.

— Так я вам сам скажу: лучше, когда отец вас навещает, хоть и редко, чем если бы он жил рядом всё время, но вы бы его не уважали, а то и вообще презирали.

— Да ладно! — еще больше смутились братья.

— Вы спрósите, за что презирали бы? — выводывал Песцов у братьев, явно не желавших ничего спрашивать. — А я отвечу: за вранье и трусость. Если вы сейчас еще не всё понимаете, то хотя бы запомните эти слова. Потом поймете.

Он вернулся домой успокоившимся. Похоже, наваждение с Катей кончилось. Он равнодушно наблюдал за ее подчеркнутой деловитостью. Коллектив перестал строить своднические планы на их счет, только Евгения Давыдовна продолжала с усмешкой на них поглядывать, словно знала больше других. Это понятно: людям в возрасте труднее расставаться с фантазиями и надеждами. Надо же чем-то жить.

Песцов вошел в привычный ритм, и тут его посетил Михайличев. Трезвый. Выпил чаю и сказал:

— Такое дело. Знаю, что обидишься, но скажу прямо: Ерепеев просит Катерину начальницей бюро сделать. И я сделаю. А тебя старшим проектировщиком с почти такой же зарплатой. Плюс бонусы. Всё это не очень красиво, но такова жизнь, Володя. Если тебя колбасит под ней работать, найду другое место. Хочешь на живое строительство? Могу в бизнес вообще взять, ты человек верный и шустрый, способен хорошие дела крутить. А?

— Нет, — сказал Песцов. — Старшим так старшим. Да хоть и обычным, мне всё равно.

— Шутишь?

— Никаких шуток.

— Ты, может, буддист какой-нибудь? — предположил Михайличев. — Они, говорят, умеют так. Типа: дождик льет, а я не мокну. То есть мокну, но по фигу.

— Примерно так, только без всякого буддизма.

— Ты человек, Володя! Если бы у меня все такие работники были, я бы устроил отдельно взятый коммунизм.

И Катя стала начальницей.

Песцов видел, что эта роль ей не нравится, но она себя убеждает в необходимости двигаться вперед, расти. Жалел ее. И спокойно работал, будто ничего не случилось.

## Алексей Слаповский

Евгения Давыдовна была очень довольна.

— Вот что значит противиться судьбе! — сказала она как-то Песцову.

— Не понял?

— Да всё вы понимаете!

— Хорошо, пусть так. Но не переживайте за меня больше, чем я сам, ладно?

— А вы не переживаете? — не поверила Евгения Давыдовна.

— Ни капли.

В тот год День строителя, отмечающийся, как известно, во второе воскресенье августа, пришелся на одиннадцатое число.

Дела в компании, филиалах и отделах Михайличева шли неплохо, он решил отметить праздник широко, поздравить избранных людей коллектива в лучшем ресторане города.

Песцов не любил таких мероприятий, решил, что посидит пару часов, выслушает речи и незаметно уйдет домой, к своему Чехову.

На этом торжестве он впервые увидел мифическую жену Михайличева. Моложавая миловидная женщина, светловолосая, светлоглазая, с мягкими чертами лица, она сидела рядом с топорно вырубленным мужем. При этом казалось, что в этой паре он командир: то и дело указывал супруге, что ему положить и что налить, а она заботливо исполняла. Впрочем, Михайличев ел и пил урывками, он командовал еще и столом, предоставляя слово то одному, то другому.

Так получилось, что Катя запоздала, свободное место оказалось рядом с Песцовым. Не сесть — выглядело бы ненужной демонстрацией. И она села, первая заговорила — о ка-

ких-то недавних рабочих делах. И вообще вела себя непри-  
нужденно, но Песцов этому не верил. В одиноком человеке  
развивается обостренное чутье на возможные нарушения  
личного пространства.

И оно было нарушено: выпив пару фужеров вина, Катя  
спросила, не глядя на Песцова:

— Может, вам интересно, почему меня поставили на  
ваше место?

— Не очень.

— Врете. Вы злитесь, я же вижу. Вы думаете, отец за меня  
попросил. А я вам скажу: это я сама попросила.

— Ну и слава богу, нет проблем.

— Проблемы есть. Все же видят, что я хуже вас. Ни опы-  
та, ни умения. Выскочка. — Она выпила еще фужер. — Хо-  
тите, правду скажу?

— Зачем?

— А надоело в себе носить.

— Ну скажите.

— Ненавижу я тебя. Можно на «ты»?

— Пожалуйста.

— Я тебя ненавижу.

— Жаль.

Песцову очень хотелось уйти. Но еще не все речи были  
произнесены. Да и не стоит давать Кате повод для оконча-  
тельной ненависти.

Поддаюсь, уговариваю себя, подумал он. Плевать, пусть  
ненавидит еще больше. Чую опасность, ухожу.

И встал. Сказал:

— Не очень хорошо себя чувствую, извини. Потом пого-  
ворим, если хочешь.

— Сейчас! — сказала Катя. — Пойдем!

Она встала и пошла в сторону туалетов, уверенная, что Песцов последует за ней.

И он последовал. Если разговора всё равно не избежать, лучше быстрее всё кончить.

Катя прошла мимо туалетов к гардеробу, пустому по летнему времени. Там, за вешалками, обнаружилась дверь служебного помещения. Видимо, Катя хорошо знала, как устроен этот ресторан.

Делать нечего, Песцов зашел в комнатку без окон, где были сломанные стулья, громоздящиеся друг на друга, ведра, швабры, тряпки.

Катя пропустила его мимо себя, прислонилась спиной к двери.

Горела тусклая лампочка.

Катя была взволнованной и очень красивой.

— Иди ко мне, — сказала она.

Она так это сказала, с такой страстью, с такой непререкаемостью, с такой женской силой, что в Песцове всё отозвалось — тоже сильно и непререкаемо.

Он шагнул к ней, обнял.

Начали целоваться.

Далее продолжалось так, как Песцов до этого видел только в фильмах. Знал по рассказам лихих и опытных мужчин, что такое случается и в жизни. Порыв, буря, вихрь. В подсобках, под лестницами, в подвалах, в лифтах, в туалетных кабинках самолетов. Допускал, что да, это возможно. Но не с ним. Он об этом брезговал даже думать. И вот, пожалуйста — Катя уже полураздета, он и сам полураздет, пытается сообразить, как бы половчее всё сделать, но, оказывается, и соображать не надо, Катя так умело направляет, что всё происходит само собой.



— Вот я тебя и раскусила! — сказала она, одеваясь. — Спрашивается, зачем ты так долго себя и меня мучил?

Есть моменты, когда правду женщине сказать невозможно.

И Песцов промолчал.

Они вернулись на свои места — сначала Песцов, а потом Катя, зашедшая по пути в туалет.

Раскрасневшаяся, выглядящая уверенно счастливой, Катя проявила милосердие, как это бывает свойственно победителям.

— Если хочешь, можешь уйти, — сказала она. — Тебе, наверное, надо подумать. О нас с тобой.

— Побуду еще, — сказал Песцов, выпил водки и начал есть. Много и жадно.

— На хавчик пробило? Ешь, ешь! — Катя дотягивалась до дальних тарелок с деликатесами и подкладывала Песцову.

Уже как жена за мужем ухаживает, подумал Песцов.

— Ты на машине? — спросила она.

— Да.

— А я нет. Знала, что выпью. Давай так: минут через десять выйдешь, а я потом, тоже минут через десять. Чтобы никто ничего не подумал, хотя мне всё равно. И поедем ко мне. Или к тебе, как хочешь.

— Ладно.

— Что ладно? К тебе или ко мне?

Песцову не хотелось ни того ни другого. Ему хотелось просто уехать. Но он с ужасом понимал, что не сделает этого. Тогда лучше — к ней. Чтобы не нарушать девственность его любимой квартиры. Он ни с кем не будет ее делить. Никогда.

Так мысленно говорил себе Песцов, с тоской чувствуя, что всё рухнуло, всё теперь пойдет наперекосяк.

## Алексей Слаповский

Он вышел на крыльцо ресторана. Ресторан был большим, на несколько залов. В одном из них гуляла свадьба — слышались крики «Горько!», а на ступенях перед входом валялись затоптанные цветы.

На крыльце курила девочка.

То есть она показалась девочкой. Просто маленького роста, худая. Как актриса Вайнона Райдер в молодости. Песцов видел ее в каком-то скучном фильме и обратил внимание потому, что она очень была похожа на незабываемую Юлю Гремчик, в которую он был четыре года щемяще влюблен, старомодно сделал ей предложение, получил отказ и вскоре женился на ее подруге.

— Надоело, да? — спросила девушка у Песцова.

— Да.

— Я не могу вообще от этих свадеб уже, у меня третья подруга за лето выходит. Шампанское это, я с него вообще. Лучше виски выпить. Я виски хоть целую бутылку ноль пять, и нормально, а с шампанского с одного стакана ведет. Ну, не ведет, а как-то дурею. То есть даже не пьяная, а не в себе как-то. Противно. — Девушка уронила сигарету и достала из сумочки вторую. Прикурила, затянулась, выпустила дым, прищурилась на Песцова. — А вы не со свадьбы вроде?

— Нет, у меня тут другое.

— А кто вообще? Просто интересно.

— Строитель. Архитектор.

— Отлично! Люблю, когда у мужчин реальная профессия. Все эти депутаты, чиновники — это муть. Я сама швейный техникум закончила, а работаю продавщицей. Не чем попало торгуем, конечно, элитное белье для богатеньких. Но всё равно не то. Надо людям приносить конкретную пользу! — сказала девушка нравоучительно. И рассмея-

лась. — Ну я гоню! Это я под вас стараюсь, у вас такой вид интеллигентный. Я даже стесняюсь. Вас как зовут?

— Владимир.

— А я Таня.

— Нет!

— Что значит — нет?

— У меня бывших двух жен Танями звали.

— Правда? Слушай, тогда ты попал!

— Похоже, — усмехнулся Песцов.

Ему нравилась эта девушка. Она была очень простой и естественной, и он себя чувствовал просто и естественно.

Сейчас вот возьму и приглашу ее к себе в гости, подумал он. И ведь согласится! Что-то подсказывает — согласится.

А Катя всё не идет. Наверное, у нее из-за алкоголя изменилось чувство времени. Да и у Песцова тоже: кажется, что прошло четверть часа, а на самом деле, может, минуты три.

— А ты, значит, замуж не торопишься? — спросил он.

— Смотря за кого. Я разборчивая вообще-то.

— Это хорошо.

Может, номер телефона спросить, подумал Песцов. Нет, нужно что-то другое. Что-то неожиданное, смелое. Необычное.

Вышла Катя. Сейчас он поедет с ней, и будет то, чего он не хочет. А девушку эту, которая ему нравится так, как давно никто не нравился, упустит — возможно, навсегда.

Песцов действовал по вдохновению, не успев ничего обдумать. Он схватил девушку за плечи и сказал:

— Не спеши, а то упадешь!

И повел ее вниз по лестнице. Обернулся и крикнул Кате:

— Ей плохо, надо отвезти!

Девушка, умница, тут же подыграла, повалилась на Песцова и стала волочить ноги, еле переступая ими.

— А кто она? При чем тут ты вообще? — растерянно спросила Катя.

Песцов махнул рукой: дескать, потом объясню.

Девушка дала довести себя до машины, упала на сиденье и свесила голову набок. Так и сидела, пока не отъехали. Потом ожила, рассмеялась:

— Ну ты мастер! Как всё изобразил! Она кто, подруга твоя? Неужели так достала?

— Да, так достала.

— Мы можем! — подтвердила Таня. — Настя вот, которая замуж выходит, она из-за своего дурака травилась, аборт от него делала, он от нее в армию уходил, а она дождалась, накинулась на него и опа — забеременела. Главное, ведь разведутся всё равно, зачем ей это надо? Статистику бы почитала, у нас на десять браков — десять разводов!

— Ну что, ко мне? — спросил Песцов.

— Наглый! — уважительно сказала Таня. — А по виду не скажешь.

— Я не наглый. Просто я так тебя хочу, что у меня всё аж судорогой сводит! — сказал Песцов с отчаянной откровенностью. Так признаются в любви, ни на что не надеясь, ни о чем не думая, лишь бы признаться, не держать в себе.

Таня к его словам отнеслась с пониманием:

— У меня тоже так бывает. Иногда даже вообще без никого. Ну, как, иногда просто вот лежу, да? Просто лежу, ну, у телевизора или вообще. Читаю там. И даже не думаю про это. И вдруг бац, будто ударяет что-то. Понимаю, что хочу секса. Вот прямо ни с чего. И так жестко хочу, прямо умираю. Хоть на улицу беги и бросайся на кого попало. Нет, правда, как приступ какой-то. Прямо вот так.

И Таня показала: закрыла глаза, стиснула зубы и с шумом втянула сквозь них воздух, а потом выдохнула и согнулась, прижав руки к животу, морщась, будто от боли.

— Значит, договорились? — спросил Песцов.

— Такой взрослый, а говоришь глупости! — рассердилась Таня. — Договариваются с проститутками, а я девушка порядочная!

— Извини. Тогда отвезу тебя домой. Куда ехать?

— Ты еще и тупой, — сказала Таня, улыбнувшись и положив руку ему на колено. — Куда ехать? К тебе, конечно!

### 3.

Песцов повез новообетенную Таню к себе, где испытал то, чего ни разу не испытывал за всю свою долгую, как он считал, жизнь.

Под утро выпустил ее из рук, она упала на спину, потянулась и сказала:

— Ф-ф-фу! Наелась наконец!

Неделю они ели и пили друг друга, то ласково и не спеша, то ударялись телами так, будто хотели разбиться или причинить увечье, будто отчаялись достичь предела удовольствия и пытались хотя бы болью заменить его. Таня любила обхватить Песцова тонкими, но сильными руками за шею, придушивая и шепча:

— Хорошо тебе?

— Дышать нечем!

— Это хорош-ш-шо!

— Я тебя тоже задушу!

— Хорош-ш-шо!

И они впрямь душили друг друга, почти теряя сознание, и Песцову казалось, что из него извергается всё имеющееся в нем, начиная от горла, где что-то ухает вниз со сладкой тошнотой. Будто весь выворачиваешься наизнанку и обволакиваешь лежащее под тобой, или на тебе, или сбоку существо, не своим внешним телом, а абсолютно всем, что в тебе есть, и существо это оказывается полностью внутри тебя, и тебе кажется, что ты ощущаешь его ощущения как свои.

Он не ходил на работу, сказавшись больным. Бегал только пару раз за продуктами.

К исходу недели наконец притомились.

Выйдя из ванной в очередной раз, Таня спросила:

— Ну? И что теперь?

— Будешь со мной жить. Да, я уже для тебя староватый. Но лет на десять меня хватит. А потом бросишь.

— Жить? В качестве кого?

— Всё равно. Как скажешь.

— Ты не шутишь?

— Нет.

— А подумать?

— Я подумал.

— Я про себя!

— Думай.

Она думала недолго, собралась и ушла, Песцов опомниться не успел. Ни адреса, ни телефона.

День маялся, не зная, что теперь делать.

Отоспался, поехал на работу.

Катя вежливо и официально, при всех, спросила: чем болели, где справка?

Болел простудой, справки нет, сказал Песцов, мы никогда в таких мелких случаях справок не берем.

Какой же мелкий, если неделя, спросила Катя.

Ну, выговор объявите в приказе, сказал Песцов, а коллектив трепетно слушал, замерев от предвкушения.

Тут дело не выговором пахнет, а увольнением, сказала Катя.

Ну, увольняйте, сказал Песцов.

Вот и отлично, сказала Катя, даю вам пять рабочих дней, чтобы закончить, что начали, и подготовить отчет для того, кто будет на вашем месте.

Песцов приступил к работе. Улучив момент, встретился с Михайличевым, рассказал о том, что произошло. Не утаивая и любовной истории.

— То есть ты неделю не был на работе, потому что не мог от нее отклеиться?

— Можно сказать и так.

— Красивая?

— Очень.

— Молодая?

— Около двадцати. Двадцать два примерно.

— Ничего себе. И что, она прямо вот так здорово... — тут Михайличев произнес грубое слово, чтобы им приглушить романтическую зависть, которая так и горела в его глазах, — что тебя всего переклинило?

— Богиня, — кратко ответил Песцов.

— Надо же. Позови посмотреть.

— Ее сейчас нет. Позову, когда придет.

— Ладно. А насчет увольнения так. Екатерина не только тебя, она теперь и меня может уволить. Ну это я махнул, я ей не по зубам. Но сделать для тебя ничего не могу. Больше того, я почти уверен, что она поставит условие, чтобы я тебя вообще никуда в свои структуры не брал. Чем ты ей так насолил, Володя?

— Неважно. Ненавидит.

— Тогда всё. Если баба ненавидит, с ней лучше не связываться. Как друг говорю, ищи новую работу, но помимо меня.

Песцову было не до этого, он искал Таню. Через интернет. Через социальные сети, городские сообщества. Задавал в поиске ориентиры: «самые красивые девушки нашего города». Или: «таня похожая на вайнону райдер». Или: «швейный техникум выпускники». И так далее. И, проведя в поисках три вечера, нашел ее через сеть «ВКонтакте». Зарегистрировался, послал ей сообщение:

«Куда исчезла, дай свой номер, позвоню».

«Уже соскучился?» — спросила она.

«Очень».

«Ладно, завтра зайду».

И она зашла. Начала разговор, но Песцов не дал ей продолжить, схватил, поднял на руки, понес в спальню. И только когда вдоволь натешился и насытился, заразив и ее своим желанием, позволил говорить.

Таня сказала, что хочет быть честной. У нее проблемы, она живет с матерью, младшим братом и очередным мужем матери, который, как и предыдущие, полный отстой. Снимать квартиру — дорого. Да и жаль тратить деньги. Она копит их на то, чтобы попробовать открыть свой магазинчик. Сколько-то своих денег плюс кредит. Не вечно же на других работать. Короче, сказала она, давай так: я буду с тобой жить, но никаких претензий. Только секс. Готовить не люблю и не буду, убираться тоже. Обещаю ночевать дома, больше ничего не обещаю. Или соглашайся, или приятно было познакомиться.

Песцов согласился.



После увольнения он довольно быстро нашел новую работу — инженером по капитальному ремонту в жилищно-коммунальной компании. Там оценили его компетентность, работоспособность, исполнительность и контактность, отношения с начальством и коллегами быстро наладились. Песцов предупредил при этом, что по некоторым обстоятельствам не может оставаться на сверхурочную работу. Но оказалось, что коммунальщики и сами не жалуют работу сверх положенного.

Он стремился домой, набрасывался на Таню или нетерпеливо ждал, когда ее не было, а потом кормил ужином, поглядывая ласково и просительно.

— Слушай, раздражает! — говорила она. — Я тоже это люблю, но не так, чтобы над душой висели. Какая-то уже обязаловка. Ты остынь немного, ладно? Посмотри порнушку, что ли, сам с собой поиграй.

— Сроду не занимался.

— Все занимаются, а ты нет?

— Я нет.

— А если уйду, что будешь делать?

— Повешусь. Или тебя убью.

Михайличев неоднократно звонил, напоминал, что Песцов обещал показать свою красотку, но Песцов всё откладывал. И однажды вечером Михайличев пришел без предупреждения. С большой бутылкой виски. Песцов пить не стал, Таня немного выпила и больше не захотела. Михайличев наливался один, глядя на Таню откровенно вожающе-жаждущими глазами, пытался рассказывать анекдоты, чего делать не умел, потом начал про работу, что было еще скучнее, потом про внешнюю и внутреннюю политику государства, от чего вообще стало тошно.

## Алексей Слаповский

— Ты прости, но мы рано ложимся, — сказал Песцов.

— Еще бы. Понимаю, — кивнул Михайличев и продолжил пить и тянуть нуду.

— Я серьезно, мне на работу рано.

— У меня и так друзей нет, а ты последнего гонишь? — коряво выразился Михайличев.

— Я не гоню. Просто ты уже хорош, жена ругаться будет.

— Да пошла она ко всем чертям! — в сердцах выругался Михайличев. — Сколько хочу, столько и пью!

В доказательство этого он налил не в стопку, а в чайную чашку и выпил. Замер, выпрямившись и прислушиваясь к себе. Вскочил, ринулся в санузел.

Послышались звуки.

— Всё, хватит, — сказала Таня. — Надоел.

— Сейчас выйдет и прогоню, — пообещал Песцов.

Звуки затихли, но Михайличев не выходил.

— Заснул, что ли? — предположила Таня.

Песцов постучал.

Михайличев открыл дверь, Песцов вошел.

Михайличев сидел на краю ванны и плакал.

— Не могу больше! — простонал он. — Это не жизнь! Я не бедный человек, я почти богатый, но я сам себе не хозяин!

Он высморкался в ванну, вытерся рукавом и горячо зашептал:

— Володя, слушай! Мне один механик рассказал, как бывает, когда тормоза отказывают. И как это сделать, если захочешь. Какой-то там палец в каком-то поршне надломить. Он рассказал, и я три ночи не спал. Прямо наяву вижу: я порчу ей тормоз, а она на полном ходу врезается. Прямо всё вижу, будто в кино, в фильме ужасов: кровь на асфальте и она лежит мертвая. И всё! И я свободен. Но вдруг если не

до смерти? Если она инвалидкой неподвижной станет? Ведь тогда окончательный конец, Володя, ведь я ее тогда уже никогда не брошу! Я совестливый, Володя, и она это знает и всю жизнь этим пользуется!

Проплакавшись и просморкавшись, выпив кружку крепкого кофе, Михайличев позвонил жене и трезвым голосом сказал, что скоро будет.

Уехал.

— Чем так жить, лучше вообще не жить, — сказала Таня. — Вот так посмотришь и вообще семью не захочешь заводить. У всех одно и то же.

— Не у всех, — сказал Песцов, обнимая ее. — У нас не так.

— Мы не семья, слава богу.

Наступила осень. Хорошая, солнечная, разноцветно-лиственная.

Песцов уже не домогался Тани слишком часто, ему хватало того, что она просто рядом. Однажды попробовал почитать ей вслух Чехова. Она слушала внимательно, Песцов глядел то в книгу, то на нее, любуясь и умиляясь. Таня дослушала рассказ до конца и сказала:

— Человек понимал жизнь.

— Еще бы!

— А я последнюю нормальную книжку в школе читала. Типа «Гарас Бульба», кажется. Вместо остального кино смотрела и на уроках пересказывала. Не могу долго читать, устаю. А когда слушаешь — будто совсем другие слова. Такие...

— Глубокие? Точные?

— Ну, вроде того. Нет. Как-то... Ну, достают по-хорошему.

— Еще почитать?

— Нет, пока хватит.

На другой день Песцов предложил ей послушать еще несколько страниц, но Таня не захотела. И потом не захотела. Впечатления, полученного за один раз, ей, видимо, хватило надолго, она не хотела его портить.

Песцов дважды за это время ездил в Москву — на дни рождения сначала к близнецам Даниле и Никите, а потом к Ларочке. Привозил им ценные подарки, гулял с ними, играл и заигрывал, непривычно нежничал и обласкивал.

— Что это с тобой? — спросила Таня-первая. — Может, набегался, к пристани захотелось?

— Просто люблю своих сыновей, это плохо?

— Когда это успел?

— Всегда любил.

— Да? Ну-ну.

А Таня-вторая отнеслась раздраженно.

— Нечего девочку к себе причащать, — сказала она. — А то подумает еще, что у нее отец есть.

— Я и есть.

— Не надейся! Ты не считаешься!

Со всеми детьми Песцов сделал селфи-фотографии и, вернувшись домой, часто рассматривал их, чувствуя удивительную полноту жизни и свою в нее, в жизнь, влюбленность.

А потом всё пошло навалом.

Таня сообщила, что беременна.

Сидела на кухне, плакала, пила пиво и кричала, что это он виноват.

— Мы же береглись, — сказал он.

— Забыл, как несколько раз меня уговаривал без этого? — кричала она.

— Ты сама сказала, что у тебя такой период, что можно, — сказал он.

— А кто у нас мужчина, кто думать должен! — кричала она.

— Только аборт не надо делать, — сказал он.

— А я и не могу, я схохну из-за него, у меня гемоглобин плохой, врачи сказали, и вообще какие-то косяки в организме! — кричала она.

— У тебя будет ребенок, — сказал он, — радуйся.

— Внебрачный, ага, спасибо, — кричала она.

— Давай регистрируемся, — сказал он. — И перестань пить пиво, если ты беременная.

— Регистрируемся, конечно, — кричала она. — Без свадьбы, как не знаю кто!

— Можно со свадьбой, — сказал он.

— Хорошо я буду с тобой смотреться, тоже жених! — кричала она.

Кое-как успокоилась и объявила: не надо никаких регистраций и вообще ничего от тебя не надо, рожу сама себе ребенка и буду с ним жить.

Ничего, подумал Песцов, когда дойдет до родов, она не захочет быть одна. Он помнил, насколько его прежним женам в этих случаях важна была поддержка. А женщины в инстинктах материнства, к счастью, похожи.

Неожиданно позвонила Катя. Предложила зайти и кое-что прояснить.

Оказалось, была проверка, в документации Песцова нашли нестыковки, его подозревают в злоупотреблениях.

— Екатерина Викторовна, вы же знаете, что все так работают! — сказал Песцов.

— Речь о вас, а не обо всех!

Разговор состоялся при коллективе. Коллектив сидел, нахолившись, уткнувшись в компьютеры. По тону Кати,

по громкости ее голоса, по тому, как она в ходе разговора постукивала ладонью по столу, отбивая такт своей гневной речи, Песцов понял, что Катя сильно изменилась. Чувствует себя уверенной, сильной начальницей и в этом купается.

Песцов кинулся за разъяснениями и возможной помощью к Михайличеву.

— Я в курсе, — сказал он. — Я тоже попал под раздачу. Знаешь, а она ведь и меня съест. Аппетит у девочки разыгрался.

— Сочувствую, но мне что делать? Она на уголовное дело намекает.

— Вопрос в финансах, — сказал Михайличев. — Ведь имел же ты бонусы, не будешь же отрицать.

— Все имели! Ты мне сам их в конвертах давал!

— Володя, чтобы ты не страдал неизвестностью, давай я озвучу реальную стоимость цены вопроса. То есть сумму, которую если ты внесешь, от тебя отстанут в покое, если не навсегда, то в обозримой будущей перспективе. — Михайличев, когда хотел придать своим словам особый вес, изъяснялся усложненно, а от этого косноязычно.

— Ну, озвучь.

Михайличев озвучил.

Цена вопроса оказалась, будто нарочно, ровнехонько такой, сколько стоила квартира. Конечно, у Песцова были и живые деньги, но на них надо жить с Таней, с них надо платить алименты прежним семьям. Что же, продавать квартиру?

— Если нет других ресурсов, то да, — сказал Михайличев. — Это лучше, чем срок получить, пусть даже условный. С условным ты уже и бизнеса никакого не построишь, и права подписи на документах не будет, то есть нормальной должности не займешь. Ты этого хочешь?

Песцов рассказал всё Тане.

— Этого еще не хватало, ты у меня еще и вор! Все строители воры, я так и знала!

— Я не вор, — сказал Песцов.

— Да мне пофиг! — кричала Таня. — Куда я денусь с ребенком, когда рожу?

— Снимем жилье, — сказал Песцов. — На это денег пока хватит.

И он, страдая, но крепясь, продал свою любимицу, свою квартиру, где всё было идеально, всё подлажено под него. Правда, в последние месяцы Таня нарушала порядок — грязная посуда на кухне, разбросанная одежда, валяющаяся там и сям косметика, но Песцов быстро всё прибирал и восстанавливал.

Квартира ушла сразу же: новый дом, вид на Волгу, отличное состояние. Сняли двушку в том же районе, вполне приличную, но без ремонта. Линолеумные потертые полы, сероватый обшелушенный потолок, на стенах обои в цветочек, прямоугольные большие пятна там, где стояла мебель и висели ковры. На ремонт Песцов тратить опасался.

В марте его уволили из коммунальной компании под предлогом оптимизации штатов. Он походил по разным организациям и фирмам, но везде получил отказ. Словно кто-то всех предупредил: этого человека не брать. И Песцов догадывался, кто за всем стоит. Поражался женской мстительности. Но к Кате объясняться не пошел, предвидел, что ничем хорошим не кончится. Не исключено, что он сорвется и наговорит ей лишнего: нервы стали пошаливать, прежняя равновесность сошла на нет. Даже Чехова не мог читать, тот травил душу напоминанием о прежней счастливой жизни.

В конце апреля Таня родила немного недоношенную девочку.

Матерью она оказалась никудышной, да еще молоко у нее быстро кончилось, что, однако, ее не огорчило. Наоборот — одной заботой меньше. Песцов покупал подгузники, смеси, присыпки, соски, бутылочки, термометры, пеленки-распашонки, взял всё на себя, вставал к Олечке ночью, купал ее, целуя в заднюшку и с удивлением видя, как брезгливо морщится Таня, наблюдая за этим.

Песцов сумел пристроиться штукатуром в небольшую фирму по ремонту квартир. Руководитель фирмы быстро понял, с кем имеет дело, сказал, что хочет поставить Песцова прорабом.

— Только не надо этого нигде записывать, пусть я значусь штукатуром.

— Не бойся, я твою ситуацию знаю. Будешь прорабом как бы подпольно.

— Откуда знаете?

— Город маленький, все всё знают.

Став прорабом, Песцов вынужден был сбрить усы и бородку, потому что и подчиненные рабочие-ремонтники, и оптовики на строительных рынках, с которыми он имел дело, и заказчики, видя в нем слишком культурного человека, пытались надуть чуть ли не в открытую. После бритья открылись угловатые скулы, линии рта выглядели тверже, от одного этого отношение сразу изменилось. Да и Песцов изменился, начал говорить с ироничной грубоватостью, давая понять, что всех видит насквозь, не стеснялся и выругаться матом, когда надо.

Таня допускала его к себе редко. Ее прежний темперамент куда-то исчез. Видимо, ее саму это беспокоило, она пыталась себя искусственно разогреть, показать прежнюю прыть, получалось плохо, она злилась и упрекала Песцова в неумелости.



- Чего ты хочешь, скажи? — виновато спрашивал он.
- Мужчина сам догадываться должен!
- Ну не догадываюсь, тупой.
- С чем и поздравляю!

Прошло полтора года с тех пор, как Песцов уехал из Москвы. Периодически позванивал прежним женам, общался с Данилой и Никитой, которые становились день ото дня заметно разумнее и этим радовали отцовское сердце, и с Ларочкой, говорившей всё бойчее и складнее и этим умилявшей Песцова до влаги в глазах.

В начале ноября он простудился, но была срочная и выгодная работа, поэтому на ночь наглотался лекарств, напился чаю с медом и лимоном, утром отправился на объект, но к обеду почувствовал, что совсем плох — пот, озноб, сердцебиение. Поехал домой. Дверь была заперта изнутри на засов, он позвонил. Таня открыла не сразу, сказала:

— Не слышала, в туалете была. А ко мне одноклассник Витя заглянул.

В квартире влажно пахло терпким мужским и сладковатым женским потом, густым алкогольным духом, да еще добавлялся запах замоченного для стирки детского белья.

Песцов слил из пластикового корытца воду, отнес белье на кухню, засунул в стиральную машину.

— Хоть это могла сделать? — спросил Таню.

— Ты видишь, ко мне человек зашел?

Песцов распрямился и посмотрел на человека. Короткая стрижка, как у всех у них сейчас, робко-нагловатые глаза, кожа лица облепляет продолговатый череп, да и сам худ — вряд ли оттого, что мало ест, скорее, много пьет.

## Алексей Слаповский

— Виктор! — представился человек с широкой улыбкой рубахи-парня, который нравится всему свету и не представляет, что может быть иначе.

— Ушел отсюда, — приказал Песцов.

— Что-то вы как-то невежливо! Мы сидим, беседуем, пьем пиво, в чем проблема?

На столе стояла двухлитровая пластиковая бутылка дешевого пива. Песцов взял ее, завинтил крышкой и сунул в руки Виктору:

— Ушел, я сказал. Или помочь?

— Володя, чего ты, в самом деле? — спросила Таня.

И по этому ее почти заискивающему голосу Песцов всё понял.

— Валялась с ним? — спросил он, глядя ей в глаза.

Таня попыталась ответить прямым и честным взглядом, но не получилось, вильнула глазами.

— Если вы так резонно ставите вопрос... — завел было Виктор, и эта его вежливость в сочетании с неотесанным дворовым голосом, не привыкшим выговаривать подобные слова, окончательно убедила Песцова в его догадках насчет происшедшего между Таней и одноклассником.

Он взял Виктора за ворот, рванул, поволок к выходу.

— Я щас отвечу кому-то! — кричал парень, но ответить не успел, был вышвырнут за дверь.

Песцов хотел добавить вслед ногой, но, жаль, не дотянулся.

Вернулся, сел за стол. Молчал.

— Володь, честное слово... — забормотала Таня.

— Я сейчас лягу спать, я заболел, — сказал Песцов. — А ты развесь белье, когда постирается, приберись в кухне, вымой посуду. И сама вымойся, от тебя псиной пахнет! Молодая ведь женщина!

Таня тут же воспрянула, зацепившись за возможность активной защиты.

— Нам не нравится? — иронично пропела она. — Раньше всё нравилось, а теперь я уже плохая? Так будь здоров, прощай, никто не держит!

— Замолчи!

— Ты меня достал, Песцов! Ты мне дышать не даешь, понял? Ты меня нормальной жизни лишил! Да другая вообще бы давала всем направо и налево, а я, как дура, боюсь лишний раз друзей позвать!

Песцов ударил ее по щеке.

Таня тут же, словно ждала этого, схватила тарелку и кинула в него. Тарелка ударилась о голову, отскочила и разбилась о батарею.

Песцов пощупал пальцами: кровь. Пошел в ванную, залепил рану пластырем.

И лег спать.

Когда проснулся, не было ни Тани, ни Олечки.

Он догадался: уехала к матери.

Позвонил по домашнему телефону, мать сказала, что Татьяна просит не беспокоить. Что она никогда не вернется. И что вообще всё. Сказано было громко и ясно, как под диктовку. А потом, после долгой паузы (наверное, отошла куда-то с трубкой), заговорила быстрым шепотом:

— Володя, приезжайте, она сама не знает, что творит! Я так рада была, когда она с вами стала жить, ребенка родила, а теперь не знаю, что будет!

Песцов поехал.

Таня закрылась с Олечкой в своей комнате. То есть условно своей — там еще помещался и младший брат, а мать и ее новый сожитель занимали вторую, то есть первую, она же гостиная, она же и проходная.

## Алексей Славовский

Не стесняясь матери и сожителя, Песцов заговорил с Таней через дверь.

— Хватит дурить, поехали домой! Как ты с ребенком тут жить будешь?

— Вот именно! — поддержала мать, осмелевшая в присутствии Песцова.

Таня не отвечала.

Песцов еще что-то говорил, стучал, молча стоял, давая Тане возможность подумать. Опять стучал и говорил.

Таня наконец подала голос:

— Сейчас милицию вызову!

— А милиции давно нет! Полиция давно же! — захихикал сожитель, узкоплечий мужичок в тренировочных штанах с белыми лампасами.

Уговорить не удалось, Песцов уехал.

Каждый день звонил или приезжал. Она не брала трубку и не открывала дверь.

Через неделю вернулась.

— Тут тоска, а там вообще слохнешь, — сказала она. — Давай, что ли, выпьем за перемирие?

Что ж, выпили.

И Песцов сказал Тане, что любит ее несмотря ни на что. И всегда будет любить. И всё ей простит, если только, конечно, она будет с ним жить и не будет приглашать одноклассников в его отсутствие.

— Мне сейчас очень плохо, Таня, но я всё равно счастлив, — сказал он.

Таня серьезно слушала, пила, не пьянея. На все его речи ответила так:

— Жалко мне тебя, Володя. Я тебе всю жизнь испорчу. Всё, что ты мне говоришь, ничего этого я тебе не обещаю. Даже врать не буду. Я пришла, потому что деваться некуда.

— Ладно, — сказал Песцов. И повторил: — Ладно, пусть пока так.

— Да не пока, а вообще!

— Хорошо.

Песцов на всё был согласен, лишь бы она успокоилась и осталась.

Искупал Олечку, одел во всё чистое, покормил, уложил спать.

С виноватым лицом лег возле Тани, которая благоухала не только спиртным, но и духами.

— Помнишь, ты сказал, что от меня псиной пахнет? — повернулась к нему Таня. — Никогда не прощу!

— Мало ли что со зла...

— Женщины такого не прощают, понял? Лучше бы ты меня назвал... — и она перечислила все похабные по звучанию и смыслу слова, которыми называют изменяющих, нечестных, коварных женщин. — Лучше бы это. А ты меня с собакой сравнил, с животным. Ты меня унизил.

— Прости. Я же так не думал, я просто...

— Всё, молчи! Иди ко мне, несчастный.

#### 4.

Прошло три года.

В город приехал представитель государственного архитектурного надзора Бармин, мужчина предпенсионного возраста.

## Алексей Слаповский

ста, истомленный командировками и хронической язвой. Его встретили на вокзале, отвезли на стройку. Там Бармина ждал человек, лицо которого показалось ему знакомым. Он вопросительно вглядывался, а человек шел навстречу, улыбаясь и протягивая руку:

— Я это, я, Дмитрий Васильевич! Песцов Владимир!

— Точно! Надо же, не узнал, а ведь лет десять вместе работали! И не сказать, что ты очень изменился. Кем тут подвизаешься?

— Временно управляющий. Но уже полгода, могут и оставить.

—хлопотное дело. Ну, веди, прогуляемся для проформы.

Песцов повел. Показывал и рассказывал.

Бармин смотрел и слушал рассеянно — то ли о чем-то своем думал, то ли что-то вспоминал.

Оглядывая очередное помещение, сказал:

— А о тебе, знаешь, такие слухи ходили странные. Что будто ты бомжом стал. Или, извини, в проститутку влюбился.

— За проститутку обижусь, Дмитрий Васильевич! Если интересно, могу рассказать.

И, отослав сопровождающих, Песцов рассказал свою историю.

— Да, — задумчиво подытожил Бармин. — Чего только не бывает. А бывший управляющий, Михайлов, кажется...

— Михайличев.

— Да. Он где? Здоровый такой был мужчина, я помню, Илья такой Муромец.

— Умер. Шел по лестнице, как мы с вами идем, остановился, ухватился за перила, сполз — и всё. Острая сердечная недостаточность. Скоропостижно.

— Вот так вот! — сказал Бармин, невольно убирая руку с перил. Сказал с тем странным чувством удовлетворения, какое возникает у нас при известии о смерти успешного, нестарого и внешне здорового человека. — Вот так вот! Живешь и не подозреваешь ничего, а оно тебя ждет!

— Мне кажется, он подозревал. Или предчувствовал.

— Что-то говорил?

— Ну... косвенно...

— А кто тебя позвал на его место?

— Жена его. Очень влиятельная женщина. Ценит меня, уважает.

Бармин усмехнулся и глянул на Песцова лукаво, желая взглянуть проницательным:

— Может, ты от Михайличева не только строительство в наследство принял?

Песцов ответил серьезно, показывая этим, что не считает шутку удачной:

— Христос с вами, Дмитрий Васильевич, у меня второй ребенок на подходе. То есть пятый, если общим числом.

— От этой самой, про которую ты рассказывал?

— От кого же еще? От Тани, да. Донашивает уже. Сын будет. Я им по вечерам Чехова читаю. Не поверите, он беспокойный, шепуршится всё время, пихается, а слушает Чехова — и замирает. Представляете?

Бармин хмыкнул. Всё было достоверно в словах Песцова, но Бармину казалось, что чего-то главного он не понял.

— А эта, которая тебя терроризировала, дочка начальника, она что, простила тебя?

— Уехала в Москву, вышла замуж. Недавно приезжала, зашла ко мне — не домой, конечно, на стройку.

— Прощения попросила?

— Нет. Просто поговорили о том о сем. Зачем приходи-  
ла, неясно. Женщины!

— Да, с ними всё сложно.

Они обошли всё, что полагалось, чтобы соблюсти при-  
личия и регламент, Бармин придрался к некоторым мело-  
чам, но в целом остался доволен.

— Интересно, — сказал он многозначительно, будто на  
что-то намекал, — а сколько тут квартиры стоят?

Они посмотрели друг на друга и рассмеялись.

Однако в поезде Бармин ехал с чувством странного раздра-  
жения, будто мусорок какой-то завелся в душе, обычно  
упорядоченной и чистоплотной. Он сходил в вагон-ресто-  
ран, купил бутылку коньяку, вернулся в свой СВ, предло-  
жил попутчику, тот отказался. Бармин выпивал один, то  
и дело наливая — понемногу, на доньшко стакана, показы-  
вая этим соседу и себе, что он не пьянствует, а отдыхает.  
И всё же охмелел и начал говорить что-то такое о жизни, не  
касаясь личного: он не любил, когда люди сплетничают  
о себе. Смысл его речей сводился к тому, что вот одни жи-  
вут нормально, исполняют все обязательства перед обще-  
ством и Богом, у кого он есть, но при этом имеют совесть  
и за всё переживают, а другие шарахаются то туда то сюда,  
оставляя после себя обломки чужих жизней, и совесть их  
абсолютно не мучает, только посмеиваются, ничего святого  
у них нет, всё им с рук сходит. Разве это справедливо?

Сосед поддакивал, кивал, равномерно проводя пальцем  
по дисплею планшета, что-то там пролистывая и просмо-  
тривая.



# Михаил Кузнецов

## Мне не страшно

### 1.

За ночь изба выстыла. Митя запалил дрова, уложил рядом с печью бушлат, а поверх него одеяло. Потом он подошел к кровати, сел на край и тронул жену за плечо.

— Дай постель сменить, — сказал он ей.

Ольга, очнувшись, округлила глаза. Поднялась на локти.

— Андрюша. Голодный!

— Кормленный Андрюша. Спит.

Ольга нервно взглянула на люльку, в которой тихо и ровно дышал младенец. Тревога ее ушла, грудь успокоилась. Митя легко подхватил жену и перенес на одеяло у печи. Потом он свернул в ком мокрую простыню, обтер ею клеенку и швырнул к выходу.

— Ты в церкви был? — спросила Ольга с пола.

## Михаил Кузнецов

— Какая церковь? Солнце еще не встало.

— Я думала, уж вечер.

— Думала... Ванька подвезти обещал. Проснется он, тогда и поедем.

— Это хорошо. Мне уж сильно плохо, Митя.

— Всё успеем. Не трави.

Ей было не видно его лица и как оно скривилось от ее слов. Она видела только спину и широко раскинутые руки, расправляющие белье.

Митя отнес жену в постель, передел в чистое и крепко укутал.

— Таблеток купить не забудь. Только зеленых, а не тех... И смесей для Андрюши. Да надо крестик еще, но возьми не шибко дешевый.

— Всё знаю.

— То-то хорошо, что на машине. И отца Георгия привезете. Пехом бы он не пошел. — Ольга схватилась за бок, сжала губы.

— Живо спи!

Митя поднял бушлат и вышел на улицу. Было темно и сухо. Низко светила луна, пылили сугробы. Митя валенками смел легкий снег с тропинки, присел у собачьей будки. Из конуры высунулась острая морда.

— На кого же ты лаяла всю ночь? В деревне пусто. Или жрать хошь?.. А-ай, ну тебя!

Митя вернулся к крыльцу, достал сигарету и долго прикуривал на ветру. Потом увидел, что в соседнем доме горит окно, спрятал курево обратно и поспешил на свет.

Ему открыла бабка, завернутая с головой в рыхлый полушубок. Она испуганно подняла брови.

— Митя! Заходи шустрой.

## Мне не страшно

Прошли в темные сени, Митя снял шапку с лысой, трескучей своей головы.

— Ты что в рань таку? С Ольгой что? — спросила бабка, шаря рукой у сердца.

— Не-е-е... — протянул он и улыбнулся этому.

— Напугал, дурень! Я думала, с Ольгой что...

— Всё так же.

Старушка спустила на плечи полушубок и поморщилась от лампы. В доме было жарко, даже угарно.

— Чаю давай?

— Не буду я.

— А что тоды рыщешь тут?

— Баб Вера, я это... Посиди с Андрюшей. Ваня меня с утра в церкву свезет.

— И ты с им поедешь? Он же запивши со вчера.

— Как?

— Обычно как.

— И-и-ы...

— Откуда у него, не знаю. Водка отобрана была. Где-то нашел...

Митя хотел сплюнуть, да проглотил. Начал топтаться на половике.

— Тащи сына ко мне, а сам пешком дуй, — приказала ему бабка. — Только я у вас сидеть не буду. Ольга больно стонет, не могу с ей рядом.

Не раздеваясь, Митя вошел в свой дом, подкинул в печку долгих дров, сунул в карман приготовленные деньги и рецепт. Постоял с минуту, глядя на пламя, и разбудил Андрюшу.

2.

Митя брел по деревне и шевелил на губах холодную сигарету.

Дойдя до Ваниной избы, рядом с которой стояла замеченная «Волга», Митя сбавил шаг, отломил от капота снежную корку и запустил ею в мутное оконце. Снаряд угодил по наличнику, отскочил в стекло. Окно засияло медью, и в проблеске этом отлилось такое же медное лицо.

— Что? — сипло крикнул Ваня через стекло.

Митя показал что.

Через минуту дверь отворилась, и на улицу высунулась Ванина голова.

— У нас же планы были, помнишь? — спросил его Митя. Ваня вяло ударил себя по лбу.

— Что ж ты опять, а? Ключи давай! Сам поеду.

— Не. Не заведешь. Аккумулятор сдох насмерть... Лыжи хошь возьми.

— Я тебе эти лыжи сейчас!

Ваня чудом успел захлопнуть дверь до того, как Митя подлетел к порогу.

— Спичек хоть дай, — попросил Митя, понапрасну дергая ручку.

— Бить не будешь?

— Да когда я тебя бил, трепач?

Хрустнули петли, из дверной щели кисло пахнуло брагой и потом.

— Вот тебе зажигалку в подарок. Не бесись.

— Чтоб вечером трезвый был! — сказал Митя, прикурив.

— Какого числа? Нужно заглянуть в деловой журнал.

Митя отвесил Ване скользкий щелбан и зашагал прочь.

## Мне не страшно

— Митю-ю-нь, — догнал его хриплый голос. — Купи в магазине пузырек? Всё равно мимо будешь. Бабка-то мои запасы увела.

Митя обернулся и зашипел, весь пунцовый от курева и злости. Ваня качался в желтом дверном проеме, растирал лоб и жалко глядел ему вслед.

— Сволочь ты, Ванечка, заповедная.

И Митя сплюнул, что накопилось. До Окулова было двенадцать километров.

### 3.

Митя шел, весь в своих мыслях. Он считал деньги, сколько у него есть, хватит ли на лекарства и на такси, чтоб свезти в деревню батюшку. Думал с беспокойством, возьмется ли кто ехать по нечищенной дороге и станет дожидаться до потемок. А когда мысли кончились, на Митю навалилась глухая предрассветная тьма.

Он обходил перелесок, из которого еще не ушла ночь. Чудились в чаще шорохи и мелькания, будто кто блуждал меж деревьями, то отпуская, то обгоняя Митю. И живот его холодел. А если Митя напряженно замирал, еще несколько секунд слышал рядом чьи-то шаги. Он не оборачивался на звуки, уверенный, что, обернувшись, увидит страшное.

Через минуту, успокаивал себя Митя, заскользят по насту первые пугливые лучи, а потом вспыхнет за лесом солнце. Сделается мигом светло, и шагать будет веселей. И он запел громкую песню про белую птицу, про объятия юной невесты и берега, на которых никогда не бывал.

## Михаил Кузнецов

Он подходил уже к селу и любовался, как красно блещет на заре купол церкви, когда вспомнил, что забыл покормить собаку, а еще отдать бабке любимый Андриюшин паровоз, который он будет требовать, вспомнил, что надо было наносить в баню воды. А потом Митя подумал об Ольге и заспешил.

### 4.

У церкви было пять главок и трехъярусная колокольня с острым шпилем. На боковые главки были нанизаны чешуйчатые луковицы, а над ними возносился центральный купол с пышным крестом.

Митя отряхнул бушлат, постучал валенками и, перекрестившись, вошел. Внутри было приятно пусто. Только в притворе у церковной лавки дежурила матушка, худая и длинная, как свеча.

— Утро доброе, — сказал Митя шепотом. — Можно мне отца Георгия?

— Нету его.

— А где ж он?

— Во дворе поищите.

Митя подошел к лавке, в которой отливали маслом иконы.

— Мне крестик нужен.

— Вот кресты. Все освященные.

Митя принялся разглядывать крестики и распрямился, когда заметил, как тает и капает с него на прилавок.

— Для ребенка.

— Здесь алюминиевые, здесь серебро.

— А золото?

## Мне не страшно

— Маленьких нету. Разве что вот...

Матушка достала из угла крестик весь в тонких и частых витках. Митя посмотрел на него с удовольствием и возбуждением, а когда крестик заплясал перед его лицом, закусил в улыбке нижнюю губу.

— И сколько? — спросил он.

— Тыща семьсот. Еще вот книжку возьмите, в ней молитвы и всё, что надо знать для крещения.

Митя свел брови, поворошил намокшие деньги.

— Оставьте пока, — сказал он и вышел во двор.

## 5.

За поленницей, сложенной в стог, Митя уловил движение. Он поклонился издалека, дождался, что отец Георгий кивнет ему в ответ, потом подошел к поленнице, согнул руку и принялся нагружать ее дровами.

— Как хорошо, что я вас застал, батюшка. Здравствуйте!

— Здравствуй, — ответил ему священник, выпрямившись и замерев. Лицо его было молодо, но торжественно-спокойно, борода расчесана и пышна, блестела от талого инея, он добро смотрел на Митю, без вопроса, без удивления.

— У меня к вам важное дело.

Поленья противно бились друг об друга, и от стука этого отец Георгий нервно помаргивал.

— Мне нужно вас в деревню.

«Гук!»

— Сына покрестить!

«Гук!.. Гук!»

— Оля просит. Счастье для нее будет большое.

## Михаил Кузнецов

Отец Георгий молчал. Складывать дрова у него выходило бесшумно.

— Она больная у меня!

С каждым новым поленом Митя клонился назад, и плечи его проседали. Он положил еще одно, подпер его подбородком и наконец утих.

— Пошли, — сказал священник.

Они направились к церкви и встали у небольшой пристройки со сплюснутым крыльцом и двумя стрелчатými окошками. Из крыши ее торчала труба.

Митя выпрямил руки, согнувшись как можно ниже, чтобы дрова при падении не издали шума, но мерзлая древесина так звонко ударилась о приступок, что отец Георгий содрогнулся, втянув мощную шею. Он кинул на Митю сумрачный взгляд и отпер со скрипом железную дверь. Стряхнув с рукавов цепкую стружку, Митя последовал внутрь. В комнате была обустроена кухня: к стене между окнами подвинут широкий стол, в углу, над пластиковой этажеркой, заполненной химией и тряпками, нависала мойка, а у стены была сложена печь.

— Присядь пока, — сказал отец Георгий, — хоть вон на табурет.

Митя сел, куда указали.

— Ну что, батюшка? Едете со мной?

Отец Георгий вымыл руки, повязал шитый из плотной армейской саржи фартук и присыпал стол мукой. Из-под стола он достал кастрюлю, покрытую полотенцем, минуту решал, куда это полотенце деть, и, ничего не придумав, закинул его на плечо. Потом он перевернул кастрюлю, и на стол неохотно вытекла сероватая масса, послышался липкий запах теста. Митя глядел то на руки, то на лицо священника. И движения его под Митиным требующим взглядом



были неточны и суетны. Вязкое тесто приставало к скалке, и он сыпал всё больше и больше муки.

— Я такси оплачу. К обеду уж воротитесь. Едем?

Перевалившись через стол, отец Георгий подхватил с подоконника жестяную форму, какой обычно вырезают печенье, вынул с ее помощью из теста два валика и щелчком откинул их в сторону.

— Вот так, — сказал он, передавая форму Мите. — Продолжай.

А сам вышел на улицу.

Митя сел напротив окна, в котором он наблюдал темную фигуру. Священник спустился по ступенькам и побрел опять к поленнице. Ленивый долгий шаг его мимо голубых сугробов, мимо скамейки, тоже голубой, поднимал в Митиной груди нетерпеливый зуд. Митя со злобой высекал прыгающие по столу шашки, пока не кончилось тесто, а потом, войдя в дело, размял оставшиеся обрезки и еще трижды ударил формой.

Прошло время, и они вновь сидели рядом. Трещала печь. Теперь Мите был выдан деревянный штампель, которым он мял вырезанные заготовки. Отец Георгий проделывал ту же работу, только его штампель на донце имел литой рисунок. Подолгу удерживая пресс в сыром тесте, он получал тонкий оттиск: в середине его выступал крестик, рядом с ним летали буквы со странными крючками, а по кругу этого поля шел узкий ободок со словами, прочитать из которых Митя смог только знакомое «мира». Прощтампованные заготовки отец Георгий укладывал поверх Митиных пустых, предварительно смочив их водой, чтобы лучше срослись.

— Аккуратные просвирки получились, — похвалил священник, глядя на полный противень. Он, шуря глаза, поправил огонь и поместил их в печь.

## Михаил Кузнецов

— Рассказывай. Вот теперь рассказывай, — вернулся он к Мите.

И Митя рассказал всё. Про Ольгу и про Андрюшу. О том, как скорбно ему. Что из помощниц только бабка Вера, но и ей нынче тяжко, потому что Ванька, внук ее, пьет без меры, но Мите и его жаль. Он всё говорил и говорил, а отец Георгий смотрел на него неподвижно и грустно. А когда Митя расплакался и выпачкал, утираясь, лицо мукой, отец Георгий протянул ему полотенце, висевшее на плече.

### 6.

— Ну-ну. Хватит.

И Митя закивал, соглашаясь и чувствуя, как отмякает его злоба. Он полно вдохнул и спросил теплым мирным тоном:

— Так поедете, батюшка?

— Так скоро крестить не получится, — ответил ему отец Георгий.

— Когда же?

— Сперва приведешь крестных родителей. Нужна подготовка. Матушка проводит огласительные беседы вечером, в пятницу и в воскресенье. Как получают справку, что были на обеих, явишься сам. Причастишься. После и поговорим.

— А без того никак? Ванька — он всё знает, он алтарником был. А мы, говорю, далеко, в Сонницах...

Запахло хлебом. Митя вспомнил, что в желудке его второй день было пусто.

— Такие правила.

— Не поедете, значит?

## Мне не страшно

Отец Георгий мельком взглянул на Митю, затряс тяжелой, львиной своей головой.

— Пока всё не сделаешь, крестить не положено, — сказал он.

— Да там всего-то надо!

— Кому надо? Тебе надо?!

Митя свел горячие свои кулаки и, упершись ими в стол, поднялся над священником грозной темной волной.

— Этот храм такие же строили, — бубнил отец Георгий, заводясь. — Им тоже надо было. А что натворили? Притвор узок, алтарь — на юге! Колокольня, и та нарощечная... Понимать надо помимо намерения. Готовиться!

Митя застегнул бушлат, натянул на глаза мокрую шапку.

— А то всё им надо. Им!.. — не унимался священник. Он тоже хотел встать, сжался остро в локтях и коленях.

— Просвиры горят, — сказал Митя и поспешил наружу.

По двору не пошел, зная, что будут следить за ним из окон. Двинулся напрямик к воротам. Утопал в снегу, ломая руками наст. А когда был уже за оградой, то взглянул еще раз на паперть, на притвор с иконой, на колокольню без колокола. Постоял, кусая щеки. И вернулся. Не крестясь, вошел опять в церковь.

## 7.

Издали виднелись Сонницы и три дымных столба над ними. Еще держался свет на западе, за лесом, и этот дым в закате был лилово-розовый, и избы сверкали окнами.

Митя вспомнил, как впервые вошел тогда в еще полную и живую деревню, и это был душный июльский вечер. Игра-

ла гитара, и у дороги на чурках сидели парни. Курили, громко и неровно пели. Только Ваня был трезв, молчалив и серьезен. Он заметил Митю и пошел к нему с объятиями. И когда гитарист сбил последние ноты, Митя достал водку, и они выпили за знакомство. Подошли еще ребята, расстегнутые, с мокрыми зализанными волосами. Только из бани, они глубоко и свободно дышали, им тоже хотелось гулять и петь. Все стали упрашивать Ваню открыть клуб. «Вы же вести себя не можете прилично», — сказал он и пошел за ключами.

Нетерпеливо допили водку и потянулись роем вдоль пустых дворов. Кричал пьяным веселым криком: «Девчонки! Идемте танцевать!» — и на окнах домов отодвигались шторы. Ваня подхватил Митю под локоть, оторвал от толпы, чтоб не увлекался.

В клубе они растолкали скамейки, настроили магнитофон. Заиграла музыка. Митя да еще трое ребят пошли курить в кинобудку. Появился самогон. Входили и выходили местные. Они жали руки, громко спрашивали Митю про город, хлопали его по плечу. А когда Митя вернулся в зал, в кругу уже танцевали девушки. Они метко поглядывали в его сторону и всякий раз, встряхнув волосами, отводили взгляд.

А потом Митя спросил у Вани, что это за красавица в зеленом платье и есть ли у красавицы парень. И так обрадовался, что никто с ней не гуляет, что не запомнил даже имени.

— Ольга.

— Как?

— Оля! — повторила она ему на ухо в медленном танце.

Он склонился специально, как глухой, и ждал еще голоса, и разглядывал ее тонкую ключицу. А потом приглашал снова и снова. И всё теснее были они с каждым разом.

На быстрых песнях Митя выходил на улицу или в кинобудку, пил самогонку с парнями и кивал каждому из них, а сам прислушивался к следующей мелодии. И после нового танца Митя взял Ольгу за руку и повел гулять. Они свернули к омуту и сели на вросший в берег камень. Митя гладил ее загорелую шею, а потом поцеловал в бугорок за ушком. Ольга поежилась, будто от холода, и по плечу ее пробежали мурашки. Но через секунду она резко обернулась, оттолкнула без силы Митю, а хитрые глаза ее уже выбрали путь. «Не догонишь, гуляка!» — закричала она и побежала с шорохом по траве. Митя метнулся следом. Он сразу понял, что скоро догонит Ольгу и так кончит игру, поэтому перешел на шаг. Если она оборачивалась, задыхаясь от смеха, он делал вид, что бежит, но не поспевает, а если замирала вдруг, засмотревшись на звезды, Митя тоже запрокидывался назад и чувствовал, как от смелой радости кружится голова. А когда они уже зашли далеко и за спиной осталась только темнота, Митя сделал несколько быстрых шагов и притянул Ольгу к себе.

Он вспомнил, как оказались они на дороге, пили черную воду из колодца, остывая и заглядывая друг другу в глаза. И Митя сказал, глупость сказал, что хочет увезти ее с собой, жениться и подарить всю жизнь. Ольга отняла от колен промокший в росе подол и больше не поднимала взгляда. «Врешь всё», — сказала она с печалью и лаской, развернулась и пошла к дому. Митя почувствовал тут же, как слаб перед ней, и ноги его загудели, точно от страха высоты. Он думал лишь о том, как хочется ему стать сильнее. Для нее!

Потупившись от воспоминаний, Митя оглядел с холма Сонницы, но уже другим, изменившимся взглядом, он

## Михаил Кузнецов

вновь, точно десять лет назад, ощутил, как заполняет и щекочет его живой упрямый поток воли и сил.

— Отстань от нас! — крикнул он в мрачающий ельник за спиной. — Не взять тебе!

Снял рукавицы и промыл снегом золотистый крестик на ладони.

### 8.

К заходу он был дома.

Ваня, серокожий, мятый, с бурой щетиной, встретил его у калитки. Он бросил с треском лопату, снял шапку и обтер дымящуюся шею.

— Митюнь, прости меня, — сказал он, шмыгнув носом. — Бабы съели! Завели свое: не повез, пропил Митю нашего! Он, поди, окошел по пути. А что с тобой будет?

Двор был чист, в Ваниных ногах вился сытый пес. Митя заглянул в теплое окошко, там он увидел Ольгу, рядом с ней на табурете сидела баба Вера, качала на кулаках свою беззубую улыбку, а по паласу меж ними с паровозом в руках крутился Андрюша.

— Ты хоть Символ веры еще помнишь? — спросил Митя.

— Издеваешься?

— Да кто тебя знает...

— Ве-ру-ю во еди-и-инаго Бога Отца, Вседержителя! — заорал Ваня так, что пес отскочил в страхе.

— Тогда согрей воды в бане. И побыстрей.

Митя постучал в окно. На него обернулись удивленно-приветливо. А когда вошел в избу один, без священника, Ольга только молча кивнула.

## Мне не страшно

— Вот тебе лекарства, — сказал Митя.

Он бросил их на кровать и стоял дальше под общее молчание.

— Я, пожалуй, пойду, — заспешила баба Вера.

Митя поднял руку.

— Останься. Андрюшу сейчас крестить будем.

Ольга с вопросом посмотрела на мужа. Она едва сдерживала улыбку.

— Ну, славно! Славно, — хлопнула в ладоши старушка. — Надо приодеться!

И когда они остались вдвоем, Митя, заметив растерянность Ольги, спросил у нее:

— Ты чего такая?

— Думаю, какой Андрюша красивый! — ответила она. — Десять лет, да больше, мы ждали, Мить. Это я свою жизнь, верно, отдала, чтобы он у нас появился.

— Да что же ты снова?

— Ладно, Митя, ладно. Не буду. Какой красивый он у нас, правда, посмотри!

Андрюша, запутавшись в половике, толкался ножками о скользкий пол и беспомощно кряхтел. Он изогнулся и, увидев, что родители не идут на помощь, принялся плакать. Митя поднял его, усадил на холодные колени и смял носом мягкое ушко.

## 9.

Всё было готово. В жестяной кадке посреди комнаты колыхалась вода, у края ее зажжены были свечи, и у женщин в руках было по одной. Ваня держал раздетого Андрюшу,

## Михаил Кузнецов

беззвучно шевелил на губах молитву. Митя открыл книгу, купленную в лавке. Он читал плохо, часто сбивался. Потом книгу взял Ваня и вернулся к началу.

— Господу помолимся!

Все перекрестились. Андрюша с весельем принялся драть страницы.

Ваня читал так гладко, что все опустили глаза, будто были в церкви. Ольга сидела в кресле и незаметно плакала. В позе ее, мягком наклоне головы и долгим жалеющим взгляде Мите виделось сходство с иконой, висевшей в углу. Он подошел к ней и положил руку на плечо. Гремела молитва, в стеклянной черноте окон мигали острые огоньки. Никогда еще Митя не чувствовал такой усталости, какая напала на него в тот миг.

Наконец, Ваня прочитал Символ веры, который повторяли все, и встал у купели.

— Крещается раб Божий Андрей во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь.

Трижды он окунул Андрюшу в воду. Вынырнув в третий раз и набрав, наконец, полную грудь воздуха, Андрюша разразился визгом.

Его обернули белой, согретой на печи простынкой. Надели крест. Поцеловали по очереди кричащего ребенка и стали расходиться.

— Я провожу, — сказал Митя.

Митя вышел в настуженные сени и увидел распахнутую дверь, а на улице Ваню. Он стоял спиной, уронив на грудь взлохмаченную голову. Фуфайка упала с плеча и валялась в его ногах.

— Ты чего, кум?



## Мне не страшно

Митя нащупал под крыльцом водку. Подошел к Ване и отдал ему бутылку.

— Я ведь... ведь живу, Митя, — сказал Ваня осевшим голосом. — Неправильно живу. Все орут, что не годится так, а мне хоть бы хны. Можно подумать, сам про себя не знаю.

Он помолчал, выдыхая под ноги дым и косо поглядывая вслед бабе Вере.

— Я всю жизнь чувствовал, будто виноват перед кем-то. Но не перед этими крикунами, чтоб их! Да и не перед собой. А сегодня вот, кажется, нашел, перед кем.

Ваня широко улыбался.

## 10.

Митя сел на пол напротив Андрюши, помял мягкие ручки и ножки его. Мальчик смеялся, взбрыкивал, поджимал их, как птица. Митя поцеловал теплый крестик и обнял колени жены.

Уснули быстро. И эта ночь не походила на предыдущие, когда сон был лишь подобием сна, когда его будили стоны, всхлипы и собачий вой. Он проснулся посреди ночи оттого, что в печи рассыпались головешки. И в этом странном спокойствии, в непривычной той тишине ему сделалось не по себе. Митя навис над Ольгой. Он вглядывался в ее неподвижное лицо и не видел, что она дышит.

— Оля?

Ольга не отвечала.

— Оля. Оля, — всё громче шептал Митя.

Он обвел взглядом комнату и синие окна. Не стоял ли кто в них? Никто не стоял. Митя сел, его глаза не моргали.

## Михаил Кузнецов

Он слышал, как стучит внутри сердце и свистит на выдохе воздух, и больше ничего.

— Не страшно... — сказала Ольга, потянувшись сквозь сон.

Митя сомкнул веки, чтоб остановить хлынувшие слезы.

— Мне не страшно! — опять произнесла она.

Ольга повернулась, прижалась к нему всем телом. И среди этого счастья Митя будто был главным.

— Мне не страшно, — повторял он как заклинание и еще долго не мог заснуть.

# Лев Оборин

## Движение по прямой

\* \* \*

Снова чисто звучит  
натуральный ряд  
над детской площадкой.

Колеблет качели —  
один, два, три, —  
пронизает рабицу,  
форсирует профнастил.

Улетает от точки, где детский голос  
пропускает тринадцать,  
между тем как тринадцать шагов от столба —  
и забор,  
тринадцать — и озеро,

## Лев Оборин

тринадцать — и лес,  
куда все побежали прятаться,

а четвертая сторона —  
не занятая ничем,  
магистраль для чисел,  
уходящих искать:

никогда ничего не найдут,  
ни во что не упрутся,  
пройдут вереницей  
сквозь просторные дебри  
оставленных стройплощадок.

\* \* \*

*Ф.А.Б.*

Движение по прямой,  
движение по прямой  
кто шел от себя из дома  
приходит к себе домой.

Движение по прямой  
вращающимся волчком,  
движение по прямой  
линзированным пучком.

Движение по прямой  
сквозь толщу неразберих

## Движение по прямой

движение по прямой  
решающее лабиринт.

Поверх снеговых теней,  
летающих под фонарем  
и падающих в его  
оранжевый водоем.

Касаясь лучом лицом  
пограничных и серых зон  
где запрещенный ход  
оказывается разрешен.

Движение по прямой,  
натянутая струна,  
пронзающая волокно  
гранатового зерна.

Вскипающий разговор  
в белеющей чашке дня  
и мир, отраженный в нем  
вихристая западня

Но всё нанесенное пеной  
стряхнуть и прийти домой

во всех пузырьках вселенной,  
где пение  
теснит немоту и теснит терпение  
рождает сложность простого движения

движения по прямой

# Евгения Костинская

## Совы на руках

Видимо, слишком многие косят. Иначе не ясно, почему в день возвращения брата из армии не дают отгул. Работать всё равно невозможно. Отпуск брать? Так ведь точный день никогда не знаешь. И вдруг пишет. Буду послезавтра, поезд в десять утра, Курский вокзал.

С девяти утра на работе, неужели уже сегодня? Увижу? Живого. Дома. Непривычная мысль. Дома? Наш Лёша будет дома. Если сейчас девять, то он уже едет по Подмосквовью. Так близко. Я вожу мышкой, хаотично открываю и закрываю файлы, листаю почту. Открываю письма. И ни черта не понимаю, что там. Почти десять. Пишу ему sms: «Где ты?». «Мы приехали, пока на вокзале, ждем поезда Димона в 12». Он уже здесь и не мчится домой, ждет поезд какого-то Димона.

— Женя, посчитай проект в Мытищах, до трех надо отправить. С тобой всё в порядке? — начальник смотрит, ждет

ответа. Что на это ответить? Со мной? Не совсем, наверное, в порядке.

— Да, посчитаю, конечно, — но он всё смотрит. Черт возьми. — У меня брат сегодня из армии возвращается.

Это неудобно говорить вслух. И нечестно так скромно сказать: «брат возвращается». Потому что если честно, то только кричать, прыгать. Со словами: «Лёша вернулся! С целой головой, руками, ногами!» Я даже точно не знаю, как он сейчас выглядит. По скайпу звонил, конечно, последнее время даже часто, но всё равно это не то.

— Да что ты переживаешь? Считай, он в пионерском лагере побывал, придет небось окрепший, здоровенный. — Начальник улыбается своей шутке, а может, он и не шутит. Я уже ничего не понимаю. «Тебя бы, обезьяна лакированная, в такой лагерь отправить на недельку хотя бы, в Дагестане в карауле постоять», — но вслух не решаюсь.

— Окрепший, да, наверное.

Ни один год не казался таким бесконечным, зацикленным на себе. Он начался двенадцать месяцев назад, в первых числах декабря. И вот кончился? За обедом коллеги обсуждают приближающийся корпоратив. Кто в чем пойдет. Будет дресс-код. А утром на конференции, что же, в вечернем платье сидеть? Нет, придется переодеваться. В прошлом году все брали по два туалета. Ха-ха! Какое слово смешное, все смеются. Мама только после химии, обычно лежит несколько дней, не вставая. А тут стала готовить. Оливье, конечно. Он уже должен быть дома. Два часа. «Как обстановка?» — пишу маме sms. «Лёша дома».

Московский декабрь — это смех какой-то. Снега нет, осень кончилась, зиме начинаться лень. Дует нещадно. Асфальт колючий, обуглившийся. Земля обветренная. Дере-

вья ободранные. Пустой воздух. Без звуков. Как среди декораций бегу домой.

Подъезд как будто обычный. Лестница короткая. Пятый этаж. С площадки уже слышна музыка, голоса. Дверь не заперта. Сколько народу. Спины защитного цвета. Оборачивается.

Мама, рядом прислонившись к стене, смотрит на меня: «Веришь? Вернулся».

Пьют, пьянеют больше от еды, чем от выпивки, поют песни, поминают, переглядываясь. Я сижу в кресле, спиной к балкону. Лёха подходит, обнимает. Уходит. Они звонят кому-то, кто еще в пути. Звонят тем, у кого дембель через пару дней. Смеются. Фотографируются. Горячатся. Рассказывают байки, перебивают друг друга. Иногда осекаются и продолжают невпопад. Лёха просит мать принести из кухни хлеб — кончился. Он еще не понимает, как ей плохо. Что должна лежать. В кадр она попадать стесняется, большая повязка на шее, немного примятый парик. На одном снимке ее видно, размытую, отворачивающуюся, счастливую. Что подумал, когда увидел ее забинтованную шею? Наверное, ничего не понял.

Гости разъезжаются. Пьяные от гражданки, ошалевшие от внезапной свободы. Еще связанные одной ротой и бог его знает чем еще.

Ночью стоит и смотрит на нашу с ним комнату, в которой больше нет нашей двухъярусной кровати. Я — старшая сестра и сплю, конечно, на верхней «полке». Брата иногда пускаю к себе, чтоб завидовать не забывал. Мы деремся, лежа каждый на своем ярусе, болтаем до утра, лазим друг к другу, замираем, если мама идет по коридору, и притво-



ряемся спящими, когда открывается дверь. Опускаю руку, стучу пальцами, Лёха дергает и без меня не засыпает. По стенам качаются тени деревьев от школьного фонаря, кажется, они скрипят; близко над головой по крыше ходят голуби. Нижняя «полка» треснула, когда оставалось полтора месяца до возвращения. Кровать разобрали. Поставили диван.

Ему теперь спать на узком раскладном папашинном кресле в зале. Оно врастает в ковер тяжелой шерстяной накидкой, под которой скрыта его суть — золотого цвета бархатистая обивка с выдавленными узорчатыми цветами. Когда отец много лет назад принес его с мебельного рынка, мать ахнула. Как он мог такое купить? Золотое кресло-кровать. Выбирал с коллегой, наверное, богато смотрелось. Под шерстяной шкурой, покрывающей его теперь с ног до головы, желтизны не видно, только благородная монолитность, слияние с комнатой. Облизывающее тепло. Мама радовалась, когда нашла такую накидку, превращающую его в серо-черный сугроб. А других сугробов в Москве и не бывает. Были когда-то давно, в Подмосковье. Когда все вчетвером выходили ковры зимой выбивать. Два больших полена, перегнутые на плече отца. Закрученные, как в мультфильме про Аладдина. Ковры расстилались на снегу, подальше от дома. Сначала переворачивались жестким нутром вверх. Отец ходил по ним, потом лупил выбивалкой. Не спеша. От одного края до другого, в каждом углу. Потом переворачивал, а снизу оказывался серый кашляющий прямоугольник. Не трогайте, идите в чистые сугробы! Когда еще так пошлют добровольно. Надо пользоваться. Уронишь Лёху, и давай его валять, пока родители заняты. Брат красный, мокрые волосы выбились из-под шапки-ушанки. Я старше и тяже-

лее. Он барахтается подо мной, отворачивая лицо. Женя, встань с него! Встаю, убегаю. Несется за мной, сбивает с ног, мстит. Скомканные льдышки попадают за шиворот. Обжигают и водой затекают. Поджимаешь голову, чтобы струйку остановить. Душно под шубой, потно, и вдруг проникает чужеродный холод. Вокруг сугробы, белые, высокие, податливые.

Мать помогает отцу припорошить тяжелые узоры, ошалевшие от холода. Выбивалка с кручеными лопастями прыгает ритмично в руках. Что-то повалило, швырнуло в сугроб, Лёша рядом погрузился с радостным воплем. Мама смеется и не спеша убегает от недолетающих белых комьев. Висим вдвоем на ней, хватаем за руки, за ноги, но повалить не можем. Болтаемся и загребаем полные валенки снега.

В «Икее» сидит ошарашенный. Все улыбаются, вежливые. Идет сосиску покупать. Ест и не верит. Нет команд, никуда не спешим. Можем сидеть просто так. Вокруг люди. Они суетятся, покупают полки, тарелки, ссорятся из-за формы чайных ложек. Золотое отцовское заменяем икеевским. Ни отца, ни кресла давно не жаль. На нет и суда нет.

Лёша с мамой сидят в новеньком кресле, на другом конце комнаты, обнявшись. Балкон мутно светится за спинами последним вечерним молоком. Сонные скомканные снежинки иногда мелькают зигзагами, приближаясь к окну. Комната наполняется синими и белыми частицами. Знаете такие? Когда воздух распадается на крупники — белые, серые, фиолетовые, — раскладывается на молекулы. И они как взвесь парят, наполняя комнату. Сумерки как наступа-

ют? Медленно из стакана выливается раствор, просачиваясь сквозь занавески, заполняя всё вокруг. Всё больше, больше, гуще. Корпускулярная структура света — вся перед вами, и одновременно волновая. Сначала эти атомы у ног, незаметно колышутся узором ковра. Испаряются, быстро доходят до горла, и ты захлебываешься, незаметно тонешь. Пиксели выходят на первый план, мигают, нужно сосредоточиться, чтобы обратно вернуть комнате, пианино, лицам четкие границы.

В сумерках его лицо расплывается, и только угадывается непривычное ему самому умиротворение, от которого за год отвык. Мама рядом. Волны их спокойствия докатываются и до меня. Волосы на ее голове — седоватым ежиком. Домашним, доверчивым. В руках игрушечная сова из «Икеи», которая надевается на кисть и оживает — для кукольного театра. И у брата такая.

Лёшина сова, покачиваясь уверенной походкой, замирает перед маминой.

— Барышня, можно с вами познакомиться?

— Ой, это так неожиданно, — застыв в созерцании (непременно стоя на краю набережной, едва дотрагиваясь до поручней и смотря на морскую вечную гладь).

— Чего же здесь неожиданного, молодой человек хочет познакомиться с девушкой?

— Знакомьтесь, пожалуйста. Какая у вас форма красивая!

— Да что вы. Разве это — красивая? Вот у нас в части расшивали, дембельки делали, медали за службу на Кавказе прикалывали, — Лёшина сова машет крылом и делает несколько шагов вдоль набережной на краю кресла.

— Так разве расшитая форма благороднее становится от того, что расшита?

## Совы на руках

— Не становится, вы правы. Я рад, что вы так считаете, а то я начал думать, может, это здорово — приехать со службы — нарядный! Франт!

— Да, и город будет в подарок? — мамина сова смотрит внимательно.

— Откуда вы знаете это выражение? Слышали уже, да?

— Слышала. Вы тоже ждете город в подарок?

— Нет, не жду. А может, и жду, пока непонятно, — вечер беззвучно накатывает волнами и шумит бризом.

— Какой вы таинственный. Мне никогда вас не понять, ведь вы в армии служили.

— Да нет там ничего, чего понять нельзя.

— Нет, есть! Вы и сами знаете, просто из скромности молчите.

— Какая вы понимающая девушка, не часто такую встретишь.

— Ах, ну что вы! Вы мне льстите.

— Нисколько. Вы выйдете за меня замуж?

— Конечно, с удовольствием. У моей подруги сын служил, и все так переживали. А теперь гордятся.

— Чем же тут гордиться? — сова пританцовывает, двигаясь в такт одной ей слышимой песне.

— «В этой жизни отслужить не ново, но косить, конечно, не новей!» — это из их переписки.

— Я догадался, из чьей это переписки, — в квартире совсем темно. Разноцветные частицы слились в плотный наливной вечер, с узором ковра на дне.

# Мария Степанова

## Золотое зеркало

\* \* \*

Как на блошином рынке тряпку счастливу,  
Вдруг себя обнаружишь — ах, хороша!  
То растянусь, то сожмусь я аккордеоном,  
То побегу, то рыдаю — умею всё!  
И разлетишься, не зная, чем бы потрафить,  
Схватишь — роняешь, сядешь — и снова вскочишь,  
Да и стоишь, как царский дуб за решеткой,  
Ах, междустрастья в сладостном промежутке.

## Мария Степанова

\* \* \*

(Полчаса пешком)

Как когда в ныряющем стекле  
Показался самый первый глетчер,  
Весь автобус, как на амбразурах,  
У окна, и дышим полуртом,  
И показывают, показывают,  
То справа, то слева, то снова,  
Неутомимую белизну.  
И стыдно, но слезы просыпались,  
Так пешком, восстанавливая дыхание,  
Постепенно выпрямляясь и спеша,  
Открываю незапамятные форточки,  
Выметаю невидимую пыль.  
Встанешь во тьме, как вечером на даче,  
Слушаешь время, слушаешь кровь.  
И всё, что было, только о-е-а-е,  
Книжка-раскраска, ну и что.  
Крутится-вертится шар голубой,  
Крутится-вертится над головой,  
Крутится-вертится, хочет упасть,  
Не умолкай, не умолкаю.

\* \* \*

Каждая тварь в нашей округе  
— Цветочна, древесна, кустова —  
Стоит на ноге, в ледяной подпруге,

## Золотое зеркало

И выхода ждет простова.  
Сирень набирается пороху  
И крупного синего праха,  
И низко проносится — по руку —  
Дыхание смертного страха.  
Ива стоит растопыра,  
Разбитая, как корыто:  
Раззява и простодыра,  
Но крестиками покрыта.  
Вся дворовая ботаника  
Числится переселенцем,  
Просит нелишнего пряника,  
Спит под одним полотенцем.  
Воздуха мало-мало,  
Синь горяча, как сыпь.  
...И как упоительно пахнет бензином, мама!  
И как удвоительно пахнет бензином, сын.

\* \* \*

Вот она, весна, и всё шелушится,  
Умывается, умиляется, копошится.

Колоба-коробочки, щёки картошки,  
Белень-зелень, мусор и крошки.  
Наступает апрель и колется мелкими  
Полуголыми стрелками,  
Всё мелкими расчерчено — райда-райда,  
Всё зеленым наперчено, рада? Рада.

## Мария Степанова

Птички  
снесли яички.  
Мухи  
нагрели брюхи.  
Пробегают сугулые молодухи,  
крещены и в воде, и в Духе.

Будем яйца красить,  
полы-углы пидорасить.  
Будем, как те полёвки —  
изюмчатые поклёвки, сладчайшие башни пасхи,  
булочки, сыр, обновки.

Это всё будет у нас перекроено,  
вынуто, выделено, устроено.  
Там, где надо, утроено, чтобы хор.  
Там, где надо, немой и прямой пробор.  
Будем жить-поживать, как Маша с медведем.  
Здесь поставим кровать.  
Никуда не уедем.

Это мне говорила  
Маша, егда курила.  
А сигарету бросит —  
Пойдет и меня не спросит.



## Золотое зеркало

\* \* \*

Утреннее солнце восходит утром —  
Столько соблазнительных вероятий!  
Что же ты, девка, ходишь по квартире,  
Тапками стуча, пятки печатая?  
Что тебе, голубка моя лебедка?  
Поворотись-ка, сними последнее,  
В золотое зеркало полюбуйся,  
Это и то вперед выдвигая.  
И чу! Я слышу глухое биенье.  
Тепло бокам и шея удлинилась.  
Ноги не радуют, но белым перьям  
Многие подруги позавидуют.  
Достаточно сделать движенье крылом —  
В животе ухаает; паркет остался  
Далеко внизу; родные, простите,  
Пишите мне до востребования.  
— Бессмертная, навеки бессмертна я,  
Стиксу не быть для меня преградой!

# Александра Шевелева

## Шопен

### I отделение

На золотом табурете перед роялем сидела женщина с громкими руками в блестящем костюме, по которому бегала искра. За ней возвышался фисташковый занавес-тяжеловес. А сам поднос сцены был отставлен подальше от слушателей, как блюдце с эклерами от детей. Так в тот день выглядела музыка.

Катю можно узнать по пушистой голове. Она сидит вон там — в восьмом ряду между близнецами Ксюшей и Тосей. По знаку зодиака Катя Близнецы. «Близнецов на самом деле трое, а не двое, и никто, кроме меня, не знает», — думает она. По краям от Ксюши и Тоси сидят их женихи и держат невест за руки: Сева еще чешет нос, а Денис уже позевывает.

Звуки обнимают, целуют в молодые носы, щеки, губы и лбы. «Какой, наверное, чудесный человек был этот ваш

Шопен. Он будто берет их за руки, подпрыгивает в проходе, и кружит, и хохочет. А потом подводит свою невесту Марию Водзиньскую, знакомит и сразу же улетает куда-то с нею».

Пианистка всегда играет в одном и том же концертном костюме: блестящий жакет и гипюровая юбка в черную складку. Кажется, что так пианистка и родилась, и живет: ходит в блестках и гипюре в придомный магазин за консервированным горошком и сливочным маслом, возит рассаду в электричке, моет концертными руками чашки и картофелины, подметает полы, заткнув гипюровый шлейф высоко за пояс. А вот на сцену выходит конферансье — неустойчивая тяжелая женщина на малюсеньких каблучках. Она объявляет следующий опус и пропадает в мягкой складке кулис.

Еще никто не знает, что этой ночью у Кати был гость. (Сейчас она сама не выдержит и расскажет всё Ксюше.) Они познакомились на празднике фармацевтического журнала. Его глаза глядели задорно сквозь стекла очков, как личики детей из окон поезда, едущего на море. «А это Костя, он у нас король вакцин», — Катя улыбнулась, посматривая под стол — не повернуты ли его ботинки к ней? Увидела, что повернуты. Гости рассыпались в другие комнаты отламывать ножки винным бокалам, а они остались с Костей, почему-то остались.

Звуки набегают волной на руки пианистки, но она, видно, тоже не промах: ловит их сильными пальцами, а потом отбрасывает назад, к черной лаковой крышке. Между левым и правым регистром чувствуются какие-то недоговорки и даже противоречия. Иногда звуки закатываются в углы клавиатуры, а пианистка вынимает их по одному и собирает обратно. Непростая работа.

Они тогда с Костей смутились друг другу и побежали искать спрятавшихся по кабинетам коллег. Выбежали на улицу, примкнули к курящим, хохотали и горлопанили, вспоминая одну французскую песню: «Ну как же там? Люа-де-ля-мэзон-же-пансэ-а-туа!» Пели всю ночь, а потом, когда под утро зашли в американский дайнер на Покровке, Костя притих и заснул, не переставая что-то жевать. (Раньше она видела такое только у младенцев и знала, что если сейчас отобрать еду и вынуть сосок изо рта, младенец проснется.)

Катя хотела попрощаться перед домом, но он взялся проводить ее до подъезда. Почти обманом проскользнул в ее игрушечную квартиру с кукольной кухней и балконом, на котором до этого помещались только циркуль и два карандаша. (Надо ему объяснить, что для улыбки, целого мужчины и пачки сигарет всё это и вовсе не предназначено.) Балкон перечеркивал их пятью мокрыми бельевыми веревками, на которых темнели детские носки, зацепившись флажками. Потом Катя залезла с ногами на кухонный подоконник, а Костя сидел около ее колен и гладил руки.

Звуков нападало так много, что они вот-вот подберутся к слуховым окошкам. Табуреточка вырастает до табурета, рояль грохочет чугунной рамой, форбаумом и вирбельбанком, наезжая золочеными колесиками на слушателей нулевого ряда, шетиня латунные винты и обрушивая свою черную лаковую ярость в проходы. И тут женщина-конферансье, которая вдруг тоже стала большой и величественной, как консерваторская люстра, отпускает уцелевших в буфет. Можно передохнуть.

«Ну, так что было дальше?» — шепчет Ксюша.

## II отделение

Тра-га-ти-га-тара-ти-га-та-га-ти-татра-та-га.

Смирные зрители снова подставили голову под дождь из звуков и просветов тишины. Тишина иногда падает тяжелее звуков. Что будет дальше? Хочется, чтобы ее быстрее прекратили, просвет покрасили, дали надежду, что еще не конец, что-то обязательно еще случится, с нами обязательно свяжутся, заговорят, объяснят. Что была эта тишина? Бессилие? Неодушевленность? Последний выдох? Согласие? Или вдох?

В субботу утром у Кати были дела, но перед ней до сих пор сидит Костя, и все сотейники и тарелки вокруг уверены, что сейчас что-то обязательно должно случиться. «Сейчас произойдет что-то важное, чему нельзя помешать», — думает про себя пароварка и молчит. Катю всегда восхищала вот эта сила мужской дерзости — вот так вот взять и сломать просвет и тишину между людьми, уничтожить привычное, перевернуть и обескуражить — подойти совсем близко, прижать к себе и поцеловать.

Зал наконец зашелся хлопками. К сцене побежали букеты, спотыкаясь о ковровые дорожки. Гром нарастает, нарастает, сходясь в единую волну. «Бра-во! Бра-во!» — хлопают все, даже маленькие кашлеши́ из последнего ряда. Аплодисменты переваливаются с задних рядов на передние, потом возвращаются опять куда-то вверх, к люстре.

Что это значит? На ее диване как ни в чем не бывало лежит мужчина, и приходится делать вид, что всё это так и надо — в порядке вещей. Будто бы с ней каждую пятницу случается что-то такое. Еще вчера же его не было. Откуда он вообще

## Шопен

взялся? Вот же он — настоящий. Теплый и электрический. Что он о ней подумает? Она не вымыла полы, у нее грязная посуда, одежда висит на всех вертикальных плоскостях. А он лежит — поперек кровати — гладкий и хрупкий, как новенькая лампочка. У него горячая спина, руки, ноги, он улыбается, когда она трется об его плечо, и не хочет ничего знать: позвонит он? Нужна она ему? Они вообще увидятся? Хорошо выглядит сейчас ее тело? Можно ее руке еще немного полежать там, где она сейчас лежит? Не слишком ли громко она кричит?

Костя лежит на соседней подушке, а от створки платяного шкафа рикошетит луч света. Проедет трамвай, и шкаф задребезжит, как шкатулка с кольцами. Где-то там уже идет на работу новый день, а они скулят и удивляются другдruheй радости. И, может быть, они уже пропускают самое интересное — или это они — самое интересное этого дня.

## Яна Вагнер

# Один нормальный день

У нее были славные круглые грудки, совсем коричневые от загара, тонкие голенастые ноги, острые коленки, маленькие пальцы, растопыренные по изнанке кожаных сандалий, и выпуклый детский живот, как у пластмассовой куклы. Она сняла с себя майку сразу, как только вылезла из машины: стянула ее через голову и не глядя бросила назад, на сиденье, и тут же застыла, подставив солнцу пустые ладони и запрокинутое лицо. Остальные еще деловито хлопали дверцами, перекрикивались, тащили из багажника тяжело звякающие пакеты и сумки; полуторачасовая дорога из душного города еще продолжалась для всех, кроме нее, потому что дорога не заканчивается до тех пор, пока бутылки не перекочат в морозильник, мясо не скуксится под наспех устроенным маринадом и сумка с вещами, пусть даже неразобранная, не будет брошена поверх чужой кровати. Мир устроен так, что даже двухдневную вылазку за город облагает обязательным налогом, паузой, необходимой для

перезагрузки: прежде чем перейти к отдыху, нужно выкурить первую сигарету, оглядеться, выдохнуть, сказать хозяевам какую-нибудь вежливую ерунду. А для девочки — через покрытое утренней испариной оконное стекло Рогову показалось, что лет ей вряд ли больше двадцати, — этих условностей словно и не существовало. Ей было очевидно плевать на сумки, бутылки и неизбежную процедуру знакомства. Она выбралась из автомобиля и в ту же секунду оставила позади дачные пробки и вялую дорожную скуку, отделилась, оторвалась и перепрыгнула через глупые тормозящие ритуалы. Он и заметил-то ее не из-за снятой майки, под которой к тому же обнаружился скучный верх спортивного купальника, словно и в этом вопросе она не готова была допустить никаких проволочек, а именно благодаря ее явному нежеланию терять время. С недавних пор в роговской системе приоритетов у времени конкурентов не осталось. Девочка была молодец.

Выходить из дома и встречать приехавших показалось ему лишним; отчасти — из-за примера незнакомой девочки в кожаных сандалиях, отчасти — из упрямого протеста против их вторжения. Не надо было их пускать, подумал он со слабым раздражением, наблюдая через кухонное окно, как они дурашливо прыгают по двору, закрывают ворота и тормозят свою застывшую спутницу; или, по крайней мере, нужно было сказать ему, чтобы приехал один, кому нужен этот детский сад на выезде?

Мальчик позвонил вчера в неудачный момент. Рогов старался, чтобы моментов этих было как можно меньше, и, как ему казалось, уже достиг в этом определенных успехов, но в любой стратегии рано или поздно находились слабые места. Вчерашний план действий дал сбой, и когда расчи-



рикался телефон, он нарушил правило и снял трубку, а сделав это, выяснил, что в самом деле рад услышать человеческий голос. Пап, сказал мальчик, ну ты как там? Слушай, пап, сказал он потом, не дождавшись ответа, а ничего, если мы с ребятами заедем на выходные? Давай, Ванька, ответил Рогов сразу же, хрипло и с благодарностью, и пожалел о сказанном почти в ту же секунду, и продолжал жалеть до сих пор. Чтобы как-то уравновесить напрасную свою вчерашнюю уступку, он мстительно рассмотрел в утреннем зеркале свое заросшее седоватой щетиной лицо и бриться не стал, как не стал и вытряхивать пепельницы или мыть скопившуюся за пару дней посуду. Когда лягнула тяжелая входная дверь, а в прихожей послышались голоса, Бобкин радостный визг и цокот когтей, Рогов вспомнил, что вчера глупый пес опять нажрался травы и оставил на коричневой плитке белесую лужицу со смятыми изжеванными стебельками, и почувствовал все-таки что-то похожее на раскаяние. Уж собачью блевотину точно можно было убрать.

Как всегда, Боб принял на себя неловкость первых минут, когда незнакомые люди появляются на пороге. Выглянув в коридор, Рогов уперся взглядом в две пары аккуратных девчачьих ягодиц и поверх умильного писка и восторженных Бобкиных прыжков кивнул сыну с безопасного расстояния, поздоровался, не приближаясь. И Ванька, нагруженный сумками, послал ему с порога обычную свою осторожную улыбку, а за спиной у него — и за эту непреодолимую сейчас дистанцию Рогов тоже был благодарен двум присевшим на корточки девочкам и скачущему сеттеру — топорщился ненавистный и вечный Ванькин друг, щекастый Дима Гордеев, вскинувший руку в нелепом римском приветствии. Рогов досадливо повернулся и шагнул назад,

в гостиную, хлопая себя по карманам, пытаясь нашарить сигареты. Не надо было, черт, не надо было их приглашать.

Четыре с лишним недели он провел один на один с дружелюбным бестолковым псом, звенящей летней подмосковной тишиной, наполненной сверчковым стрёкотом и ночным жабым треском. При всем желании он не мог бы признать эти жаркие недели прожитыми зря, потому что неожиданно обнаружил, что наедине с самим собой и глупой собакой почти не чувствует паники, какую непременно нагнали бы на него люди, которых он двадцать лет звал своими друзьями. Панику впускать было нельзя. Паника всё бы испортила.

Первая же затяжка наполнила рот неприятной горечью. Хотя бы кофе стоило сварить, сказал он себе с негаснущим раздражением и по пути к кофеварке неожиданно подумал о женщине, приходившейся матерью мальчику, звенящему сейчас бутылками в прихожей; она ненавидела эту его привычку курить до завтрака, и чтобы не расстраивать ее, он долго, несколько лет подряд, через силу по утрам заталкивал в себя еду, хотя никогда, сколько себя помнил, не чувствовал голода раньше полудня. Со временем кому-то из них — кому? — надоел этот утомительный ритуал: то ли она устала о нем беспокоиться, то ли он перестал бояться ее расстроить, и с дурацкой пищевой прелюдией, предшествующей первой утренней сигарете, оказалось покончено задолго до того, как они перестали вместе спать и делать вид, что всё еще любят друг друга. Спустя десять, кажется, лет после развода эта лицемерка закурила сама и дымила теперь безо всяких ограничений; во время их (нечастых) телефонных разговоров то и дело слышались щелчки зажигалки и знакомые любому курильщику паузы между словами.

## Один нормальный день

И на балкон ведь не выходишь, я же слышу, не выходишь ни на какой балкон, возмущался он, и она, смеясь, отвечала — отстань, Рогов, женщина в моем возрасте может позволить себе хотя бы один полноценный порок. Теперь, на расстоянии, ему и правда казалось, что пороков у нее было не так уж и много.

В слегка запыхавшемся жерле кофеварки обнаружилась полная чашка остывшего кофе с осевшей сморщенной пеной. Он попытался вспомнить, когда именно последний раз подходил к кофеварке — вчера? два дня назад? — и не вспомнил. Выплеснул маслянистую жижу в раковину — на белых чашкиных бортах осталась противная жирная полоса — и почувствовал легкий приступ тошноты. С аппетитом последнее время не очень складывалось, желание что-нибудь съесть или выпить сделалось непрочным, летучим и пропадало из-за любой ерунды. С кофе, похоже, в этот раз ничего не выйдет, подумал он безрадостно, а жаль. Голова была тяжелая, веки щипало, и впереди маячил длинный день в компании жизнерадостных малолеток. Спал он накануне плохо и мало. Сразу после полуночи разразилась первая за бог знает сколько безвоздушных летних ночей прекрасная, яростная гроза, и вместо сна он несколько часов просидел под распахнутым настежь окном, глядя в чернильное фиолетовое небо и жадно слушая, как дождь сильно, волнами бьется в металлические скаты крыши, чувствуя кожей, как он плюется сквозь открытую раму острыми ледяными брызгами, вдыхая рвущийся снаружи густой запах мокрой земли.

Неприятный Гордеев, успевший уже где-то разоблачиться и являвший теперь взорам расплывшийся торс с тугим выпирающим животом — когда он успел так разочараться,

ему же и тридцати еще нет? — возник в проеме между гостиной и кухней, виляя бедрами и фальшиво насвистывая арию заморского гостя. На голове у него раскачивалось пластиковое ведерко магазинного шашлыка, которое он придерживал одной рукой, как индийская красавица с кувшином. Добравшись до Рогова, он обрушился на одно колено и, стащив со своей плоской макушки тяжеленное ведро, простер его к Рогову, вытянув руки.

— Куда его, Михалыч? — спросил он фамильярно.

— В помойку? — предложил Рогов с удовольствием. Даже сквозь мутный пластик видно было, что шашлык тошнотворен. — Пять килограммов свиного жира в уксусе, малыш, — это вещь совершенно несъедобная. Этим даже жалко пачкать шампуры.

Гордеев на «малыша» не обиделся. Поднявшись на ноги с необычной для толстяка легкостью, он озабоченно взглянул на ведро и сообщил после некоторой паузы:

— Ты понимаешь, Михалыч, собирались как-то впопыхах.

— Я говорил ему, пап, что ты не одобришь, — весело сказал Ванька, но, обернувшись, Рогов увидел, что улыбка у него напряженная, почти виноватая, и ругнул себя. Мог ведь раз в жизни и притвориться, конечно, мог бы. Всё равно ему, похоже, удастся заставить себя проглотить разве что кусок или два.

А еще можно было бы протянуть руку и похлопать сына по плечу. Взъерошить замысловато стриженные светлые волосы — красит он их, что ли? Даже в детстве они были у него темнее, чем сейчас. Но шумный Гордеев уже снова пыхтел и возился, отколупывая запаянную шашлычную крышку, бормоча «ну подрезать же можно... отсортировать там... не

всё же жир». Крышка с тихим хлопком отстала, в воздухе разлился резкий уксусный смрад, и тогда Рогов, стараясь не дышать носом, сказал:

— Ну вот что. Вы давайте приберитесь пока, посуду там помойте. Девчонок своих устройте. А я на рынок.

— Девчонки — не наши, — вдруг хищно сказал Гордеев и раздул ноздри. — Они пока такие сами по себе девчонки. Но мы их устроим! — пообещал он, воодушевляясь с каждым словом, и вывинтился из кухни.

— Глупо вышло с мясом, — расстроено сказал Ваня, когда они остались одни.

Да ладно, хотел сказать Рогов, к черту мясо. Плевать на мясо.

— Магазиновый шашлык безнадежен, — сказал он вместо этого. — Не вздумайте Боба им кормить, пока меня не будет. Уши оторву.

Мальчик свесил голову, и Рогов, обходя его, все-таки поднял ладонь и осторожно опустил ее на широкое теплое плечо и несильно сжал.

Солнце ударило его по глазам, обожгло незащищенную роговицу и безжалостно воткнулось в кожу, и он покрылся противным липким потом мгновенно, не успев пройти и десятка шагов. Откуда-то из недр дома слышалось зловещее гордеевское уханье и визг очевидно устраиваемых девчонок. Нагнувшись, он взялся за ручку подъемных гаражных ворот, и на металлический шелест сработавших пружин из-за угла торопливо вылетел Боб и немедленно принялся деловито путаться под ногами. Ну еще бы, сказал ему Рогов, без тебя-то как. Залезай, но чтобы я тебя не слышал. Всё подальше от этого смертоносного шашлыка.

## Яна Вагнер

— Чумовая у вас машина, — сказала девочка в сандалиях, когда они с Бобом выкатились из гаражной тьмы на солнце. — Я люблю, когда без крыши.

Майки на ней по-прежнему не было. Она стояла, прислонившись голой спиной к шероховатой стенке гаража, и ему вдруг пришло в голову, что она всё это время была здесь, а он просто ее не заметил, и почему-то почувствовал неловкость, как будто его застали за каким-то не вполне приличным занятием. И потею еще, как свинья, подумал он и ответил — быстро, чтобы поскорее заполнить паузу:

— Это «Рэнглер». Во Вторую мировую был такой легкий американский внедорожник — «Виллис», страшно популярный. А когда война закончилась, ребятам жалко стало отправлять идею в утиль, и они его приспособили...

Пока он говорил, она, рассеянно улыбаясь, дернула на себя пассажирскую дверь и уселась рядом, не поинтересовавшись даже, куда именно он собрался, так что и ему показалось бессмысленным перебивать самого себя затем лишь, чтобы сказать пару слов о зловонной уксусной свинине, и они просто поехали — сначала за ворота, а затем по зажатой между нестриженными кустами проселочной дороге. Боб с широченной улыбкой на рыжей долгоносой морде млея на узком заднем сиденье и ловил щеками встречный ветер. Выехав из деревни, Рогов поддал, наконец, газу и слегка повернулся к ней:

— В общем, за шестьдесят лет тут от «Виллиса» осталось немного.

— Двигатель по-прежнему слабоват, — сказала она вдруг и посмотрела ему прямо в глаза. Радужка у нее была неопределенного цвета, то ли светло-каряя, то ли, черт побери, даже какая-то желтая, а ресницы черные и густые, как ба-

хрома на бархатном платье. — Два и восемь литра, — сказала она задумчиво и серьезно, — мало для двухтонной машины. Есть еще три и шесть, но только в бензиновом варианте, а вы же дизель любите почему-то.

Рогов не удивился. Вот, значит, как, подумал он, искоса взглянув на ее бесстрастное лицо, и опять перевел взгляд на дорогу, и только тогда она засмеялась — хорошо, чисто и положила маленькую темную ладонь на рукав его влажной рубашки.

— Это Ваня. Полдороги выносил нам мозг этим вашим «Ранглером». Я ни слова почти не поняла из того, что сейчас сказала. У меня просто память хорошая.

Дорога вильнула, взмахнула последними высокими деревьями, и впереди показались ободранные вагончики деревенского рынка. Съезжая к обочине, Рогов обнаружил, что улыбается. Мучившая его с утра злость растворялась, как кусок сахара в кипятке.

Пока большая смуглая продавщица легкими, скупыми взмахами остро заточенного топора рубила для него баранью ногу на деревянном прилавке, он отступил на шаг и выглянул в проход между жмущимися друг к другу палатками, чтобы увидеть свою припаркованную машину и девочку, уговаривающую негодующего Боба не орать. Она стояла на коленях на переднем сиденье, развернувшись к псу лицом, и держала его за ошейник, а потом посмотрела на Рогова и подняла в воздух сложенные колечком пальцы — о'кей, порядок, всё под контролем. Спит с ней Ванька или не спит? Не может быть, чтобы Гордеев. Этот идиот нес еще что-то про «девчонки сами по себе». Нет, точно не Гордеев.

— Готово, мой хороший, — нежно сказала продавщица и без усилия, одной рукой сняла с весов увесистый пакет. —

На девятьсот пятьдесят рублей. Давно тебя не было, я думала, уехал.

— Спасибо, Наилечка, — ответил он, отсчитывая деньги. — Я теперь уже никуда не уеду.

Возвращаясь к машине, он подумал, что вторую девчонку даже как следует не рассмотрел.

На мытье посуды они, разумеется, наплевали. Неприкажанные городские дети, ошалевшие от солнца, кислорода и пригородной расслабляющей неги, они выволокли на веранду нетронутые с прошлого лета пластиковые шезлонги, но так и не улеглись и просто разгуливали вокруг. Роговская безымянная спутница — Ванька, балбес, и не подумал никого представлять — выскользнула из машины тут же, стоило им въехать в ворота, и не оглядываясь сбежала, словно торопясь наверстать упущенные полчаса. Он отвел глаза всего на секунду, чтобы вытащить из машины раздавленный жарой влажный пакет, источающий сочный бараний дух, и отпихнуть взволнованного Боба, а когда поднял их снова, она уже сидела по-турецки на желтых досках, задрав голову, неподвижная, как сфинкс — там, с ними, далеко. Обходя дом, морщась от скользких целлофановых прикосновений, он увидел, как толстый Гордеев, румяный, весь в перламутровых мокрых каплях, приветственно машет ему запотевшей пивной бутылкой и как голый по пояс Ванька отклеивается от перил и идет ему навстречу. И удивляясь самому себе, ускорил шаг, спеша захлопнуть дверь и спрятаться в пыльной прохладе прихожей прежде, чем сын догонит его.

Свежую баранью ногу на кухонный стол укладывать было нельзя — там по-прежнему разлагался отвергнутый магазинный шашлык, кисла забитая окурками вчерашняя



пепельница и пара липких кофейных кружек. Соседство это вдруг показалось ему таким же неуместным, как собственное присутствие среди этих шумящих сейчас за окном, на веранде, здоровых молодых млекопитающих, бездумных и беззаботных. Какое-то время он просто разглядывал стол, озадаченный необходимостью предпринять-таки что-то созидательное, а потом вытряхнул баранину на угол стола — она тяжело плюхнула по керамической поверхности и затихла — и неожиданно для себя самого одним движением сгрёб в освободившийся пакет зловонное шашлычное ведерко, пепельницу, кружки и дальше, не останавливаясь, — ни в чем не повинную мельницу для соли, тяжелую латунную зажигалку, забытую с вечера тарелку с присохшей вилкой. В пакете жалобно захрустело, зазвякало; в жопу созидание, подумал он мстительно, чертов дом доверху забит этим никому не нужным барахлом, и если даже вовсе не мыть, не менять, не стирать, если вот так — просто — выбрасывать — ведь хватит же, хватит всё равно. Пап, тревожно спросил Ванька, когда он волок набитый мусором и невымытой посудой пакет к мусорному контейнеру, и Рогов, оглянувшись, улыбнулся ему, коротко и с облегчением.

— Мариновать времени нет, — сообщил он, когда дети, все четверо, вернулись в дом, наплевав на бушующее снаружи солнце. — Сделаем кебаб.

Он рубил перламутровое мясо на кусочки, радуясь чистому сухому стуку узбекского ножа, собственным пальцам, ловко управляющимся с костяной ручкой, и тому, как они сидят вокруг и молча следят за его руками. И хотя ему, конечно, были недоступны ни скорость, ни ласкающая легкость больших Наилиных ладоней — Наиля рубила мясо как хирург, как дирижер, и он всегда покупал только у нее,

не торгуясь, именно ради этого великолепного зрелища, — даже его любительской сноровки хватило, чтобы произвести на них впечатление.

— Ты прям шеф-повар, Михалыч, — восторженно начал Гордеев, и в эту же самую минуту широкое лезвие вздрогнуло, повернулось и распороло Рогову указательный палец чуть выше первой фаланги. Поверх бледной рубленой баранины его собственная кровь казалась живой и яркой.

Вторая девица оказалась сливочная, в ямочку, с медовыми тщательно растрепанными волосами. Она деловито захлопотала над дурацкой царапиной «дайте сюда, скорей, Ваня, где тут аптечка у вас», и он послушно отдал руку и пару минут терпеливо стоял, разглядывая чистую кожу на висках, и ресницы шелковые, как беличьи кисти, и крепкий свежий живот под пляжным платком, и розовые отшлифованные пальцы ног. Даже пахла она стерильными, скучными цветами, какими-то фиалками или сиренью. А два дурня, конечно, сослепу волочатся именно за этой, подумал Рогов и почему-то обрадовался.

Ванька, взявшийся дорубить мясо, справлялся паршиво: криво держа нож в левой руке, он кромсал и пилил вместо того, чтобы резать, весело превращая благородную баранину в грудку неровных мясных огрызков. Он всегда был такой — небрежный, неловкий, «безрукий», — именно это роговское определение сильнее всего обижало его бывшую жену как до развода, так и в особенности после. Она умела быть безбрежно, по-матерински снисходительна, и снисходительность эта никогда Рогову не давалась: определив у трехлетнего сына леворукость, она подняла ее над головой, как флаг, который с тех пор несла агрессивно и с вызовом, терроризируя воспитателей и учителей, и Рогову ино-

гда казалось, что этот ее самостоятельный диагноз, возможно, и лишил мальчика возможности научиться пользоваться правой рукой как следует. А левая у него, очевидно, росла из задницы, хотя это никому, похоже, не приносило огорчения, кроме его отца.

Зато с женщинами Ваньке всегда было легко. Что-то он такое про них понимал — неглубоко и совсем без усилий, по-детски, инстинктивно. И дело было не только в его великодушной всепрощающей матери, потому что и остальные роговские женщины тоже все до единой страшно с ним носились. Изредка приезжающий на выходные мягкий балованный ребенок, вначале — уязвимый шестилетка, зовущий маму посреди ночи (и каждая — каждая! — включая совсем юных и не знавших материнства, выпрыгивала из роговской постели, прикрываясь на бегу, утешать, обнимать и шептаться), а после — застенчивый и нескладный подросток, которого они развлекали и тормозили, с которым даже, пожалуй, флиртовали, он не прилагал ни малейших усилий для того, чтобы им понравиться, но всегда почему-то получал — буквально с порога — какую-то непонятную индульгенцию, незаслуженный аванс. Именно женщины всегда мгновенно вставали на его защиту, именно с ними он делался расслаблен и весел, в то время как в мужской компании — в любой, даже в обществе собственного отца, — терялся и нервничал и держался особняком. Рогов и друзей-то Ванькиных не смог бы назвать ни одного, кроме разве что грубого Гордеева (от которого по этой самой причине и не было никакого спасения), оравшего в эту самую минуту:

— Джованни! Закругляйся уже со своими приготовлениями, с утра же не жрали!

Ванька смиренно улыбнулся и быстрее заработал ножом. Хоть бы майку надел, подумал Рогов, неприязненно оглядывая взмокшие гордеевские телеса, притащился за стол в трусах. Ну, или давай, тряси своим животом, и тогда даже эта сливочная дура тебе не достанется.

В бритье по-прежнему не было смысла, но переодеться, пожалуй, все-таки стоило. Он поднялся наверх, в спальню, и мгновенно пожалел о том, что забыл закрыть шторы, — солнце разогрело и высушило воздух, и безнадежная муха гулко стучалась изнутри в запертое оконное стекло. Старательно повернувшись спиной к истерзанной постели, в которой накануне спал, не раздеваясь, он закрыл за собой дверь и сбросил вчерашнюю одежду себе под ноги. Чертова жара. Впереди еще два месяца безжалостной слепящей духоты, и нестриженое поле под окном скоро пожелтеет, высохнет и примется шелестеть от каждого порыва ветра, как старое накрахмаленное платье, а потом будет мягкая мокрая осень, серая и нежная, которая проскользнет стремительно и незаметно, словно ее вообще не было. А зимой, подумал он, я умру.

Голый, он подошел к зеркалу и какое-то время просто стоял, расставив ноги и опустив руки вдоль тела. Толстеть он так и не начал; пожалуй, разве что расплылся немного в поясе, и плечи стали мягче. Наследственная грузная тонконогость, настигшая под старость всех мужчин в роду, и отца его, и деда, больше ему не угрожала. Инфаркта и цирроза печени тоже, кстати, можно было теперь не бояться. Он прижал правую ладонь чуть ниже солнечного сплетения; иногда ему казалось, что он может ее нащупать, что она совсем близко, под кожей и тонкой мышечной тканью, небольшая невидимая шишка, жадный сгусток клеток, гло-

дающий поджелудочную железу, который не причиняет ему пока ни боли, ни особенного дискомфорта и убьет его примерно к Новому году, может быть, немного позже. Внизу зашумели, раздался восторженный Бобкин вопль. Мясо они, что ли, на пол уронили, подумал Рогов и заторопился, натягивая джинсы и неглаженую футболку. Прямо за дверью стояла утренняя желтоглазая девочка, теперь босая, без сандалий. В руке у нее был тяжелый, наполовину наполненный стакан.

— Лед я не нашла, — сказала она, вытягивая руку со стаканом вперед. — И потом, может, вы не любите со льдом?

— Утро же, — сказал он с сомнением и все-таки потянулся и отхлебнул, и с первым же глотком почувствовал тепло в горле и в висках, а она повернулась и пошла вниз по лестнице, негромко щелкая босыми пятками по деревянным ступеням.

Пока лепили кривоватые кебабы, он успел выпить еще две полноценные порции, радуясь горячему шуму в ушах и отсутствию привычной тошноты, и чтобы летучее ощущение радости не растворилось и не раскисло, бросил гостей рыться в шкафах, звенеть стаканами и тарелками и ушел на веранду, зажав под мышкой прохладную зеленую бутылку. Пап, а салфетки где у тебя, крикнул Ванька ему вслед, но он не стал оглядываться, к черту салфетки, обойдутся и без салфеток. Снаружи оглушительно ревели сверчки, небо было высокое, страшное и безграничное, и лес на горизонте стоял неподвижный и сонный, разомлевший от солнечного жара. Я живой, подумал он, прислонился спиной к стене дома и крутанул жестяную пробку с острыми краями и отхлебнул прямо из горлышка, чтобы не терять больше ни единой минуты.

Когда они в конце концов тоже высыпали на улицу, нагруженные посудой, бутылками и мясом, сопровождаемые возмущенным сеттером, которому явно не перепало ни кусочка, он в самом деле обрадовался их появлению. Они были такие смешные, веселые и теплые, и всё у них пока еще было хорошо, и еще долго будет хорошо, и по крайней мере сейчас, после трехсот граммов «Джеймсона», проглоченного на голодный желудок, это не вызвало у него никакой зависти, а только радость и желание держаться к ним поближе. Даже когда они принялись с задорным скрежетом двигать по ржавим полированным доскам веранды тяжеленный стол, сдирая палубный лак. Даже когда они набили дорожную роговскую барбекюшницу крупными поленьями, вывороченными прямо из дровницы, ни единожды не ударив топором, а после залили всё какой-то вонючей химической дрянью и плюхнули обреченные кебабы на решетку раньше времени, не дожидаясь ровного угольного жара, он не сказал им ни слова, а просто сидел, устроив согрешуюся бутылку между расставленных коленей, и смотрел на них и слушал.

И только когда они возвратились, бухнув на стол миску, полную обугленной баранины, когда Ванька повернулся к нему и открыл рот, чтобы сказать — пап, он все фразы начинал так; пап, говорил он, пап, но очень редко при этом смотрел в глаза, почти никогда, если задуматься, не смотрел; когда Рогов попытался подняться на ноги, чтобы подойти к ним, и не смог, пошатнулся и схватился рукой за стену, и его немедленно замутило, — вот тогда он рассердился. Сам на себя, оттого, что зачем-то напился — глупо, на жару, в полдень. И на них — за то, что молоды и здоровы и действительно способны съесть обожженное погибшее

## Один нормальный день

мясо и не заметить. За то, что они поймут сейчас, как он безнадежно пьян. Захлопнув за собой входную дверь, он преодолел искушение задвинуть щеколду — это было бы совсем уж по-детски — и ринулся в ванную, зацепившись обо что-то плечом, и долго стоял там, опустив голову под холодную струю воды, зажмурившись и осторожно дыша сквозь сжатые зубы, и чувствовал, как отступают дурнота, и стыд, и злость, и думал — неважно, неважно, просто пусть меня перестанет мутить, пусть сегодня будет нормальный день, один нормальный день.

Он вернулся на веранду спустя полчаса, с мокрыми волосами и влажными пятнами на плечах, посвежевший и злой. По крайней мере, печень по-прежнему работает как часы; сейчас главное — заставить себя что-нибудь съесть, что угодно, лишь бы не пить больше на пустой желудок. Сморщенные черные кебабы внушали ужас и едва не вызвали у него новый приступ тошноты. Поискав глазами на столе, он нашел тарелку с подсыхающим хлебом и сыром и поспешно проглотил по куску того и другого, через силу и без удовольствия.

— Ну? — предложил Гордеев многозначительно и встряхнул бутылку роговского виски, из которой за время его отсутствия изрядно убыло. — Ты как?

Вместо ответа Рогов некоторое время внимательно прислушивался к себе, а потом взял с тарелки последний кусок сыра и поставил стакан.

Когда «Джеймсон» закончился (до обидного быстро), нужно было спасать положение, потому что вульгарный Гордеев начал уже что-то вроде «а теперь водочки, водочки, да?» и потащил откуда-то из-под стола теплое прозрачное стекло и забулькал. Водка сейчас точно была ни к чему, так

что Рогову снова пришлось возвращаться в дом и рыться в кухонных шкафах. Он нашел нераспечатанную, в коробке, пижонскую односолодовую бутылку и прежде, чем выйти из кухни, распахнул холодильник, скользнул взглядом по пустым полкам, вытащил молоко и отпил прямо из пакета, повинуясь всё тому же импульсу — хоть чем-то заполнить желудок. Молоко оказалось кислое. Он даже не смог вспомнить, когда его покупал.

Ванька быстро раскис и захмелел и только мотал теперь головой, улыбаясь и накрывая свой стакан ладонью, когда они принимались разливать и чокаяться, а девчонки в два горла задорно уговорили три бутылки белого вина, привезенного с собой, и тоже немного поплыли. Гордеева же, казалось, ничего не брало: он покрылся обильным потом и сильно покраснел, но глаза у него были ясные и трезвые. Здоровый черт, враждебно подумал Рогов, вымахал килограммов под сто, не меньше, пил бы лучше свою водку. Основная проблема заключалась в том, что его никак было не заткнуть; он и в шестнадцать был такой же шумный, толстый горлодёр, смеющийся над собственными шутками. Первой сбежала желтоглазая девочка: выскользнула из-под надвинувшейся тени назад, к сползшему на самый край веранды солнцу, повернулась спиной и застыла, задрвав подбородок, как ящерица на горячем камне. А спустя четверть часа Ваня, качнувшись, отодвинул стул и встал, но вместо того, чтобы подобраться к ней поближе — давай, Ваня, давай, подумал Рогов беззвучно, — повернул в другую сторону и повис на перилах в десяти шагах от стола и задышал шумно и беспомощно. Бросив хищного Гордеева мучить сливочную девицу анекдотами, Рогов поднялся и пошел к мальчику.



— Ванька, Ванька, — мягко сказал он, становясь рядом, — чего ж ты виски-то хлещешь, если пить не умеешь? Давай кофе тебе сварю.

— Не надо кофе, — ответил сын, большой, светлый и беззащитный, и подняв лицо, виновато улыбнулся. — Я постою просто, пап, я нормально.

Мне же надо будет сказать ему, подумал Рогов, глядя на расслабленный мягкий профиль. Не сегодня, конечно, но рано или поздно. И довольно скоро. Уж ему-то точно надо будет сказать.

— А хочешь, — произнес он неожиданно для себя, — хочешь, подарю тебе свою машину?

Ванька булькнул горлом, повернулся и посмотрел недоверчиво и испуганно.

— Ну, не сейчас. На Новый год, например, — поспешно сказал Рогов.

— А давайте выпьем, — доверительно предложил Гордеев откуда-то из-за спины, и на месте Ванькиного лица возникла его влажная физиономия и три захватанных стакана, наполненных почти до половины.

Пальцы он, конечно, засунул внутрь стаканов. Когда ж ты сгинешь наконец, черт бы тебя побрал, застонал Рогов мысленно, но вместо того, чтобы послушно сгинуть, Гордеев, напротив, материализовался, втиснувшись между ними и приобняв обмякшего Ваньку свободной рукой.

— Ничего, Джованни, ничего! И пить тебя научим, и человека из тебя сделаем! — сказал он нежно, и прижал Ваньку к мокрой груди, и даже, кажется, потрепал его по затылку. — С понедельника и начнем. Беру его к себе на работу, — сообщил он Рогову, улыбаясь, — хватит нищесбродствовать.

И Рогов немедленно рассвирепел — и от этого дурацкого «Джованни», и от Ванькиной пьяной смущенной улыбки, и потому еще, что вдруг понял: он понятия не имеет, что там у сына с работой и есть ли она вообще.

— Ну-ка дай сюда, — сказал он и выдернул из гордеевских пальцев какой-то из трёх одинаковых, неразличимых стаканов и быстро, в три больших глотка выпил свою порцию и сразу за ней, без паузы, — Ванькину, смутно понимая, что хочет просто, чтобы Гордеев освободил руки. Виски жарко стукнул в висках и обжег горло. Он жадно шарил глазами по расплывшейся, по-прежнему голой по пояс фигуре напротив и даже отошел на два шага, чтобы лучше было видно. Поводов не находилось.

— Что это у тебя на шее, — услышал он собственный нехороший, сухой голос, — на шее это у тебя что?

— Это? Кельтский крест, — дружелюбно сказал безмятежный Гордеев и в один прием вылил полстакана односолодового виски себе в пасть и продолжил неожиданно: — Символизирует солнце, воздух, землю и воду в единстве.

— Да какой ты нахер кельт, — с облегчением сказал тогда Рогов и двинулся плечом вперед.

— Пап, — сказал Ванька тревожно.

— Мальчики, — сказала сливочная из-за стола.

Вблизи Гордеев оказался выше почти на голову, и это почему-то было даже хорошо. Стыдно было бы лупить давнишнего приятеля собственного сына, не будь он на голову выше и килограммов на двадцать тяжелее, и вначале обязательно надо было потолкаться, это всегда считалось хорошим началом драки, ну или боднуть, например, головой в подбородок, и сливочная там, позади, восхищенно уже затихла, но тут он увидел Ванькины страдальчески вскину-

тые брови, а Гордеев вытянул вперед длинные свои лапы и мягко взял его за плечи:

— Ну ладно тебе, — сказал он горестно. — Ну чего ты. Михалыч, может, у тебя случилось чего? Ты какой-то, не знаю. На себя не похожий.

— Жара, наверное, — устало ответил Рогов, остывая и отворачивая лицо.

— А давайте я тоже. С вами выпью виски, — кокетливо сказала сливочная. — Только мне надо разбавить!

— Томатным соком, — предложил Рогов, оборачиваясь к ней, и Гордеев симпатично захихикал у него за спиной.

И всё снова как-то наладилось.

Дальше было много всего; вечер оказался длинный и запомнился вспышками, яркими и несвязанными между собой фрагментами, в один из которых он сидел возле желтоглазой девочки на гладких досках и разглядывал царапину на ее золотистой коленке и сияющие в закатных лучах солнца волоски на предплечьях, и в ногах у них стояла горячая бутылка коньяка, из которой они молча пили, отхлебывая по очереди маленькими глотками.

Потом он танцевал с ее сливочной подругой под какую-то глупую музыку, добытую чуть ли не из Ванькиного телефона, — босиком, прямо на покрытой росой траве, и во время этого неизвестно как завязавшегося танца Рогову открылись две вещи: выступающие некрасивые косточки у нее на ступнях и две прекрасные горячие сиськи, мягко жмущиеся к его ребрам. После дня на жаре ее бесполоя сирень, слава богу, выветрилась, и она наконец запахла сладко и резко, почти так, как нужно.

И когда солнце село, они разожгли костер, высокий и жаркий, и стояли вокруг — нетвердо, качаясь, и даже, ка-

жется, что-то пели, и у Гордеева обнаружился сильный хороший голос, которому не было бы цены, если б он помнил слова хотя бы одной песни от начала и до конца.

Оставшийся без присмотра Боб, стоя на задних лапах, жадно глотал из забытой на столе миски остывшее мясо, и Рогов подумал вяло: я ведь не покормил его, говно я, а не хозяин.

Еще позже он сидел с Ванькой вдвоем над разоренным заляпанным столом, положив ладонь на его теплый нестриженный затылок, и говорил ему «никого не слушай, всё будет хорошо, слышишь, ты молодец, всё у тебя будет, и звони мне, ты звони мне», а Ванька кивал и отвечал ему «да, пап, конечно, пап, обязательно, пап».

А после все вдруг пропали, и остался только он и желтоглазая девочка, с которой они шли почему-то по заросшей кустами обочине, и он совершенно не помнил при этом, как они открывали калитку и выходили на улицу, и тусклые придорожные фонари иссякали у них за спиной, потому что деревня кончалась, и по обе стороны от дороги осталось только поле — сырое, дышащее паром, и девочка вдруг шелчком выбросила сигарету, засмеялась и сказала: ой, подожди минутку, не смотри, — и присела прямо у обочины, в шаге от него, и он запрокинул голову и услышал теплый запах мокрой травы и увидел холодные звезды вверху, далеко.

И они бежали назад, торопливо, словно спасаясь от погони, и на веранде она повернулась к нему лицом и подпрыгнула, подтянувшись на руках, легко оттолкнувшись ногами от пола, и уселась на стол, и язык у нее был тонкий и горячий, как жало маленькой змеи, и ладонью он чувствовал острый и твердый, как пуговица, сосок, и входная дверь лязгнула, выпустив наружу желтый прямоугольник света, и горде-

## Один нормальный день

евский голос произнес осторожно, шепотом — Михалыч, мы у тебя там ром еще нашли, ты ничего? не против? — и тогда он выдохнул, и убрал руки, и отошел на шаг, потому что день его только что закончился, в эту самую секунду.

Ночью на него впервые навалился ужас. Это была еще не боль, не настоящая боль, не такая, которую нельзя было выдержать, просто тошнота и первобытный, липкий страх. Он стоял на коленях возле горячей развороченной постели, и ловил ртом воздух, и прижимал обе руки к животу, и думал — жить, как же хочется жить, и больше всего на свете ему хотелось сейчас набрать телефонный номер и услышать в трубке голос женщины, с которой он прожил когда-то давно четырнадцать лет, и ничего не говорить, и чтобы она просто, как раньше, тихо смеялась в темноте.

Проснулся он необычно рано, не было еще восьми, и, свистнув Боба, вышел с ним за ворота и целый час бродил по пояс в сырой с ночи траве, наблюдая за темной треугольной макушкой, зигзагами взрезающей желтое и заброшенное ничейное поле. Кто бы мог подумать, что в пятьдесят поздно заводить молодую собаку. И ведь, главное, не строишь никуда, кому в городе нужен не знавший ошейника сумасшедший сеттер. Когда солнце начало, наконец, припекать и подсветило верхушки высохших полевых сорняков и рыжую роговскую крышу, Боб вернулся к нему, счастливый и облепленный репьями, — не по команде, а просто оттого, что устал и проголодался, — и сунул ему под ладонь горячую остроконечную голову. Пошли домой завтракать, дурачина, сказал ему Рогов, и они небыстро зашагали назад, человек и собака, оставляя на асфальте мокрые от росы следы.

# Евгений Бабушкин

## Сказка про серебро

Салмон, человек с монетой в глазу, рассказал эту сказку Воозу, Вооз — Овиду, Овид — мне. И если что-то потерялось по пути, так потому, что люди — люди.

Жили на свете четверо. Часы у них стоили как машины, машины — как дома, дома — как дворцы, дворцы — как царства. Кто они, откуда, все забыли. Пропали, кто помнил их имена. Но было известно: Перец поднялся на овощах, Камень — на стройке, Газ — на газе, Стекло — на трехлитровых банках, а после, конечно, тоже вложился в газ.

Шесть дней они вели дела, а на седьмой играли в карты.

— Лям, — говорил Перец.

— Два, — говорил Камень.

— Три, — говорил Газ.

— Пас, — говорил Стекло.

Мужчины сидели в мраморном зале, женщины — в жемчужном: говорили новыми губами, улыбались новыми ще-

ками. Молчала лишь Маша, женщина Камня. Он взял ее из ниоткуда, из продавщиц, за красоту. Она, стесняясь, выпивала много коньяка, икала, падала и в пьяном сне становилась вообще идеальная.

Снаружи ждали люди Перца, люди Камня, люди Газа и человек Стекла — Салмон, который стоил многих. Салмон учился на историка, но вовремя узнал, что нож выгодней, и начал жить чужую жизнь.

— Есть, — говорил Стекло. И Салмон резал мясо.

— Спать, — говорил Стекло. И Салмон сторожил дверь.

— Трахаться, — говорил Стекло. И Салмон приводил ему женщин с ножом у горла.

Однажды Стекло проиграл Камню дом и обиделся.

— Маша, — сказал Стекло.

— Кажется, Камень ее ревнует, — сказал Салмон. — Будет плохо.

— Чё? — сказал Стекло.

Кто делает деньги, тот и спрашивает. Кто разбирается в материальной культуре поздней античности, тот и отвечает. Стекло делал деньги на всем, что видел, но деньги были невидимы, а он любил потрогать. И за настоящее платил настоящим: за смерть — золотом, за мелкие увечья — бронзой, и серебром — за прочие услуги. Стекло достал монету:

— Это чё?

— Серебряная гемидрахма диадоха Лисимаха.

— А это чё?

— С аверса — бык, с реверса — горгонейон.

— Чё?

— Лик Медузы. Вот как Плутарх объясняет его смысл...

— Маша.

## Сказка про серебро

Салмон нашел Машу в особом салоне для самых богатых женщин: одна рабыня обкусывала ей ногти на ногах, другая на руках, а сама Маша была с утра пьяная.

— Милая Маша, чувства Стекла чисты, мысли остры, желания прозрачны: он хочет вас. И ждет у себя немедленно. Этот скромный букет — от него.

— Пошел он! — сказала Маша. — Мне с Камнем ок.

Салмон вернулся.

— Маша, — сказал Стекло.

И достал золотую монету.

Перед рассветом, когда самый сон, Салмон пришел в дом Камня и встретил человека Камня.

— Извините, — сказал Салмон и всадил ему нож в шею.

Он извинился еще трижды, и в четвертый раз — перед Камнем лично. Маша этого всего не видела, она запила коньяком таблетки и лежала поперек постели. Салмон взял ее на руки — такая тонкая — такая — взял на руки, отвез к Стеклу, тот разбудил ее ударом кулака и сделал что хотел. Стекло считал, что крики — несерьезно и что ей на самом деле нравится.

Салмон не знал, куда ее везти обратно, и просто высадил на самой красивой набережной, и она пошла куда-то, тоже самая красивая, хоть и в синяках немного.

За карточным столом остались трое, им стало скучно, сложно и обидно, и однажды к Салмону пришел какой-то новенький, с маленьким пистолетом.

— Нехорошо, дорогой. Надо платить, дорогой. Фалес говорил, что всё вода, но он был неправ, дорогой. Всё — расплата.

— Я вижу, ты приличный человек, давай решим как равные.



## Евгений Бабушкин

— Мы, дорогой, не равны, дорогой, у меня по архаике красный диплом, начал бы диссер, если бы не вся эта скотобойня. А ты, дорогой, недоучка, с четвертого курса выперли.

— Ты сам недоучка! Сколько было Лакедемонидов?

— Восемь, и Тиндарей — дважды. А Атталидов?

— Пять.

— Шесть.

И выстрелил Салмону в глаз.

Салмон рассказал эту сказку Воозу, Вооз — Овиду, Овид — мне. А я повидал и царей, и зверей, и наполовину еврей, и знаю, что пуля не пробивает голову, а застревает в ней, и можно выжить. Можно.

Салмон очнулся, перед ним сидел Стекло.

— Дзынь! — сказал Стекло.

И всё пропало. Салмон очнулся снова.

— Гада того я сам кокнул. А тебе вставим новый глаз.

Но Салмон не захотел нового. Когда он вышел из больницы, в глазу у него было два с половиной грамма античного серебра, быком внутрь, Медузой — наружу.

Пока он спал, настала слишком ранняя зима, и серебро в глазу совсем заледенело. Салмон коснулся монеты и засмеялся: это же что-то особенное, трогать распахнутый глаз.

Он засмеялся одним глазом, заплакал вторым, съел гамбургер — больничная еда достала — пошел к Стеклу и попросил свободы.

Он продал половину скопленных монет, не поднимая глаз, купил квартиру в новостройке и пошел охранять библиотеку — брали с неоконченным высшим.

Сидел у книг, надвинув капюшон пониже, кто в наше время смотрит в глаза, мало ли что там увидишь.

## Сказка про серебро

Газ, Перец и Стекло довольно быстро перебили друг друга, их царства поделили скучные люди без особенных дыр в душе. Салмон ходил с работы, на работу и думал: хорошо бы дописать диплом.

Однажды Салмон встретил Машу. Она была уже не такая красивая, потому что в ней побывал Стекло, и еще стало меньше маникюра и больше коньяка, паршивого. Она вернулась в магазин, работала в ночь и не узнала Салмона, потому что он был из сна про чужую жизнь, а она теперь жила своей, настоящей, единственной, то есть, может, конечно, и нет, но некоторые вещи проще забыть намертво.

— Воды, — сказал Салмон. И Маша продала ему воды.

— Спасибо, — сказал Салмон. И впервые за долгие месяцы поднял глаза.

— Едрить! — сказала Маша. — Извините. Какая монетка. Вам там не больно?

— Нет, — сказал Салмон. — Мне хорошо. Можете потрогать.

— Страшная. Смешная.

— Это горгонейон. Он нарочно такой, чтобы зло окаменело от удивления и миновало человека. Так, во всяком случае, полагает Плутарх.

— Чё-то вы больно умный.

— Это просто моя монетка на счастье. Кстати, у меня дома много таких.

— Чё-то вы больно шустрый.

Салмон опустил глаза.

— Что вы делаете сегодня вечером?

— Ночь уже. Кончится — спать. А завтра в день работаю.

— Так я приду завтра.

— Так приходи.

## Евгений Бабушкин

И Маша стремительно улыбнулась, и Салмон подумал, что зуб можно и вставить, и даже серебряный, хотя, наверно, лучше без затей, достаточно и одного уroda в семье.

Салмон рассказал эту историю Воозу, Вооз — Овиду, Овид — мне. Но не до конца. Я не знаю, что там было завтра. Но предпочитаю думать, что они жили долго и счастливо, познавая друг друга так и сяк, и однажды, вдруг от всего очнувшись, она присмотрелась к мужчине рядом... Нет, так не будем, не будем так. Жили долго и счастливо, пока тонули города, горели народы, восходили и рушились царства, пропадали названия с карт и сами карты, жили, жили, пока текст не впитал их до последней буквы.

# Матвей Булавин

## Безмятежность

День начался, когда кончилось похмелье, — а оно, кажется, кончилось, потому что я не только оценил весь ужас вечера вчерашнего, но и озаботился заранее грядущим: сходил к Антонине Петровне и без содрогания — что, собственно, и свидетельствовало о победе над абстиненцией — купил бутылку грейпфрутового ликера. Друзья считали меня эстетом — я не спорил.

Эстетским был и мой тент: зеленый с рыжим, довольно крупный, надежно прижатый собственным весом к асфальту. Каждое буднее утро я беспамятно собирал его из привезенных в тележке труб и брезента. Развешивал упакованные в хрустящий пластик рубашки, неосознанно выбирая, кажется, очень правильные щадящие цветовые гармонии. Потому что торговля шла.

— Девушка! — говорили привлеченные гармониями выходявшие из трамвая москвичи. Я неспешно поднимал голову от душецелительного Борхеса, поправлял волосы и от-

## Матвей Булавин

вечал свежим восемнадцатилетним баритоном: «Добрый день!»

Некоторые смешно убегали, другие улыбались и спрашивали вот ту клетчатую рубашечку, а я говорил, что итальянцы мелкие, надо брать на размер больше.

Стекляшка трамвайной остановки шуршала мириадами объявлений чуть правее тента, за ней притулился зарешеченный ларек «Союзпечати» с тетрадками, ликером и Антониной Петровной, а промежутки между остановкой и мной периодически занимали Шура и бананы.

С Антониной мои отношения складывались тяжело — по причине имевшейся у нее внучки, за разгульное поведение которой мне приходилось расплачиваться.

— Эта коза тоже вот шляется неизвестно где, а потом приходит — баб, дай денег! — сверкали очки из темного окошка. Я денег не просил, и даже наоборот — рад был без лишних разговоров отдать, но всё равно ощущал свою вину.

— И тебе — только пиво и орехи! Почитал бы лучше чего, — продолжалось ворчание.

— Антонин Петровна, я как книгами поторговал полгода — не люблю их больше, что делать. Да и прочитал всё почти, — робко шутил я.

— Лучше б ты водкой этой своей поторговал! — кипятилась Антонина.

«Конечно, лучше, — думал я. — Вообще не вопрос».

Пару дней я даже ходил в магазин через улицу, но выбор напитков был в нем не в пример меньше, да и главное — далеко. Впрочем, и Антонина Петровна — женщина сугубо практичная — скоро прекращала читать морали и переходила к делу.

— Вот, задали тут им, а моя-то всё пропела, стрекоза. Посмотришь? — доставала она листки с криво зарисованными примерами.

Я смиренно забирал их, пару вожделенных банок и брел к себе на мешки, думая, что лень моя измеряется метрами до магазина, и метров этих четыреста.

С Шурой же — давно обжившейся в столице беглянкой из украинской глуши — всё было просто. Шуре было лет тридцать, и последние десять она старалась больше выпивать и меньше работать. Я находился на том же неверном пути.

— Матвей, — говорила она, спасаясь в тенте от коварного весеннего ветра. — Бананы — самая тема, точно. Остальное какой-то гимор сплошной. Ты запомни главное: в килограмме их всегда шесть,

— Шур, ну бананы же разные бывают? — возражал я, разливая коньяк в стаканчики с кофе. Спасение от ветра осуществлялось комплексно.

— Один хрен плюс-минус, — отрезала она.

В Шуриных килограммах при этом бананов бывало от четырех до пяти — в зависимости от размера и настроения.

— Что же это такое! — восклицала не поленившаяся секретно принести свой счастливый безмен пенсионерка. — Триста грамм недовес! Ворьё! Я жаловаться буду!

Очередь ее молчаливо поддерживала.

— А что припёрлась тогда? Каждый день — и всё возмущается! Иди, жалуйся, не мешай работать только! — артистично парировала Шура.

Шуру очередь не одобряла, но продолжала помалкивать, надеясь заработать предательством честный килограмм о шести бананах.

## Матвей Булавин

Неудивительно, что под вечер соседку регулярно забирали местные менты: во главе с торговой инспекцией делали контрольную закупку, запихивали разваливающиеся коробки в очень на эти коробки похожий уазик-доходягу и торжественно везли в отделение составлять и изымать. Шура не слишком расстраивалась: весы и гири, а часто и остатки бананов те же менты возвращали ей назавтра с утра. Идти от отделения до метро было даже ближе.

Я в увлекательной возне с законом участия не принимал. Документы у меня были почти в порядке, заниматься разборкой тента никому не хотелось, так что младшие лейтенанты стреляли мои сигареты и жаловались на скачки курсов валют.

— Чего вы к Шурке цепляетесь? — риторически вступался я, уловив момент. — Мало у вас точек на территории.

— Бананы у нее самые вкусные, — ржали они. — А гири самые легкие. Шур, тебе самой-то не стыдно старушек обвешивать?

— В жопу идите, — бурчала она, тайком отдавая мне выручку.

Она вообще мне доверяла и даже, кажется, любила: помимо нормальных отношений с властью, я умел умножать числа в уме, читал и носил длинные волосы — вещи, несвойственные мужчинам ее родной местности и круга общения в целом.

— Что ты забыл здесь в палатке, вон же какой умный? Опять же москвич.

— Не москвич, Шур, из Подмосковья, — отмахивался я. Шура смеялась, не в силах оценить глубину идушей по МКАДу пропасти.

Позади остановки стоял невысокий забор, а за ним торчал на пригорке бывший детский садик, который непривычные еще в Москве рабочие-узбеки шустро переделывали в банк. Иногда они спускались на наш потребительский пятачок, и тогда Антонина извлекала из закровов особенно паленую водку, а Шура взвешивала четыре банана и возмущалась.

— Слушай, ну понятно даже — вот я, хохлушка там и прочее. Но это же вообще кто?

Я слабохарактерно соглашался, хотя, по правде говоря, к национальным перипетиям относился равнодушно. К тому же узбеки были важнейшими покупателями особенного товара — бордовых и фиолетовых футболок. Цвета эти были не в почете у коренных пассажиров трамвая, но явно любимы далекими китайцами-упаковщиками. В каждом комплекте таких футболок было по три штуки — и только по одной другого цвета: голубого, желтого или невероятного красного. К счастью, наценки на последние хватало, чтобы не слишком заботиться о неудачницах: мы мыли ими пол и посуду, давали взятки охранникам в общежитии и пытались впарить таксистам, а два все-таки скопившихся мешка я таскал на точку в качестве мебели и балласта для тента.

На одном из этих мешков я и обнаружил себя посреди нового дня: парочка прибыльных темно-синих с белым воротником рубашек уже проданы, ликерная бутылка выглядывает из коробки, в сквере напротив ветер вихрями гоняет песок по дорожкам. Шуры нет. На полпути от сквера к узбекам выглядывает из редких облаков солнце, и нужно только дотянуть до вечера.

— Привет! Сигаретки не найдется?



## Матвей Булавин

Поднимая голову, я увидел короткую юбку и пиджак — значит, было еще не совсем жарко, может быть, начало мая — и затем бордовой краски волосы. Дал сигарету и прикурить, тщательно следя, чтобы пальцы не слишком дрожали — потому что я видел уже эту девушку, видел дважды: вчера она шла от остановки в мою сторону, но покупатели отвлекли; за день до этого она смотрела на меня из-за двери отъезжающего трамвая.

— А как тебя зовут? — спросила, резко выпуская дым. Глаза у нее оказались совсем темные, в ушах — тонкие обручи сережек.

— Матвей.

— Правда Матвей? — засмеялась. — А меня Оля. Можно пройду?

— Добро пожаловать, — сказал я.

Она зашла и огляделась, в руке сигарета, в другой — открытое пиво. Странно, что не заметил его сразу. Фахе, универсальный выбор.

— А у тебя здесь клёво! Я сяду? — и упала в объятия мешка, а я подумал, какая же короткая у нее юбка. — Ой, а хочешь?

Достала из модного рюкзака еще банку, протянула мне, и похмелье завершилось окончательно.

— Я учусь здесь рядом с прошлой недели. Перевели кафедрю. Лумумба, знаешь?

Я знал и, знаком с Олей две минуты и два взгляда, всё равно удивился. У нее были юбка, пиво и решимость, но ничего общего с университетом дружбы народов.

— У меня папа там важный преподаватель... — продолжила она загадочно и, выждав паузу, закончила со смехом: — ...физкультуры.

— И как в Лумумбе?

— Негров много. А так нормально. А ты учишься?

— В стали и сплавов.

— А там как?

— Не знаю, давно не был. Но негров вроде нет.

Мы захохотали уже вдвоем.

— Девушки веселые, — прервали нас. — Футболочку можно купить у вас?

Пока я занимался продажей, Оля нашла в коробке рядом с ликером плеер.

— Это что? — кивала она головой под неслышную музыку.

Я наклонился и забрал себе один наушник.

— I really wanna smoke it, I really want to smoke it... — убедительно говорил в нем голос.

— Нью-йоркское реп-радио. Одногоруппник туда ездил, записал.

— Ох, круто, у меня брат рэппер! Дашь переписать? — оживилась Оля.

Я пообещал. Возвращать кассету я всё равно не собирался. Брат — рэппер. Интересно.

Мы выслушали еще несколько суровых куплетов — щека к щеке, короткий провод.

— А часто тебя так девушкой называют? — Оля резко повернулась, наушник больно вырвался. Ее лицо совсем близко, ее волосы короче моих.

— Постоянно. Я привык уже.

— Странно. Я вот сразу поняла, что ты парень. Еще позавчера.

И вдруг поцеловала меня.

## Матвей Булавин

От нее пахло пивом и тяжелым, совсем не летним парфюмом — я обрадовался, что уже выпил, так что меня совсем не мутило. На мягких губах вязкий слой помады — я провел по нему языком и вспомнил не знавшее косметики лицо Нади — единственной моей до этого девушки. С ней мы пили кофе и обсуждали книги. От нее никогда не пахло пивом и, кажется, — совсем ничем не пахло. Волосы ее были золотыми. При ней я стеснялся курить и раздеваться. Мы не виделись с осени. И кажется, жизнь наконец начала налаживаться.

— Какая ты классная! — сказал я, когда поцелуй кончился.

— Ты вроде тоже ничего, — не смутилась Оля. — Я буду теперь часто заходить.

— А я со следующей недели в другом месте работаю. На Коньково рынок новый открывается. Живу там рядом, в Беляево. Общага.

— О, круто! А я на Каширке, это ж почти рядом. А ты вечером туда? Покажешь? Никогда не была в общаге.

«Ничего себе, — подумал я. — Везет же».

— А родители тебя не хватятся вечером? Или брат?

— А что, похоже, что могут? — развеселилась Оля.

Вопрос был явно с подвохом, но отвечать мне, к счастью, не пришлось — потому что подошли померить рубашку, а потом еще одну, а потом мы опять целовались, а потом пили пиво и я рассказывал про общагу. Потом пиво кончилось, а разговоры нет, и настало время для решительных шагов.

— Максим, тебе зачем пиво еще? И так бутылку эту с утра купил. Не продам! — отрезала Антонина из темных глубин

ларька. Я легко прощал ей Максима. Не так легко Андрея. Но Максим так Максим. Пусть он и унижается у окошка.

— Да это не мне, Антонина Петровна, что вы! Знакомые вот заглянули. И ликер же в гости. День рождения у знакомой! — Максим врал жалостливо, глядя на детский садик.

Узбеки бегали по шатким лесам. Они могли упасть и разбиться. Могли отравиться вечером паленой водкой. Свободные люди.

— У знакомой! Тебе учиться надо, а ты всё знакомые и пиво!

— Антонина Петровна, ну неудобно будет, — взмолился я. — Меня ждут вон. Не бежать же мне в магазин! Я у вас лучше куплю все-таки, зачем им платить. Ну что вы.

— Максим, чтобы в последний раз! — нехотя согласилась она с серьезным аргументом. — Чего тебе?

— Ой, давайте два туборга. Или четыре лучше, там народу много. Спасибо!

— На здоровье, — буркнула Антонина, отсчитывая сдачу. Скидок она никогда не делала.

— Туборг, клёво!

— Едва купил. Сложные отношения.

Под солнцем в тенте стало душно, так что, пока я добывал пиво, Оля сняла пиджак и расстегнула пуговицу на плотной белой рубашке. Я открыл банки, придвинул свой мешок поближе.

— Будем как лесбиянки, — прошептала она мне на ухо.

— Роковые женщины, — ответил я, пытаюсь распознать наличие под рубашкой лифчика.

Мы поцеловались. Поменяли кассету на дорзов. Допили пиво и открыли новое. Покупателей было мало. Мешки под

## Матвей Булавин

нами расплющились, и мы валялись на них, обнявшись. Юбку я не видел, но знал, что она короткая.

— Клевые у тебя сигареты. Лаки я знаю, а страйк что значит?

— Удар. Точный удар. Ну типа как в боулинге. Ты была?

— Не-а.

— Там круто. Наверное. А сигареты родные просто, видишь пачка мягкая. На Киевскую специально езжу. Поэтому клёвые.

Так что мы курили клёвые сигареты и пили клёвое пиво, а потом приехал трамвай и из него вышла Надя. Волосы ее были золотом, глаза — небом, пальто клетчатым, а тонкие губы не знали помады. Бог знает, зачем она оказалась на улице Орджоникидзе именно в этот день.

— Привет!

В одной руке я держал сигарету, другой обнимал Олю. Было бы уместнее держать вместо Оли пиво? Или вместо сигареты?

— А кто это? — сказала Надя, застыв перед стендом с рубашками. Как покупатель, как покупатель.

— Это Оля. Зашла вот, — я поймал себя на желании за чем-то оправдаться. Какого черта?

— А ты как здесь?

— К тебе приехала.

Сейчас у нее задрожат губы, подумал я, тонкие губы, и она побежит к пыльным вихрям в сквере, а мне придется встать с мешка и оставить пиво и идти за ней, просто чтобы успокоить. И ничего из этого не выйдет, как всегда. А потом я плюну и вернусь, и Оли уже не будет. А Надя

будет смотреть с той стороны большими глазами, большими глазами.

— А как узнала, где я?

Кажется, это был очень глупый вопрос, и кажется, Надя собралась уже ответить совсем не на него — но всё пошло по-другому: шумно подъехал следующий трамвай, Надя сделала стремительный шаг к нам в тент, отвесила мне пощечину — ах какую пощечину! — и, успев в закрывающиеся двери, укатила прочь, не обернувшись. Не обернувшись.

Я поднял с асфальта выпавшую сигарету. Хорошо, не в мешок. Допил пиво.

— Это кто?

— Надя. Девушка моя. Как она нашла-то...

— Девушка? — повторила Оля с интонацией, которую я сначала не понял.

— Бывшая, — сообразил наконец. — Полгода не виделись. Наверное, в общаге сказали.

Я посмотрел на Олю — а она на меня, прищурив карие глаза.

— Она психованная что ли?

— Не. Она поэтесса.

— А ты поэт?

— Я рубашки продаю.

— Эх, жаль. А похож.

Оля погладила меня по голове, а потом по горячей щеке.

— Точный удар! — торжественно сказала она.

Мы хохотали так, что остатки пива Оля расплескала себе на рубашку — пятна на белой ткани и сладкий запах.

## Матвей Булавин

— Ты даёшь!

— Ничего, дома застираю. Только мокро, — поежилась.

Я достал из мешка фиолетовую футболку.

— А как потом? — она осторожно открыла пакет. — Я постираю и верну.

— Фигня. Дарю. Хочешь бордовую еще?

— Ого, ничего себе! Давай, к папе на физру ходить буду.

Прикрой чем-нибудь.

Я встал, вытащил из-под стола непристегнутый брезентовый полог, по ширине он был почти как тент. Встал в проходе. Развел руки.

— Готово!

Сидя ко мне спиной, Оля сняла рубашку и зачем-то стала аккуратно ее складывать. У нее была родинка на левом плече. А лифчика все-таки не было.

— У этой твоей, кажется, большие сиськи?

— У Нади? Вроде да.

— А у меня? — и повернулась. А я не успел разглядеть выражения ее лица и не мог теперь оторваться посмотреть.

— А у тебя красивее. Гораздо.

Я наконец поднял взгляд. Она улыбалась. Встала с мешка и крепко ко мне прижалась. «Брезент же грязный», — подумал я, стоя с разведенными руками.

— Ты хороший, — шепнула утвердительно. Быстро надела футболку и прыгнула обратно на мешок.

— Жаль, пива нет больше.

— Ага, — я свернул брезент. Поправил отцепившиеся рубашки.

Солнце уже ушло за козырек тента. Людей почти не было — затишье перед окончанием рабочего дня.

## Безмятежность

— Сколько времени, как думаешь? — мы думали об одном, забавно.

— Часов пять. Наверное. В семь собираться буду.

Она устроилась поудобнее, почти свернувшись калачиком. Забытый плеер свалился на асфальт, я поднял его, положил в коробку и кое-что увидел.

— А хочешь ликера? Грейпфрут-лимон. Хороший. На вечер купил.

— Запасливый какой, — Оля, всё еще улыбаясь, потянулась, и новая футболка обозначила знакомый уже силуэт. — Давай, конечно. А есть из чего?

— Сейчас придумаем, — сказал я, хотя особых идей у меня не было.

Вышел из тента и удивился, какой прохладный воздух снаружи. Мне было хорошо.

А вот Шуре, занявшей свое место рядом с тентом, — кажется, нет.

— Привет, царица бананов! — сказал я. — Ты давно здесь?

— С пол часа уже. Не заметил что ли, кавалер? А это кто там?

— Оля.

— А та, с трамвая?

— Надя.

— Ты даёшь! — она посмотрела на меня с ехидным сочувствием.

— Да как-то... — начал я объясняться, а потом подумал: чего это собственно.

Спрашивать, почему она сегодня поздно, не стал — и так было видно.



## Матвей Булавин

— Ты б поправилась пивом хотя бы, Шур, вечер скоро. Иди возьми, я присмотрю.

— Не лезет пиво, пробовала, — она вяло курила, скорчившись на раскладной табуретке.

— А чего приехала вообще? Отлежалась бы.

— Да тоскливо стало. Что сидеть на рожи эти смотреть.

Какие рожи имелись в виду, я не знал, но вполне мог представить.

Точка Шурина, между тем, выглядела плачевно: столик покачивался на незакрученных ножках — что, впрочем, вряд ли влияло на точность взвешивания; ящики с бананами были свалены кое-как, но сверху — сверху на них стоял лоток сизо-красных яблок совершенно невероятного размера.

— Бельгийские! — гордо сказала Шура, проследив мой взгляд. — Дорогушие. Дали на пробу.

После пива страшно хотелось есть, да и денег почти не осталось, но невозможно было оторвать взгляд от глянцевых боков. Гулять так гулять, подумал я.

— Давай что ли парочку красоты этой, Шур. Раз такое дело.

Заглянул обратно в палатку и сделал большие глаза: сюрприз! Оля послала в ответ густой воздушный поцелуй. Должен ли он тоже пахнуть помадой?

— Матвей, помоги достать. Что-то совсем сил нет, — позвала Шура.

Я снял ящик с бананового развала, поставил рядом, и она принялась неловко выковыривать яблоки из цепких объятий пластикового лотка.

— Полкило, думаю. Сразу заплатишь или как? — взвесить Шура даже не пыталась.

— Слушай, а может, ликера с нами попробуешь? — сказал вдруг я.

— Ничего себе ты добрый сегодня! — засмеялась Шура. Чуть задумалась.— Ну давай. Гадость только ликеры эти ваши. Химия.

— Да нет, этот нормальный. Немецкий типа, — почему-то я сегодня всё время оправдывался. — Ты только возьми у Антонины стаканчиков, а то я с ней поцапался уже.

— Держи тогда, — Шура достала третье восковое яблоко и отправилась к ларьку.

Я пристроил яблоки на весы — они показали 1150 граммов. Закурил. Ветер, уже не такой теплый, продолжал гонять пыль за дорогой. Солнце почти касалось детского садика и узбеков. Скоро собираться и ехать домой. Ехать в общагу. Мы поедem в общагу. Мы будем проводить вечер. Но сначала всё же ликер.

Шура нетерпеливо ругалась с Антониной. Оля качала головой и изучала этикетку. Надя, должно быть, так и двигалась куда-то на бесконечном романтическом трамвае. А у меня были три самых красивых яблока в Гагаринском районе.

— Я поэт, зовусь Парис. У меня для каждой приз, — негромко продекламировал я им.

— Барышня, завесите бананы? — спросил бывший пассажир трамвая.

— Завешу. А сколько времени?

— Тьфу ты. Извини, парень. Полшестого. Это важно?

— Час остался. И погода хорошая, да?

Он не ответил. Не хотел поддерживать разговор. Черт с ним.

## **Матвей Булавин**

Я поправил волосы и решил, что в его килограмме бананов будет пять. Некрупных. Подумал, что, кажется, запомню этот день, хороший день. Когда-нибудь дни изменятся, но сейчас представить что-то другое было решительно невозможно.

И действительно — запомнил.

# Марина Москвина

## Глория мунди

Рот мой полон песней, а язык ликованием, что-то зреет во мне и дает зеленые всходы, как проросший корень имбиря на подоконнике, — ведет неуклонно к тому моменту, когда я подарю свое имя горячей голубой звезде. А что это за песнь и о чем в ней пойдет речь? Точно пока неизвестно, тема — жизнь. Сама жизнь, лишь бы только найти ее ключевую ноту, вот эту точку, начало начал, из которой исходит мир.

Как же так, что я до сих пор не знаю — есть какой-нибудь смысл в этой круговерти или он вообще не предусмотрен? Имеется ли свободная воля, право выбора, рост и *развитие личности*, о чем я который год кручу шарманку студентам и старшим школьникам, а сама ни в одном глазу — например, насколько я безумна, или кто дышит, когда я дышу, кто думает, когда я думаю, предчувствует, осязает? Или мы движемся предопределенными орбитами, и не существует силы, которая бы изменила этот незыблемый маршрут?

## Марина Москвина

Вдруг на твою голову обрушивается Милость в виде богини плодородия, чей теплый виолончельный голос в одно прекрасное утро произнесет в телефонной трубке:

— Несите-ка *всё*, что вы написали, — я хочу выпустить в свет ваше ПСС (полное собрание сочинений). Сначала оптом — в твердом переплете. Потом в розницу — в мягоньких обложках дешевых, чтобы народ мог купить и прочитывать. А вы пока пишете новый роман!

Вот так — Пестунья Небесная! — то вместе, то поврозь начали выходить мои творения — весьма и весьма немногочисленные, причем столь малого объема, что Лёша вынужден был их укрупнять и укреплять, оснащая иллюстрациями.

— Ого, как ты много уже написала, — всё равно ворчал Лёшик.

— Это при том, — отзывалась я, — что пишу абзац в день.

— Но с каким постоянством! — восклицал он. — Люди то запьют, то закручинятся, то во что-нибудь вляпаются, то разводятся, то меняют квартиры... а ты — абзац в день, абзац в день.

Видя, как в поте лица Лёша иллюстрирует мои труды, я поинтересовалась, прочел ли он их, а вернее, со свойственной мне душевной тонкостью, — «Перечитал ли?»

На что тот высокомерно ответил:

— Мне это вообще не нужно — читать да перечитывать. Вы мне скажите название романа, кто написал — приблизительно. И картинки будут лучше, чем текст, я вас уверяю. Пускай *это всё* читают художники без воображения!

Как ни странно, мое безыскусное ПСС немного обогатило нас. И поскольку я всегда была и остаюсь мечтателем, заблудившимся в мире искусственных спутников, сверх-

звуковых самолетов, пластмассовых ложек, алюминиевых аэровокзалов, торговых центров и рукотворных солнц, — я собралась на эти деньги отправиться в Гималаи, в закрытое для европейцев королевство Мустанг и Бутан, — бродить по долинам затерянных миров. Я уже видела себя исследователем, ступившим на неизведанную землю, мечтала о приключениях, опасностях, сильных ощущениях, когда жизнь снова ставит тебя, как древнего человека, под звездами — лицом к лицу с мистерией земли.

Но вместо того, чтобы взойти семенами странствий, мой благодатный золотой дождь неожиданно оросил почву для капитального ремонта.

Целостный микрокосм распался на картонные коробки, добытые Лёшей в табачном киоске. Они проплывали перед нашими носами, источая крепкий запах табака фабрики имени Клары Цеткин, медленно скользили, словно по реке, превращаясь в двухмерные силуэты, скрываясь в ее первоначальных водах.

От макушки до пят мы покрылись белым порошком, на расстоянии вытянутой руки не видно ни зги, небритый молдаванин Марчелло в качестве аванса забрал *всю сумму* на ремонт и ушел. Мы были уверены, что он не вернется, но утром он появился с капитанской трубкой и в тельняшке. До полудня они с супругой Виолеттой что-то рушили, а чуть пробьет восемь склянок, бригадир выуживал трубку и начинал ее раскуривать, пока Виолетта гоняла за бутылкой. Несколько месяцев у нас в доме шумел перегарно-морской прибой. После чего наступил полный штиль, поскольку молдаване канули в Лету. А вместо них воцарился истинно русский Данила-мастер, который с порога объявил, что он нам не жалкий пьяница, но — бери выше — алкоголик в за-

## Марина Москвина

вязке. Данила утомлял тем, что зычно разговаривал сам с собой. Мы были на пороге нервного срыва, когда его сменил армянин Макбет — очень симпатичный, абсолютно без зубов, он предпочитал тихую задушевную беседу с трубами в канализационном шкафу.

В разгар ремонта ко мне приехал человек из деревни, Юра, с двумя взрослыми сыновьями — забрать, что не нужно из мебели. Хотела ему всё отдать, такой он белобородый, благостный. Даже свой детский столик, который еще сделал одноглазый столяр Котов, когда мы жили в Большом Гнездниковском переулке.

А Юра:

— Не надо, не отдавайте детский столик! Пусть он останется с вами. Как вы милы мне. Я обязательно должен вам сказать. Негодяй буду, если не скажу, — надо пить структурированную воду! По тридцать граммов на килограмм веса — церковную, из родника, фильтрованную — сырую! Три месяца — и никогда не будете болеть! Вы запомнили? Ну как вы милы мне, дайте я вас обниму!..

Ушел, потом стучит, звонок не работает. Я открываю дверь — Юра:

— Вы запомнили? Воду! Пить воду!!!

Старых вещей лишились по требованию сына. («Надо, чтобы в доме постоянно звучало эхо! — считает мальчик. — Как только эхо пропало, значит, в доме творится что-то неладное...») Тридцать уже не помню какая годовщина нашей свадьбы, Лёша продал картину под названием «Живущий в хоботе идет на Северный полюс», и мы в «Икее» заказали кровать. Лёшик так и сказал:

— На эту знаменательную дату я подарю тебе кровать.

— А я, — говорю, — подарю тебе любовь на этой кровати!

Из экономии Лёша подружился с мастером-сборщиком из «Икеи» — Джабраилом. Тот очень мало берет за свою работу, но когда сверлил дырки, чтобы повесить шкафчики на кухне, насквозь продырявил две стенки. Лёшик с ним больше никогда решил не связываться. Но слышу — рекомендует кому-то:

— У нас есть замечательный конструктор мебели Джабраил. Он, конечно, много не возьмет, но может всё окончательно разрушить.

Забыла сказать, в связи с выходом в свет ПСС на меня обрушилось не только богатство, но и слава. Не то чтобы «слава-слава», но все-таки, из газеты «Жизнь» обратились:

— Так, мол, и так, составляем гороскопы известных личностей, только назовите свой год рождения, и вам будет гороскоп — на прошлое и на будущее, а вы знай себе подтверждайте попадание в яблочко! Космонавт Гречко остался очень довольный сотрудничеством с нами...

Потом пригласили в ток-шоу «Что хочет женщина». Тема такая: «Если женщина говорит “нет”, то это ничего не значит».

— Не можете сегодня, приходите завтра. Темы: «Любовник только укрепляет семью». И «Большая зарплата женщины — разрушает». Предполагаются звезда и эксперты.

— Надеюсь, — говорю, — я буду звезда?

— Вы будете эксперт, — мне ответили твердо.

Вдруг замаячила на горизонте некая Надежда из программы «Надежда».

— Хотим предложить вам участие в программе «Большая семья».

— Телевидение?



## Марина Москвина

— Ни боже мой, — отвечают мне, — просто *программа* — в чистом виде. Истоки она берет в Индии и в ООН. Тема: СМИ — в борьбе за победу добра над злом. Понимаете, вы — как раз то, что нам нужно. Зачем мы приходим в этот мир и куда идем? Этот вопрос всегда рано или поздно встает перед человеком: что такое душа и есть ли она?..

В общем, единственное, на что я решилась, — дать интервью одной газете, не стоит озвучивать ее звонкое имя, оно и так у каждого на слуху с такими-то миллионными тиражами, подумала: редактор имеет независимые воззрения, новости культуры освещаются неплохо, а в подвал криминальной хроники лучше не соваться, иначе в такое угодишь вареву из жареных новостей, извиняюсь, конечно, за несуразный каламбур, что мое кредо — встречать каждый день изумленьем и восторгом — может не только пошатнуться, а и затрещать по всем швам.

Самое курьезное из этого подвальчика, я повторяю — *просто забавное*: «Женщина в Тюмени прилипла к шлагбауму», «В желудке у мужчины обнаружили два килограмма шерсти...», «Иллюзионист Дэвид Копперфильд обвиняется в изнасиловании», «Страшный скандал: председатель суда — квартирная мошенница! Ее уличили в квартирных махинациях и предложили уйти из суда по собственному желанию, но она отказалась», «В Эстонии поймали пьяного слепого водителя» и так далее и тому подобное.

— Да они выдумывают всё, — говорит Лёша. — ...Только не смей мне рассказывать эти ужасы.

Я говорю:

— Ты ж говоришь, что они всё выдумывают!

А он:

— Да. *Всё* выдумывают, но, наверно, самый ужас — правда.

Мы провели фотосессию, я выглядела неотразимо, в последний раз я так расстаралась много лет тому назад, когда арт-клуб МуХа пригласил меня выступить в роли Снегурочки перед детьми завсегдаев. Помню, сынок еще заметил деликатно:

— Ну что, последний раз Снегурочку играем? Дальше-то пойдет Баба Яга?

Съемка отдельно, интервью отдельно, молоденькой журналистке, которой время от времени позванивал ее бойфренд, и она грустно отвечала, что пока еще занята (дело у них явно двигалось к расставанию), часа за четыре я выложила в деталях всю свою бурную жизнь, наполненную странствиями и благородными подвигами во имя процветания человечества.

Лёша говорит:

— Наверное, когда она уходила, пошатываясь, ты еще бежала за ней и кричала: «Я еще то забыла, это и это!..»

Потом они оба куда-то подевались, я и сама завертелась как белка в колесе. Ремонт обновил мою берлогу, она воссияла, однако весь дом — вверх дном, в бумагах полная неразбериха, и в остальном, естественно, тоже. Надо же умиротворить атмосферу, купить хоть какой-нибудь шкаф, куда можно всё засунуть, распаковать коробки.

В одном конце города у меня сын с беременной женой, в другом — старик-отец. Патриарху — банка с борщом, остальным — полиэтиленовый контейнер с гречкой и жареным минтаем. Пирог через день печется с лимоном — «ли-

## Марина Москвина

монное настроение». Кусочек обязательно соседу — девяностолетнему профессору Богомолу.

Утром звонишь в дверь с горяченьким пирожком. Профессор из-за двери:

— Я сейчас оденусь!

— Не надо, я просто в щелочку просуну!

Но — старая гвардия не сдаётся — его долго нет, мечется по дому, прикрывает наготу, появляется на пороге — в одних трусах.

— Я, — говорит, — по старой морской привычке сплю без всего.

И элегантный жест — БЕЗ ВСЕГО..

У Лёши то и дело выставки в провинции. Вот он уезжает в Ижевск, на родину изобретателя автомата Калашникова, стоит в ванне, тоже голый, мокрый.

— Давай, иди, — говорит, — ухаживай за своим папой. У меня нет мамы с папой, я понимаю, как ты хочешь, чтобы твой папа подольше побыл.

Мы обнялись, поцеловались, утерли друг другу слезы. Я вышла и погасила в ванне свет.

Он кричит:

— НЕ НАДО МНЕ СВЕТ ГАСИТЬ!!!

За полтора года сочинился новый роман — не мудрствуя лукаво я просто и без прикрас описала жизнь нашей семьи, на него у нас вся надежда, свеженький, из типографии, экземпляр торжественно вручила отцу, он звонит:

— Поверишь ли, — говорит мне, — читаю, смеюсь до слез...

После школы папа тулил меня в МГИМО, который окончил с отличием, чуть ли не первый военный выпуск, я уже об этом писала, нанял мне аутентичных репетиторов

из этих священных стен, откуда, как горные орлы, взмывают и разлетаются по миру дипломаты, международные журналисты, историки, экономисты. Всё было предусмотрено и просчитано до мелочей, но когда стали сдавать документы, он, бедный, с ужасом обнаружил в моей школьной характеристике фразу: «...Не отличается особой пунктуальностью».

— Боже мой! — вскричал он. — С такой характеристикой тебе даже в ПТУ нечего соваться! Только безнадежно пропашему человеку без тени перспектив можно залепить в характеристике с места учебы такую дребедень.

Пришлось нам свернуть с этой столбовой дороги к блистающему миру на более скромную стезю и с тем же прицелом сдавать экзамены в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

— Слава Всевышнему, что ее туда не приняли! — радовалась тетя Маня из Витебска. — А то выскочила бы за негра, укатила бы с ним в... Зимбабве. А у того там еще пара жен в юбках травяных и семеро по лавкам — все черные, босые, с кольцами в носу, сидела бы в джунглях до окончания времен, мыкалась, вернуться не на что, только локти кусай и голову пеплом посыпай!..

А впрочем, какая разница, главное, быть открытым для людей и сохранять одновременно тайную и недостижимую связь с мирозданием. Я стремлюсь к морю, к небу, ко всему, что так близко и так далеко. Ты идешь на полсантиметра от земли, уже не на три, но на пол... Ничего, мы включаем в себя и пространство, и время, детство, старость, и семя, и дерево, корни и цветы, с каждым шагом открываются немыслимые горизонты и причинно-следственные связи.

## Марина Москвина

Встретила тут подругу детства, с которой в детстве обрелись в пионерском лагере. Она мне и говорит:

— Помнишь, как ты апельсины под тумбочку закатывала? Их не разрешали хранить в тумбочке. А ты закатаешь и забудешь. Воспитатель отодвинет тумбочку, а там вечно — твои тухлые апельсины.

— Какой ужас, — говорю.

— Ничего подобного, — она отвечает. — Я недавно прочитала, что запах тухлых апельсинов повышает тонус!

Аромат тухлых апельсинов лег в основу моего неизбывного жизнелюбия.

Недаром я чувствую в себе какой-то цитрусовый запал, который только разгорается с годами, что меня подвигло осваивать фламенко. Кто я была такая — до фламенко? Хожу, ссутулившись, смущаясь рубенсовских форм своих... Отныне с этим покончено. Учитель огненного чувственного фламенко, знойная Долорес, открыла для меня неведомые грани женских чар:

— Женщина имеет только плечи, голову и грудь, — она провозгласила на первом же занятии. — Лоб у вас на груди, лицо — на животе. Каждое движение начинается с импульса — ах! — подбородок вскинула... Зачем так резко? Шейные позвонки надо беречь, они уже не те, что прежде: где ваша кантиленность жеста? Линейка на спине, и поплыла — с груди!.. Стоп-стоп-стоп! Что вы как сваренные вчера макароны? ...Кого-то пленить — движение бедра и поправить волосы. Всё. Успокоились. Никакой физиологии! Не дай бог еще что-то упадет!..

Благодаря усердию Долорес я стала из гусыни лебедушкой, «клоун начинается только после сорока лет» — говорил Карандаш, так и настоящая сеньорита, и звон ее кастаньет!

В результате в метро ко мне наклонился огромный дядька в кепке, с усами бывалого байкера, некогда популярными среди ковбоев на американском Западе.

— Лапуль, — он начал философски разговор, — как быстро бежит время!.. Жизнь пролетела — я и не заметил. Тебя как зовут? О господи, у меня первая жена была Марина, вторая тоже Марина, и теперь ты у меня — Марина. Дети есть? Сколько? Один??? А у меня пятеро. И трое внуков. Поехали ко мне? Я тебя не зарезу, это точно, об остальном договоримся. Ты когда-нибудь спала с горнолыжником?

— Ну, это когда снег выпадет, — говорю.

— Не тяни! — предупредил он. — Тебе вообще уже надо торопиться, пока глаз не погас. Телефончик не дашь? Ну конечно, нас-то много таких, а ты одна. Оглянись! — он вскричал на весь вагон. — Ты взгляни на любого вот этими своими глазами — у каждого встанет!

— Ой, брешете, — говорю я.

— Дай руку! — он воскликнул. — Дай свою руку, я тебе докажу!!!

Когда я Лёшику рассказываю, что на улице или в общественном транспорте на меня кто-то обратил внимание, он спрашивает неизменно: а вот этот человек — он был в трезвом уме и доброй памяти?

Да, люди они подвыпившие, как правило. Ну и что? Зато у меня за последние три месяца набралось два подобных случая. Второй такой: гуляю с собакой во дворе — у нас английский сеттер Лакки, вылитый Бим Черное Ухо, только ухо рыжее, когда-то в жуткий мороз я купила щенка на Птичке, таксист еще спрашивал — на кой тебе собака, а я отвечала ему: по причине острой нехватки любви и душевного огня... Так вот, с той поры минуло семнадцать лет, мы с Лак-

## Марина Москвина

ки, не торопясь, прохаживаемся около овощного магазина, а на ступенях — кавказец с мрачным и гордым взглядом.

— На охоту ходишь? — он спрашивает у меня.

— Нет, — говорю.

— Зачем собаку зря тратишь?

И, не дождавшись ответа, с чувством гипертрофированного достоинства предлагает мне... свое сердце, ибо он где-то здесь квартирует и ему как раз удобно встречаться с женщиной по месту жительства. Тамаз его звали.

— Вы презентабельный мужчина, — говорю я со всем уважением. — Но у меня много работы и мало времени.

— А что ты делаешь?

— Пишу роман.

— РОМАН???

— Ну да, — говорю, — а вы чем занимаетесь?

— Коммерцией занимаюсь, — ответил он горделиво, — спекуляцией занимаюсь. Думаешь, ты мне нравишься? — доверительно продолжал он. — Мне просто скучно, понимаешь? Мне нужна женщина в Москве. Я уехал, она меня ждет. Я приехал, у нее остановился.

— Я понимаю вас, — говорю я. — Но мой муж очень не любит, когда у нас кто-то останавливается. Вы лучше вечерами наблюдайте за кометой, сейчас на вечернем небе отлично видно комету Хейла—Боппа! Это развеет вашу тоску. А когда вы освоитесь тут и сколотите капитал, советую приобрести небольшой телескоп, который вы установите на крыше овощного магазина... Вашему взору, Тамаз, откроются звезды, галактики, сверхплотные карлики и холодные гиганты, и тут же крохотные частицы, которые не только невидимы, но невесома... Кстати, мы можем сходить с вами в планетарий...

— И что на это ответил Тамаз? — поинтересовался Лёша.

— Он сказал: «Слушай, если ты сама не хочешь — познакомь с подругой!»

Я мысленно перебрала в голове, кого бы из моих друзей мог осчастливить этот скучающий чайльд-гарольд, особенно те пришли на ум, у кого высокий холестерин, поскольку одной моей старой подруге Лёша так и заявил: «Уровень твоего холестерина соответствует твоему темпераменту!» — но ни на ком не остановила выбор.

Кстати, когда я закончила предыдущий роман, решила — всё, отныне только повести и рассказы: большая вещь страшно выматывает писателя, ты становишься одиноким, потерянным, отчаявшимся созданием, живущим радостями загадочного мира.

И тут же во мне забрезжил замысел нового романа.

Вокруг любимые старики погружаются в забвение. Я выкраиваю время, полдня еду на перекладных, покупаю гостинцы. А назавтра слышу:

— Ты бы хоть зашла когда-нибудь, совсем забыла меня, старика!..

Учитель мой, большой прекрасный поэт, неожиданно по телефону перешел со мной на «вы».

— А вы приезжайте ко мне в гости — я буду рад. И съездите как-нибудь в Углич. Там хорошо. Я ведь родился в Угличе и провел там свое детство. Вы слышали мои стихи об Угличе? Мне уже больше восьмидесяти лет.

— Целую вас! — говорю я опечаленно.

— И я вас!.. — отвечает он.

В результате я забыла, какая у меня квартира. Пришла брать справку в ДЭЗ. В очереди стоят люди из нашего дома, сидит бухгалтер. Она спрашивает:

— Какой у вас номер квартиры?



## Марина Москвина

А я улыбаюсь смущенно, силюсь вспомнить:

— 132? (Мамина.)

— Нет.

— 309? (У нас была на Коломенской.) 48? (В Черемушках, в юности.) 421? (В Большом Гнездиновском переулке — в детстве.)

Бухгалтер мне говорит:

— Ничего, ничего, не волнуйтесь, — искала в компьютере. — Москвина? 223 квартира. Запомнили? 223!..

В общем, звонит мне мой дорогой учитель и говорит: в такой-то газете вышло твое интервью. Я так обрадовалась, спрашиваю:

— А фотография красивая?

— Ну, так... — отвечает он уклончиво.

— Что — нет?

— ...такая, — говорит он, — волосатая.

Одно это меня насторожило. А тут он еще добавил:

— Чернявая и курчавая.

— А молодая?

— Молодая. Тебе здесь лет семнадцать.

— А я там мужчина или женщина? — задаю навоящий вопрос.

— Ты понимаешь, какая штука. Скорее женщина, чем мужчина.

— А это вообще — я?

— Ну, может быть... — сказал он. — Я уж тебя не видел две недели, могу немного ошибиться. Вроде ты.

Я заглянула в интернет и ахнула. В кои-то веки — большое со мной интервью на полполосы, блистательное, искрометное — и всё это великолепие венчает абсолютно не моя фотография.

...Естественно, я и не думала придавать значение такой чепухе, не нам, искателям истины и света, страдать по такому ничтожному поводу. К тому же в буддийских текстах говорится, что надо обладать огромной решимостью — искать ответ на вопрос: *где твое истинное лицо?* *Дабы не оказаться лицом к лицу*, там так и сказано, *с глубочайшим страхом возможности понимания, что мы не существуем.*

У меня и без того полно неприятностей. Я тут рассказываю старику-отцу о своей сказочной соседке Аиде Пантелеймоновне, которая насылает на меня сверху разные бушующие стихии.

— Представь себе Нефертити, — говорю я ему, — так это она, только в пенсионном возрасте...

То сверху стройными шеренгами, чеканя шаг, спускаются по канализационной трубе тараканы (да и клопы от нее к нам заглядывают!), то водопады обрушиваются на наши с Лёшей головы (и это после эпохального ремонта!), то изо всех щелей вырываются клубы пара, сопровождаемые наваристым запахом жизни, особенно когда Аида Пантелеймоновна варит селедку в луковом супе. Ругаться с ней невозможно: она не открывает дверь и не подходит к телефону, я видела ее только раз, мою небесную Аиду с подведенными сурьмой глазами, столь величаво поднимавшуюся по лестнице к лифту, что было бы кощунством воспользоваться случаем и закатить ей скандал.

— Вот ведь какая — египтянка, — посмеивался старик-отец. — Осталось, чтобы сверху поползли скарабеи...

Главное, такой благостный, душа любой компании. Женщины от него без ума, стоматолог увидела его в поликлинике, закричала на весь коридор: мой драгоценный!!! Заходите скорей! (Чего он как раз боялся, потому что у кабинета си-

## Марина Москвина

дел дедуля, и старик-отец непременно хотел его пропустить вперед, хотя — в любом случае — тот его гораздо моложе.) Консьержка в подъезде, мы даже не знаем — нормальная она или нет? Когда он идет мимо нее, всегда говорит: «Если б вы знали, как я вас люблю. Можно я вас поцелую?» — «Валайте!» — он отвечает. Она обнимает его и целует, целует!.. И все газеты с журналами ему отдает, не только его, но и принадлежащие другим людям: «Берите, берите, — бормочет, — вам нужнее!..»

Вдруг он позвонил в Переделкино, куда я поехала сочинять новую семейную сагу, взбудораженный, огорченный. В чем дело?

Не понравился роман!

Как так? То радовался, смеялся...

— Да, смеялся, радовался, пока дело касалось не меня!

Но как только речь зашла о его родне — ему сразу стало не до смеха.

— Зачем ты приплела, — он спрашивает строго, — дядю Хоню, мужа нашей тети Мани?

— А что такого? Что он за персона нон грата?

— Как ты смеешь над ним подтрунивать, когда дядя в годы войны заведовал типографией в партизанском отряде и распространял — с риском для собственной жизни — листовки антигитлеровского содержания?

Я стала оправдываться, что дядя Хоня в моем романе абсолютно положительный герой, без сучка без задоринки!

— Ну и назвала бы его, — сказал папа, — ...дядя Ваня.

Слышу — мальчик:

— Да она всех нас у себя в романе вывела в смешном виде!

— Она даже надсмеялась над сантехником! — пробился сквозь стройный хор осуждающих голосов мой муж Лёшик. — Когда тот всё сделал от себя зависящее, чтобы починить унитаз, она ему заявила: «Какой вы замечательный мастер...» И добавила: «...своего дела».

Тут я не выдержала и заплакала:

— Как вам не стыдно, — говорю, — о всех о вас я написала с такой теплотой и любовью!..

— Ну ладно, ладно, — старик-отец первым пошел на попятный. — Не плачь, пошутили и хватит.

— К чему так на дружескую критику реагировать болезненно? — заволновался Лёшик.

А мой дорогой мальчик добавил:

— Тем более я тебе подарочек припас — «Практики Чод на каждый день» в золотом оформлении на мелованной бумаге...

*Слушайте, благороднорождённые!* — тут же загудело у меня в голове. — *Моя линия учения — сердце всех учений Будды, мощный способ уничтожения пяти ядов, высший метод, клинок, рассекающий корни и путы, магическая сила, высшее лекарство, верный способ достичь состояния Будды за одну жизнь... Вам, напоминающим звезды, или горящие факелы, или светильники, чьих сил недостаточно, чтобы разогнать тьму для всех живущих, надо развернуть ум прочь от круга бытия, отрезать путы привязанности, отдать всё свое тело, собственность, жизнь, свое эго, чтобы увидеть воспринимаемый мир как иллюзорный, как пустоту, сновидение и мираж.*

Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои, — следовало бы, конечно, посвятить жизнь состраданию и милосердию, освободиться из плена желания, из

## Марина Москвина

тлена бытия, как-то не пропасть, не сгинуть во мраке на этой брэнной земле, дожидаться — когда сознание раздвинет свои границы, а тело обретет невиданную свободу, — еще так хочется любить и быть любимой! А Лёша:

— Понимаешь, я сейчас занят придумкой — насчет плота восемь метров на восемь, пять метров высотой, мне туда надо поместить луну круглую зеркальную диаметром три с половиной метра для города Выксы, фестиваль Арт-Овраг...

В нашем возрасте любовь — уже целое событие.

Друзья Лёши, известный карикатурист с женой, угодили в автомобильную аварию, перевернулись, повисли, на ремнях пристегнутые, вниз головой, боятся взглянуть друг на друга, слава Аллаху, всё обошлось... Вернулись домой, хлопнули коньяка и занялись любовью, чтоб расслабиться.

— Это, я понимаю, повод! — он подытожил.

Словом, последний, кто стал протаптывать ко мне стежки, был старый финансист американский, приехавший к нам выяснять, как тут растрачивают его деньги.

— А вы горите по ночам? — спросил он, ошарашив меня этим вопросом, поскольку я-то, может быть, и горю, но что творится в космосе? Солнечная активность на пределе — бушуют невиданные магнитные бури, Луна приближается прямо на глазах, уже расстояние от Земли до Луны достигло минимального промежутка, свирепствуют тайфуны и цунами, океанический шельф так и ходит ходуном, движутся тектонические плиты...

— Да еще «Сталкера» по телевизору показывают, бессовестные, — жалуется Лёшик.

Я даже не знаю, что дает мне силы оберегать его усердную, ревностную жизнь?

Сколько я даблоидов ему сшила — не перечесть, внутренние органы из панбархата строчу без остановки, осыпаю их блестками и бисером, драгоценными камнями, сердце — *трудяга простой*, печень в цветах, *говорливые почки*, stomach, похожий на галактический рукав, усыпанный звездными скоплениями... Фаллос воссоздала по памяти, Грановитая палата по этому фаллосу плачет! Главное, несу экспонаты на выставку, а он, как его ни утрамбовывай, торчит из рюкзака, ну, я махнула рукой, в конце концов, многие вообще не поймут, что это, а у других надо воспитывать уважение к...

— Ладно, меня ждут мои чертежи, — приветливо говорит Лёша, оставаясь ночевать в мастерской. — А ты молодец, что позвонила. ...Не пропадай!

Или он говорит мне:

— До связи!

Сидит — вяжет крючком из махориков домашний атомный гриб. И за этим занятием совсем забросил секс.

— Да ты сама виновата, — он отвечает, любуясь цветовой гаммой. — Такую скорчишь физиономию, — он показал какого-то бурундука, — и лежишь очень строго.

Словом, бегаю туда-сюда, изо всех сил стараюсь, если перечислить мои богоугодные дела — ими можно выстелить дорогу в рай, плюс бесконечные выступления в школах, библиотеках, участие в благотворительных сборниках, аукционах, серию фильмов сняла документальных об умственно отсталых людях — с собой в главной роли...

Мальчик мне говорит:

— Мы уже от твоих добродетелей прямо не знаем куда деваться!

## Марина Москвина

А Лёша гнет генеральную линию:

— Ты должна роман дописать — за свою жизнь. Сколько там тебе — лет двадцать осталось? Надо закончить, издать и премию получить!

Да еще нежданно-негаданно пригласили в передачу «Полиглот» изучать язык хинди. Я, конечно, согласилась. Хотя хинди — абсолютное излишество в моей жизни...

Старика-отца все спрашивают знакомые:

— Видели по телевизору вашу дочь. А почему она выбрала именно хинди?

— Потому что все остальные языки она уже знает, — он отвечает, не колеблясь.

Учителю моему восемьдесят пять, Дом литераторов давай готовить юбилейное торжество с большим размахом, какими-то правдами и неправдами раздобыли средства на фуршет.

— Если б ты только знала, — сказал мой дорогой Учитель, мы договорились с ним встретиться в нижнем буфете ЦДЛ, — сколько рук я перепожимал, пока тебя ждал, и скольким людям мне пришлось сказать, что я их помню!

Я и сама иной раз напоминаю себе в метро: ты едешь к студентам, у тебя лекция в Институте современного искусства...

— Начало Альцгеймера? — весело пошутил чуть не столетний профессор Богомолов.

Одинокий старичина бредет под ветром из «Пятерочки», без перчаток, в руках парусят полиэтиленовые пакеты — душа обрывается. А спросишь: как жизнь, свет Олег Витальич? «Как в сказке, — отвечает. — Чем дальше — тем страшнее. А чем страшнее — тем интересней!» — добавит

залихватски. И что-нибудь философское процитирует из Губермана.

— А вот и Владислав Ходасевич! Не знаете этих стихов? М-мадам!!!

Я приготовилась вести вечер, неделю обмозговывали программу юбилейного торжества, кандидатуры ораторов.

О ком-то зашла речь, неважно, о ком именно, юбиляр вздохнул:

— Не хочется иметь с ними дело. У них нету... этого...

— ...Ничего, — говорю я, — они *это* приобретут с годами.

— Да! — согласился он. — ...Но будет уже поздно.

Мы подсчитали, набирается восемьдесят гостей. Поэт ночь не спал, а утром позвонил в секретариат СП и твердо отказался от празднования.

— Как сказал Махатма Ганди, — он мне потом объяснил, — надо разгружать свою жизнь. Что я и сделал.

Мы сидели молча, глядя друг на друга.

— Весь этот час, что я тебя ждал, — произнес он после долгой паузы, — я всё время думал: господи, только бы ей ничто не помешало прийти ко мне!

Прошло некоторое время, и он добавил:

— Как удивительно: в таком большом шумном городе мы с тобой сидим в тишине.

— Знаешь, — сказал он на прощание, — я так рад, что ты у меня есть...

— А как я рада, что вы у меня есть!

— Я у тебя был, — сказал он.

...Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, по слову Которого наступает вечер, и Который мудростью Своей открывает небесные врата и по разумению Своему



## Марина Москвина

чередует времена и располагает звезды по местам на своде небесном по воле Своей! Ведь тут же всё нереально в этом мире — что ни возьми! Как это ум наш ввел в систему и упорядочил, например, две такие вещи, как смерть и рождение? А старость? Взросление? Любовь? Разлуку? Забвение? *Вечную память?*

Разве это возможно осмыслить на бытовом уровне? Даже поэтически!

Как мы доверили себя такому сказочному, полностью неправдоподобному ходу событий? Да еще расположились среди этого всего с комфортом! Ей-богу, сомнение намного резонней замыленного взгляда на жизнь. Я даже не знаю, жили те люди на свете, которые умерли? Или они просто снились нам? Куда же они подевались? И не ошибочно ли — то, что я живу?

А впрочем, лучше принять на вооружение слоган соседа-старика Богомолова *«Жизнь хороша и удивительна, если выпить предварительно!»* и не ломать себе голову вечными вопросами бытия. Просто перепрыгивать с камня на камень, как путник переходит через горный поток, и делиться своей радостью, петь о солнце, о безумной любви, об изменчивом ветре, о ласточках, о бродяжничестве и беспечности, слова сами станут приходить ко мне, а я буду просто бросать их на бумагу и тут же забывать, пока тайна тайн не откроется мне, лик непостигаемого, прячущийся позади Вселенной.

В день рождения мэтр получил две телеграммы от известнейшего молдавского поэта, которого он много и плодотворно переводил. Первую: «Любим и ценим и любим». А вторую тот подредактировал: «Любим и ценим, ценим и любим». Видимо, забыл, что уже одну отправил...

## Глория мунди

— Поверишь ли, — сказал мой Учитель, — столько было звонков, что я не мог отойти от телефона даже по малой нужде!

Прошла зима. Весной именем моего Учителя в родном городке Угличе назвали старинную детскую библиотеку, да еще в ней решили устроить музей знаменитого земляка, о чем я не замедлила ему рассказать, позвонив по телефону.

Он помолчал, а через некоторое время произнес фразу, которой мог бы гордиться любой самый отрешенный йогин:

— *А это не чересчур?*

Я рассказала, что еду в Крым выступать на фестивале студентов и школьников, а заодно искупаться и позагорать, он это очень одобрил.

— Вы даже не представляете, как я сейчас выступаю! — говорю. — Я танцую, пою, а кроме всего прочего, глотаю факелы!

— А я вспомнил слово «гобелен», — сказал он. — И фамилию жены Антон Палыча — Книппер-Чехова! — с гордостью добавил он.

— Как это вам удалось??? — я искренне восхитилась.

— Очень просто! Песню «Полюшко-поле» написал композитор Книппер. Я даже вспомнил, как ее звали: совсем не Мария Павловна, как мы с тобой гадали, Мария Павловна — это сестра, а — Ольга Леонардовна! Так что теперь мы можем быть спокойны и счастливы.

— Ну — рада вас слышать и желаю вам хорошего дня, — сказала я.

— Могу себе представить, — ответил он.

В аэропорту я еще в Москве почувствовала себя вольной птицей — будто по жизни вела меня какая-то счастливая

## Марина Москвина

звезда, только не одна из видимых нами, нет, *то была божественная и ангельская сила, явившаяся в образе звезды, ведь она двигалась с севера на юг, а звезды никогда не ходят от севера к югу.*

От Краснодара ехали горами, через перевал, темнело, с пляжа возвращались курортники с полотенцами, в купальниках и вьетнамках, с надувными крокодилами. Я бросила вещи в гостинице и сразу побежала — окунулась в море: пустынный берег, теплая вода.

Вечно я волнуюсь перед выступлением, шуршу бумажками, штудирую философов и просветленных гуру, которые говорят с нами о сокровищах, неподвластных времени: Сократ, Платон, Сенека, Лао-цзы, листаю лихорадочно блокноты, заучиваю наизусть стихи. Гордая осанка, ритмичный стук каблуков, песня, идущая из самого сердца и рождающая в душе слушателей бурю чувств, эмоциональное, страстное, ритмичное повествование о том, что все мы — частицы Единой Реальности, старые знакомые, связанные друг с другом незримыми нитями космического происхождения.

Короче, поднимаюсь на сцену, передо мной притихший зал, всё совершается само собой, без всяких усилий в нужный момент приходят нужные слова и жесты, время потолковать о многих вещах: о башмаках, о кораблях, о сургучных печатях, о капусте и о королях, о вдохновении, творчестве...

А между тем замечаю — какая-то странная волна движется по залу, только не та упоительная вибрация, которая подхватывает тебя, и ты летишь над океаном, ни боже мой! Нет ни малейшего отголоска и единенья душ: ребята шушукуются, посмеиваются в ладонь, передают друг другу по рядам — то ли журнал, то ли газету, издалека не поймешь.

Я увлекаю в даль светлую, диктую список литературы — только один, белобрысый, в майке с надписью “I tired” что-то записал к себе в айфон, потом показал соседу, тот сделал круглые глаза.

Ладно, я их отпустила, в конце концов, нам, зовущим воспарить над убожеством жизни, не привыкать! Сложила в рюкзак путеводные книжки, чашу Вселенной, привезенную из Гималаев, гудящую раковину ямабуси с Фудзиямы, иду мимо рядов, смотрю — лежит газета, развернутая на первой полосе, и — моя физиономия крупным планом!

Редкий случай, чтобы я была довольна собой, но тут даже залюбовалась, черт возьми, до чего хороша — ясноокая, с голубыми глазами. Правда, почему-то в разделе происшествий.

Читаю заголовок — и просто не верю своим глазам:

### МАРИНА МОСКВИНА ОТРАБОТАЕТ КАЖДУЮ БУТЫЛКУ!

Буквы поплыли, колени подогнулись, ноги стали ватными...

«Марину Москвину приговорили к исправительным работам за кражу спиртного. Женщина и ее подруга пытались вынести несколько бутылок с банкета...»

И под этим броским сообщением красуется мой шикарный портрет — из той нашей эпохальной фотосессии. Далее следовал текст — поразивший меня наповал, хотя и до крайности неуклюже сработанный:

«На исправительные работы направил Гагаринский суд столицы Марину Москвину, которая вместе с подругой пыталась украсть на банкете алкоголь. Как уже писала наша

## Марина Москвина

газета, *комическая* история произошла 26 декабря 2016 года на корпоративе одного из столичных банков, где незваными гостями оказались актриса Марина Москвина (*женщина* снималась в короткометражных фильмах) и ее безработная подруга. Как затем признались сами *женщины*, периодически они посещали такие закрытые вечеринки. Там они находили и стол, и веселую компанию *импозантных мужчин*. Так было и на предновогоднем банкете финансистов в гостинице “Корстон” на улице Косыгина. По завершении мероприятия гости заметили непечатые бутылки на столах и спросили у официанта, можно ли их забрать. По словам *женщин*, они собирались взять их для празднования Нового года. Официант ответил согласием. В итоге *женщины* поместили в пакет бутылку шампанского “Абрау-Дюрсо” и бутылку виски и засобирались на выход. Но там им преградила путь разъяренная *женщина*, которая потребовала вернуть спиртное, а затем вызвала полицию. Как сообщили газете в Гагаринской межрайонной прокуратуре, *за покушение на грабеж* суд назначил *женщинам* 200 часов исправительных работ, и теперь Марине Москвиной придется отработать каждую бутылку».

В инете репортаж из Гагаринского суда оказался еще более подробным и несуразным по стилю и составу преступления, однако на сей раз его увенчивал не просто мой циферблат, а внушительный поясной портрет с мечтательным взором и загадочной улыбкой. Отныне этот симбиоз высказывал моментально, стоило в поисковике набрать теги «алкоголь», «кража», «суд» и «грабеж».

Понятно, что произошла кошмарная ошибка, недоразумение, которое немедленно должно разрешиться. Мне про-

сто почудилось, померещилось, приснилось, вот-вот я проснусь и — *яко исчезает дым* — всё исчезнет.

Увы: фотография и текст неразрывно сплелись и уже не мыслили себя друг без друга, портрет был не то что помещен на газетную полосу, но облюбован чертовым редактором, тщательно выбран этим придурком из галереи моих портретов, сделанных неплохим фотографом, и злонамеренно окружен текстовым овалчиком: де — полюбуйте, люди добрые, на что способна так называемая «артистка», авантюристка и аферюга, ха-ха-ха-ха, вот ее истинное лицо... *а еще в шляпе!*..

Я устремила взгляд в ясное пространство и попыталась сделать сильный вдох, удерживая сознание на грани помешательства. Ничего не вышло. Мне казалось, что каждый встречный меня узнаёт в лицо, куда бы я ни направила стопы, всюду шли, ели кукурузу и чебуреки, пили пиво, загорали, плавали на резиновых крокодилах читатели газеты с миллионными тиражами! Куда ни прилети — где ты бывала-выступала (и не по одному разу!): Архангельск, Абакан, Волгоград, Владивосток, Омск, Томск, Челябинск, Чебоксары, Тверь, Кандалакша, Мурманск и Тагил, Якутск, Хабаровск, Нижневартовск и Сургут, Нефтеюганск и Астрахань, Белгород, Курск, Петропавловск-Камчатский, Камень-на-Оби, Южно-Сахалинск... Везде они! А дальше больше — Греция, Австралия, Египет, Израиль, Казахстан, Киргизия, Америка, Молдова — *ползет подземный змей, ползет, везет людей, и каждый — со своей газетой (со своей экземпой!) жвачный тик, газетный костоед, жеватели мастик, читатели газет... ни черт, ни лиц, ни лет...*

Вечером я улетела в Москву, не простившись с организаторами фестиваля. Меня встретил очумелый Лёшик, вах-

## Марина Москвина

терша показала ему газету. Старик-отец еще не видел свою дочь в криминальной хронике, его спасло то, что он прихворнул. Временами, ни с того ни с сего, без всяких признаков простуды, у него подскакивает температура и падает чуть не до истока — если принять аспирин.

Лёшик его спрашивает:

— А что вы чувствуете при этом? Вам холодно — или что?

— Ни жарко ни холодно, — тот отвечает с мудрой улыбкой. — А уже всё равно.

Этот-то номер я и передала адвокату. Мы встретились в Венском кафе напротив Третьяковки: деловая сухопарая блондинка с короткой стрижкой, юбка-карандаш, очень положительная — Кассандрова ее фамилия, меня это, конечно, впечатлило. Кассандрова заказала напиток со льдом из... базилика, я — сырники, в кафе я всегда ем сырники со сметаной, это недорого и вкусно.

Мы обсудили план действий.

Выставить требования редакции:

1. Принести публичное извинение.

2. Изъять из обращения остаток тиража (хотя это нереально — пускай почешут репу!)

3. В счет погашения морального вреда, причиненного их гребаной публикацией, выплатить М.Л.Москвиной денежную сумму в размере...

— В какую сумму вы оцениваете свои честь и достоинство? — серьезно спросила Кассандрова.

— В миллион, — сказала я не раздумывая.

— Один?

— Один, — кивнула я.

Кстати, если кто не в курсе — услуги адвоката весьма недешевы, буквально каждый шаг требует немалых финансо-

вых вливаний. Скажем, письмо в газету могла бы я и сама настроить, но опытный глаз, предупредила моя защитница, мигом отличит — когда пишет жалобу «тётя Маня», а когда юрист. Потом разные технические хлопоты — отнести, принести, отправить, получить и так далее. У нас, например, закрыли почтовое отделение. Куда-то ее перевели, неизвестно куда.

— Безобразие! — возмутился Лёша. — Самое святое, что изобрело человечество, — это почта. Почтальон умирать будет — встанет и пойдет! Даже в Гражданскую войну почта работала...

Месяц им на раздумье, как половчее извернуться и ускользнуть от ответственности за свой косяк, для чего они держат закаленный в подобных передрыгах юротдел, всегда готовый к выгораживанию своих папуасов.

Внезапно выяснилось, что и моя Кассандрова намерена двинуться в атаку с напарником, он по профессии геодезист, инженер, но учится на адвоката, хотя совсем взрослый человек, папа у него художник Гололобов — прославленный социалистический реалист, автор картины «Взятие Берлина», широко известной по энциклопедиям и хрестоматиям советской живописи. Старик и сейчас в строю, а его сын Федя — оказался на редкость талантливым стратегом и «может всегда придумать что-то интересное, если мне в голову ничего не придет!» — сказала его партнерша.

С Федором Гололобовым я так и не познакомилась, только получила страницу паспорта с мутной фотографией для оформления доверенности — в том, что они с Кассандровой вправе защищать мои интересы во всех судах судебной системы Российской Федерации, и поскольку дело у нас тонкое, таящее неожиданные взлеты и изгибы —



## Марина Москвина

в поисках справедливости дойти до третейского суда, мирового суда...

Страшный суд я не стала включать в нотариальную доверенность, надеясь, что дотуда распря не докатится.

Обуянные жаждой мести, мы с Лёшей напрочь забросили хозяйство. Все мысли были о решительном бое. Я пошла в магазин, купила муку, соль, сахар...

— А порох? — Лёша спросил сурово.

Фантазия рисовала нам упоительную картину: вызванных на ковер газетчиков из отдела «срочно в номер» — как они стоят, потупив носы, понутив неправильной формы головы, с унылым и безучастным видом, с темными улыбочками. Между тем главный, который наверняка во время учиненного ими ералаша охотился в Африке на львов, — мечет с Олимпа грома и молнии. А с них — как с гуся вода.

— Что ты хочешь? — говорит Лёшик. — Народ алчет новостей. Хотя все новости, если присмотреться, одни и те же. В прошлом году я смотрел по телевизору: на Новый год в психбольнице елку вверх ногами подвесили к потолку и водили хороводы. Мне это запомнилось. А год спустя снова сообщили то же самое. Где они другое-то возьмут?

За время нашей борьбы я превратилась в паупера — высоким стилем так именуют голодранцев. Лёшик на моем фоне выглядел компаньоном и благотворителем.

— Гони, Лёш, деньги, — говорила я ему, отправляясь к нотариусу за протоколом письменных доказательств моего подмоченного авторитета. — Ты же знаешь, я на бриллианты и на меха не трачу.

— ...а только на космические исследования! — подхватывает он. — Насколько далеко звезды простираются, мы должны изучить. И спустим на это все наши гонорары!

За разговорами о том, как бы половчее прищучить наших обидчиков, муж мой надевал носок, и — трах-тара-рах! — его пятка с треском оголилась.

— Sic transit gloria mundi, — торжественно произнес он. — О скоротечности жизни и о длине дороги мы узнаем по рваным носкам.

Вскоре я получила от своих защитников готовую протестную ноту. И хотя Кассандрова на все лады расписывала ужасающие последствия, которые *могли бы случиться*, но не случились по вине этих лопухов, главной мыслью было: «Увидев свой портрет в разделе криминальной хроники, Марина Львовна перенервничала». Искомый миллион в подобном контексте выглядел по меньшей мере блефом.

Мы приняли нелегкое решение уполовинить цену за мою попорченную честь. Но и тогда адвоката одолевали сомнения. Для пущего драматизма явно следовало усугубить моральный ущерб, не хваталоотягчающих обстоятельств. Тем более что какие-то инциденты всё же имели место.

Вчера позвонил мой друг детства Егорка Шумидуб, ему пришлось где-то по случаю забежать в общественный туалет.

— И представляешь? — он мне докладывал с места события. — На гвозде болтается лишь один клочок газеты с твоим портретом. Я просто не знаю — на что решиться!..

Еще на книжной ярмарке у меня попросила автограф читательница, видно, не от мира сего, попросила ей написать на книжке: «Елене с Сириуса», после чего воскликнула при всем честном народе:

— Так это вы украли бутылку с вечеринки?

Нет, я понимаю: всё это не в счет. Но мы столько времени ухнули, нервов и денег, столько было забот, конфликтов

## Марина Москвина

и нерешенных проблем, черт с ним, с миллионом, хотя бы что-нибудь окупилось, мы с Лёшиком были бы рады.

Но с точки зрения юриспруденции мой случай считался каким-то невыпуклым, неколоритным, подмоченная репутация в чистом виде не поражала воображение. То ли дело — повыгнали бы отовсюду, вдрызг разорвали дружеские и деловые связи, муж ушел к другой, истец загремел в больницу, жизнь должна покатиться под откос после всей этой галиматьи, тогда свара стоила бы... мессы.

— А нельзя это как-то организовать? — спросила Кассандрова.

Я крепко задумалась, какой можно мне нанести вещественный урон как писателю и общественному деятелю?

— Ну, например, тебя можно выгнать из редколлегии «Мурзилки»! — предложил Лёшик.

Я позвонила в журнал, они, разумеется, были в курсе, близко к сердцу приняли мою беду и мгновенно прислали эпистола с изображением Мурзилки в красном берете с кисточкой. В нем говорилось, что после случившегося Мурзилка меня знать не знает, видеть не хочет, дел со мной иметь не желает, из редколлегии пока не исключает, но на презентации и фуршеты приглашать больше не будет.

Плюс мы написали нашему эстонскому другу, Тоомасу Каллю, который перевел уже две мои книги и собирался взяться за третью, — чтоб он сочинил строгое письмо, дескать, прочтя о вопиющем случае касательно воровства бутылки, он наотрез отказывается переводить меня на эстонский язык, поскольку все-таки он переводил Гоголя, Булгакова и Быкова, приличных, в общем-то, людей, и не хотел бы свое доброе имя ставить в один ряд с беспутными русскими мошенницами.

Тоомас, бедный, как ни старался, не мог взять в толк, что от него требуется, поэтому решил на всякий случай отложить перевод моей книги до лучших времен.

Шло время, никто передо мной не собирался извиняться. Однако почуяв неладное, на сайте газеты портрет заменили втихаря на бутылку красного, и это мгновенно повлекло снижение просмотров: со мной-то уж пересмотрели мириады!

— Душа моя чиста, совесть кристальна, сердце бьется ровно, — каждое утро напоминал себе Лёшик на всякий пожарный, ибо это событие нас совершенно выбило из колеи.

— Хорошо хоть не из седла! — подбадривал он меня. — Выбьют из седла — держимся, чтобы не сбили с ног, с ног собьют — стараемся, чтобы в яму не скатиться...

Он стал так нежен со мной, так внимателен, как с человеком, пережившим кораблекрушение.

— Это нашему брату, авангардисту, — даже на пользу, — шутил он, — чтобы его имя трепали повсюду, неважно в каком контексте. А даме — нужно другое...

Он подошел ко мне, я жарила яичницу, и обнял, а сам такой горячий!

Я:

— Лёша, — ему шепчу, — ты обжигашь меня!

Оказывается, он прижался ко мне с чайником на животе.

Охваченные огнем желанья, мы с ним слились неразрывно, и весь этот мир с его дребеденью куда-то провалился, осталось только дыхание вечности. Так мы парили, полные жизни и любви, созвучные с целым, порвавшие пути, подвластные лишь небесной гармонии. В воздухе музыка заиграла из какого-то советского кинофильма времен оттепели, когда в финале герой уходит вдаль, помахивая чемо-

## Марина Москвина

данчиком, то ли он жениться собрался, то ли уезжает на БАМ, одинокий, но просветленный...

Вдруг звонок в дверь. Лёша говорит:

— Иди, открывай, это тебе пенсию принесли.

Я открываю, стоит почтальон и протягивает заказной конверт — из редакции.

В конверте лежало ответное послание, написанное высоким суконным стилем, особенно хороша была фраза, уж точно не от «тёти Мани», она б до этого не дотумкала:

*«Для минимизации возможных негативных для Вас последствий в той же рубрике “срочно в номер” мы опубликовали соответствующее сообщение...»*

К этой напыщенной херне прилагалась газета, где на первой полосе — опять в той же самой, туды ее в качель, криминальной хронике — в уголке приютилось жалкое извинение, дескать, бутылки утащила одна Москвина, а портрет-то де-журному по «срочно в номер» подвернулся — ее тезки, вследствие чего вышло маленькое досадное недоразумение, можно даже сказать, метаморфоза. Москвина же, та, чей светлый образ им попал под горячую руку, — это всем Москвиным Москвина, и побольше бы таких Москвиных, вот что мы обязаны донести до сведения наших дорогих читателей.

О «возмещении», разумеется, не было ни слова. И на сей раз вовсе обошлось без портрета. Правда, над сиропом, которым они щедрою рукой залили свою оплошность, — красовался портрет тыквы, освещенной солнцем, мол, некий огородник вырастил чудо-тыкву размером с запорожец. «Самая большая тыква России пришлась бы Золушке по душе», — гласил заголовок.

Такого еля «хроника происшествий» не видала с сотворения мира. Жуткие криминальные драмы скромно ото-

двинулись в сторонку и выглядели необходимым балансом к нашему с тыквой неумному разгулу позитива.

Господи, убереги нас от людей, зверей и от технического прогресса! Развеется ли когда-нибудь пелена и я познаю истину о самой себе, которая приносит понимание и свободу, или мне придется вечно барахтаться в неумолимом потоке сансары? Нужно испытать разные ритмы, войти с ними в резонанс, иначе так и будешь, как неприкаянный Джек, на сквозняке и юру блуждающий по свету с тыквой на голове, — смотреть на людей и видеть в них сборище безумцев.

Я шла по улице, меня обтекали прохожие, такие пресные, такие непраздничные, не на чем сердцу успокоиться, ей-богу! Смеркалось, у дверей аптечного домика толклись двое бродяг, два заплутавших, растерянных существа. У одного из них явно наметился ко мне интерес. Он двинул навстречу мелкими шажками на негнущихся ногах и встал передо мной, как лист перед травой.

— Опа! — глаза его лихорадочно заблестели, он радостно присвистнул и расплылся в улыбке. — Знакомые всё лица! Ведь это про тебя писали, что ты стырила бутылки? Нет, реально пришлось горбатиться по сто часов за жбан? Ну ты попала! Значит, на свободе? С чистой совестью? Слушай... тут мой корешок на краю могилы, мотор у него шалит, — он показал на друга, а тот закивал головой, жалобно улыбаясь, и схватился за печень. — Возьми нам пару фанфуриков?

— Что?

— Два пузыря боярышника! Нас туда не пускают, а с твоей физией везде зеленый свет... Пару флакончиков — пока этот сударь не окочурился!..

Второй вагабонд застонал и прислонился к стенке. Ну прямо вылитый мой стародавний приятель Олег Севастья-

## Марина Москвина

нов в роли Эстрагона из пьесы Беккета «В ожидании Годо». Пыхтя и тяжело вздыхая, он принялся зачем-то стаскивать ботинки и театрально шевелить пальцами ног.

А надо заметить, с возрастом у меня появился какой-то бзик. Вот я слоняюсь по улицам и переулкам детства, юности, забредаю в кафешки, жую овсяные коржики, слушаю музыку, глазею на прохожих и — экая идиотина! — в девчонках и мальчишках вдруг узнаю своих одноклассников и однокурсников, причем еле сдерживаю себя, чтобы не вскочить, не побежать, не окликнуть...

«Олег Севастьянов!» — проносится у меня в мозгу. Кто может еще с таким невероятным усердием стаскивать башмак, с такой безрассудной надеждой заглядывать внутрь, шарить там рукой, переворачивать и трясти и пытаться потом на земле отыскать хоть что-то, рожденное голой пустотой.

Вот-вот зазвучит реплика Владимира:

— ... Давно уже... я спрашиваю себя... кем бы ты стал... без меня... Ты бы сейчас был просто мешком с костями, можешь не сомневаться!

— Возможно, — произнесет не спеша Эстрагон. — Мне помнятся карты Святой Земли. Цветные. Очень красивые. Мертвое море было бледно-голубым. Лишь только взглянув на него, я чувствовал жажду. Я говорил себе: «Мы поедем туда на наш медовый месяц. Мы будем плавать. Мы будем счастливы».

— Тебе надо было стать поэтом, — это Диди.

— Я им был, — *Гого (Эстрагон)* показывает на свои лохмотья. — Разве не видно?..

В театре Ермоловой во время спектакля, который я раз двадцать смотрела, не меньше, зрители толпами поднимались и покидали зал, громко хлопая дверьми.

Буфетчицы жаловались Олегу:

— Что вы там показываете? Они уходят до антракта, не покушав. Кто такой Беккет? Публика спрашивает у нас, а мы не знаем!

В «Гамлете» он сыграл тень отца Гамлета. В фильме «Смирненное кладбище» исполнил роль могильщика. В областном ТЮЗе играл пьяницу в пьесе Горького «На дне». Он звал меня «светом своих очей», писал мне письма и сочинял стихи.

Я вытащила из кармана кошелек. Тот был пуст, как башмак Эстрагона.

— Мы их потеряли? — спрашивает Диди.

— Мы их разбазарили, — отвечает Гого.

— А ты просто так возьми, — сказал мне Диди. — Заглянешь, вроде по делу, а там, в углу, слева, коробки, только что привезли и поставили, я видел.

*... Не будем тратить время на пустые разговоры, — всплыл в моей памяти скорбный беккетовский монолог. — Сделаем что-нибудь, раз представляется случай. Не каждый день мы бываем нужны кому-то. Конечно, призыв, что мы услышали, адресован не нам, а всему человечеству. Но в этот момент и на этом месте человечество — это мы, нравится нам или нет. Воспользуемся, пока не стало слишком поздно. Достоинство представим те отбросы общества, с которыми сравнила нас беда.*

Я открыла дверь и вошла в аптеку. В окошке за стеклом сидел рыжий провизор и смотрел на меня: чего, мол, надо? Не узнал, уже хорошо. А кто будет читать извинения, тем более без портрета? Я так волновалась, что названия лекарств повывлетели у меня из башки. Спокойствие. Где наша не пропадала? Везде пропадала! — как говорит старик-отец.



## Марина Москвина

— Мне, пожалуйста, панангин, — твердо говорю, пытаюсь унять дрожь в коленках, — аналгин, аспирин, санорин, валерианку, пустырник, валокордин, валидол, фитолакс... Долголет, нестарин и, — чуть не выпалила я напоследок, — ...геронтодог.

Последнее время я часто беру эту троицу: долголет — учителю, нестарин — себе и геронтодог сеттеру Лакки. Главное, не перепутать — кому что!

Аптекарь пошел шарить по ящичкам. И тут возник образ неких вихревых сил, меня словно подхватило восходящим потоком — в конце концов, общая картина уже нарисована в пространстве и во времени, мы видим только малую ее часть, и выбора нет, есть только уникальная возможность! Сама не помню, как я оказалась в углу около пирамиды коробок. Верхняя была приоткрыта, я сунула туда руку, схватила три пузыря и выскочила на улицу.

Какое же требуется от человека терпение и мужество иметь дело с мистерией в мельчайших ее проявлениях, искать совершенство в любых ее элементах, когда всё только и пытается тебя поймать в ловушку, пленить, лишит способности внять высшему зову!

Из куста отцветшей персидской сирени махали мне Диди и Гого, я, пробегая, сунула им фанфурики и бросилась через дорогу. На крыльцо выскочил провизор, полы его белого халата развевались на ветру:

— Держи воровку! Она украла лекарства! — кричал он. — ...!!!

Я неслась в темноту, сквозь какие-то заросли и бурелом, по бульвару, от дерева к дереву, я, кстати, довольно быстро бегаю для своих лет, в ушах у меня ревели тибетские снежные львы, пели трубы, гремели барабаны. Аптекарь, види-

мо, не рискнул бросить без присмотра свой магазинчик. С галопа я перешла на рысь, потом на шаг, сердце мое бешено стучало, я шла и шла, без цели, без смысла, пока ноги сами не принесли меня к Учителю. Как я очутилась в его дворе, не помню ни метро, ни трамвая, ни перекрестка, ни детской библиотеки, где мы с ним не раз выступали. Сколько же времени прошло с нашего последнего разговора? Он мне рассказывал тогда, что его жена Лидочка уехала в Израиль навестить брата, а дочка в командировке.

— И вы ночуете один? — спросила я обеспокоенно.

— Ну, это я пока еще умею, — ответил он.

На мой звонок вышла незнакомая женщина и оглядела меня с головы до ног. Всклоченное существо предстало перед нею, рваные штаны, грязные ботинки. Она провела меня на кухню и налила стакан кагора. Это была истинная сестра милосердия.

Учитель сидел в кресле, излучая сияние во всех направлениях. Голова чуть наклонена, на устах улыбка, взгляд скользил над моей головой, как будто вверху ему явлено было что-то незримое, чего не видят окружающие. Я взяла его за руку, стала что-то объяснять, изливать обиды, которые накопились в моем сердце за эти луны, я читала ему его стихи, говорила: «Так скучаю по вас! Я скучаю по вас!» А он глядел на меня откуда-то издалёка-далека, не человек — а мировой космос.

Я шла к метро, в спину светила мне звезда, я прямо затылком чувствовала ее далекий тусклый свет. И тут что-то случилось, чего я не понимаю даже сейчас... Вдруг звездный луч пронзил меня насквозь, Небеса разверзлись, и глас Годо раздался с вышины:

— Так это ты украла две бутылки?

## Марина Москвина

— Нет, сэр, я украла пять, — призналась я как на духу.

— Фанфурики не считаю, они для спасения ближнего... — произнес Он и торжественно добавил: — Я прощаю тебе, Москвина, эти две бутылки!

Боже милостивый! Всё рассеялось, исчезло, как наваждение, как сон и мираж, будто снесло порывом ноябрьского ветра. Стало тихо, деревья склонились надо мной, выстилая тени перед ногами. И вдруг пошел снег, первый снег в этом году. Дорога стала белой и чистой, как писчая бумага. Я оглянулась посмотреть на свои следы.

Но их не было, вокруг лежал только ослепительно белый снег.

# Александр Генис

## Уколы счастья

*Et in Arcadia ego*

Когда мне было хуже всего, я выпустил книгу с вызывающим для судьбы названием «Сладкая жизнь».

— Купающийся в счастье эмигрант... — начинался брезгливый отзыв московского критика.

Я не стал читать дальше, зная, что счастливых на родине не любят. Римская фортуна предпочитала наглых, русская — убогих. Боясь сглаза, мы готовы портить себе жизнь, чтобы не доставить это удовольствие другим. Теперь это называют «бомбить Воронеж», раньше — «порвать рубаху, чтобы в драке не порвали» (Валерий Попов).

Да и как иначе. Случай — слепое животное, которое сторожит тебя за каждым поворотом, даже если идешь по прямой. От ужаса перед ним мы готовы заранее сдаться горю. Сам я, не зная, как уцелеть, соорудил ограду от несчастий, выстроив ее из мелких удовольствий.

— Учись находить радости, — вычитал я у одного китайского мудреца, — счастья всё равно не добьешься.

## Александр Генис

Сделав эту сентенцию девизом, я развожу радости, как другие аквариумных рыбок. Читаю только то, что нравится, встречаюсь с теми, кто приятен, смотрю куда хочу и ем что вкусно. Перестав себя воспитывать, я вступил в перемирие с жизнью, сделав ее сносной. Но счастье — это нечто другое. Внезапное и нелепое, оно измеряется мгновениями, не забывается и ничего не дает. Случаясь с каждым, оно приходит неизвестно откуда и никогда не забирает нас с собой. Я знаю, я там был.

### С добрым утром!

Спальня родителей на ночь отделялась от гостиной изысканными французскими дверями с бесценными матовыми, как в бане, стеклами. Их вышибал ногой отец, когда в доме разыгрывался скандал. Так он определял высшую точку ярости. После этого ссора переходила в ледяную стадию молчания. Этого отец вынести не мог. Он становился на путь согласия и примирения, который венчала реставрация. Разбитые стекла вставляли всей семьей. Для этого надо было обмерить рамы, достать по знакомству само стекло и разрезать его настоящим алмазом в специальной мастерской, которая жировала на несчастных школьниках, периодически разбивавших окна мячом. После этого стекла надо было вставить на место и закрепить рыжей оконной замазкой.

В перестройку американские филантропы отправили в детские дома России самый калорийный продукт: арахисовое масло. В России обиделись, решив, что им послали оконную замазку, но если в России не знали, что такое арахис, то в Америке никто не видел замазки.

Рижское утро было нерешительным и необязательным. Оно начиналось не с восхода, а с того, что открывались французские двери и включалось радио.

— «С добрым утром», — говорило и шутило оно, и это значило, что наступило воскресенье, которого я горячо ждал всю неделю, хотя еще не ходил в школу.

Я нырял в постель к родителям, зная, что до завтрака далеко, да и есть мне не хотелось. Меня мучил иной — интеллектуальный — голод, и воскресное утро существовало для того, чтобы его удовлетворять.

Никуда не торопясь ввиду бесконечного выходного, отец доставал карандаш с резинкой — для исправления фальстарта — и журнал с кроссвордом. Это мог быть простодушный «Огонек», который выписывался для бабушки. Она страстно любила развороты с классической живописью, предпочитая всем школам те, где были букеты. Лучшие она выдирала, чтобы вышить такие же цветными нитками мулине. Нам доставались незатейливые кроссворды, где так часто повторялся вопрос «Спутник Марса», что напрашивался ответ «Энгельс». Об этом, впрочем, я прочел намного позже у И. Грековой.

— От игрека, — пояснил отец, который занимался моим образованием шутя и играя.

Но тогда, в постели, я еще умел читать только советскую фантастику, в основном — про Незнайку, а об остальном только слышал от мамы, которая делилась со мной всем прочитанным.

Так или иначе, «Огонек» не представлял труда, из-за чего праздник слишком быстро кончался. Но раз в месяц приходил любимый орган ИТР «Наука и жизнь», где печатался «Кроссворд для эрудитов». Он бросал вызов отцу, матери,

## Александр Генис

мне и Миньке, который устраивался в ногах, чтобы полюбоваться схваткой.

— Настоящая фамилия О'Генри.

— Портер, — хором кричали все, кроме Миньки.

Но это была только разминка. Дальше включался интеллектуальный мотор, который требовал решать уравнения и шахматные задачи, узнавать по цитатам умные книги, вспоминать названия старых фильмов, поэтических размеров, редких элементов и риторических тропов.

— Катахреза, — с наслаждением вписывал в клеточки отец; я вспомнил это слово, наткнувшись на него у Стругацких.

В этом турнире я был всего лишь зрителем, но меня безмерно увлекало происходящее. Весь мир готовился к тому, чтобы разлечься по клеточкам. На каждый вопрос был ответ. Я его еще не знал, Минька — тем более, мама — редко, даже отец, отточивший ум на Би-би-си, мог попасть впро�ак. Но где-то был кто-то, знавший всё, как в кроссворде: вдоль и поперек. Непознанное, чудилось мне, — тесный чулан знания, и я твердо верил, что когда подрасту хотя бы до четвертого класса, все мучившие меня вопросы станут ответами: и есть ли жизнь на Марсе, и когда наступит коммунизм, и как укрыть бабушку от смерти.

Счастьем, однако, было не знание, а предвкушение. Я жил накануне праздника и считал воскресное утро его репетицией.

— Are you happy? — спросили меня, когда я впервые приземлился в аэропорту Кеннеди.

— Не знаю, — честно признался я, не в силах правильно перевести вопрос.

Дело в том, что на английском он не имеет отношения к счастью, а означает: «Доволен? Ну и хватит с тебя».

Ты можешь быть харру сто раз на дню, и если у тебя это не получается, то хорошо бы поговорить с терпеливым человеком, пусть и без белого халата.

— Закройте глаза и прислушайтесь к себе. Вы ощущаете общую удовлетворенность жизнью? — спрашивает он.

— Какое там, — порчу я сеанс, — в темноте ко мне лезут неприятности и монстры, которые их приносят. Более того, всех их я знаю в лицо, а некоторых даже люблю.

Посчитав меня неизлечимым, терапевт посоветовал не закрывать глаза.

— В том числе, — уточнил он, — на окружающее, чтобы найти в нем источник того, что на вашем языке называется «счастьем».

Один раз я так и сделал.

## **Добрый день**

Мимолетный укол блаженства несовместим с политикой. Интимное, как оргазм, счастье не оставляет времени на рефлекссию. Тем удивительней, что я не помню даты счастливее, чем 21 августа 1991 года.

За два дня до этого в Москве начался путч, который тогда так не назывался. Никого это (происходящее) особенно не удивило. Для заставшего Пражскую весну поколения перестройка представлялась временным явлением — промашкой властей и передышкой для остальных (хочется конструкции сделать грамматически параллельными).



## Александр Генис

20 августа мой босс на радио сказал: «Прощай, свобода!», а я попросился в эфире с коммунизмом, ибо переворот перечеркнул надежду на его перестройку.

21 августа выяснилось, что мы оба не правы. Завершилась эпоха, до конца которой я не думал дожить. Теперь, пожалуй, и не доживу, но тогда я этого не знал и ощутил экстаз на почве политики. В один момент оказалось реабилитированным всё, что в меня тщетно вдалбливали в школе. Впервые слова, которые я стыдился произносить, обрели смысл и право на существование: народ, родина, свобода.

Когда попытка реставрации советской власти завершилась ее разоблачением, я гордо решил, что всё было не зря: Пушкин, Мандельштам, белые ночи. Как будто две страны — державная и моя — слились в одну. В краткий, как ему и положено, но острый до спазма миг я ощутил счастье солидарности с той нищей, бесправной, замордованной толпой, которая внезапно стала народом и защитила всё, что было дорого ему и мне. Я не знал, что такое бывает, потому что даже на футболе не умею болеть за своих, да и кто мне — свои? Но 21 августа они у меня появились. Мы говорили на одном языке и об одном и том же.

В тот день я второй раз в жизни пришел в редакцию, надев галстук. До этого я так поступил, когда Бродский получил Нобелевскую премию.

— Ты похож, — от удивления съязвил тогда Довлатов, — на комсомольского руководителя среднего звена.

— Я считаю этот день моим национальным праздником, — важно объявил я, и Сергей отстал.

На этот раз праздник был общим. Прижимистый Борис Парамонов подбил меня купить вскладчину ящик шампан-

ского и угощать коллег из восточноевропейских редакций, которые обычно выпивали в одиночку.

— Всё будет по-другому, — решили мы с Борисом и тут же затеяли радиоцикл «Веселые похороны».

План, однако, оказался преждевременным, режим обернулся зомби, и мы вернулись в привычное стойло цинизма и скепсиса. На память от иллюзии мне достался подарок друзей: камень из постамента поваленного Дзержинского. Как щепка с креста, этот обломок — свидетель чуда. Глядя на него, я перестаю стесняться того, что пережил.

Когда начались болезни, я задумался о борьбе с недугами. Медицина хороша в критических ситуациях и в больших дозах. В остальных случаях надо обходиться домашними средствами. Главное из них — оптимизм, который если не лечит, то уравнивает промахи здоровья. Поэтому мы с женой завели семейную Книгу радостей. От других она отличалась честностью: в нее действительно попадали только радости и ничего другого. Становясь частью домашней хроники, они выросли в цене и размере. Даже сам процесс выявления хорошего оказался поучительным и оздоровительным.

— Психическая жизнь не знает лжи, — утверждал Юнг.

— Раз так, — решили мы, — то радостью является любая мелочь, годная на то, чтобы ею поделиться.

Как то: зеленый борщ, приготовленный из добытого на Брайтоне шавеля; полнолуние на безоблачном небе; перцовка под форшмак; стихи друзей; фильм, стоящий того, чтобы его посмотреть с ними; поделки любимых животных; картина, которую хотелось бы унести с выставки; первые сморчки; и ландыши тоже.

## Александр Генис

Гостивший у нас товарищ стал свидетелем утреннего ритуала. Мы записывали в Книгу вчерашние радости, включая привезенную им же хреновую настойку.

— Каждое утро делаю то же самое, — удивился он, — только у меня книга не белая, а черная, в ней хранятся неприятности, свалившиеся на меня за предыдущий день.

— Зря, — раздулся я от гордости, — всё на свете забывается, но если бедам туда и дорога, то удачи надо хранить, собирать и лелеять, чтобы мы могли оценивать собственную жизнь по ее лучшим, а не худшим проявлениям.

Но радость, как уже было сказано, не счастье, а его суррогат.

### Спокойной ночи

— Я ненавижу настоящее, боюсь будущего и люблю прошлое, — говорил Оруэлл.

Когда я наконец пошел в школу, мне не рассказывали про Оруэлла, но я сходил с ним в неприязни к настоящему. Прошлого у меня практически не было, а в будущее я, начитавшись всё тех же Стругацких, стремился всеми фибрами малолетней души.

Теперь всё поменялось. Я не люблю своего прошлого и, когда никого нет рядом, тихонько вою, вспоминая нелепые глупости, которые сделал, сказал или написал. Что касается будущего, то оно перестало меня волновать, и не только потому, что от него мало осталось. Перемены, которых в школе я так ждал, теперь меня тревожат, грозя оставить не у дел. Я знаю, что будет, понимаю, к чему идет, и меня не утешает даже перспектива жить вечно.

## Уколы счастья

— Согласны ли вы на бессмертие, — спрашивал Гессе, — если его разделит с вами мерзавец-начальник и шумный сосед?

Разочаровавшись в прошлом и будущем, я живу наедине с настоящим, и самое трудное — его задержать. Вместо светлого будущего меня слабо греет надежда на такое же, как сегодня.

— Не надо лучше, — бормочу я под нос, — пусть как сейчас, не надо лишнего, пусть будет, что есть.

Когда Бог слышит, ничего не меняется, а если не слышит, то Его нет — то ли вообще, то ли дома. Лучшие дни проходят так быстро, что я уподобляюсь нашим кошкам, не умеющим отличать вчера от завтра.

Может, это оно и есть? И тогда не надо ловить момент, а выбрать любой, когда не страшно, и назначить его счастливым. Например — этот.

Я сижу в любимом кресле, изрядно потрепанном когтями, возле елки, украшенной небьющимися — из-за тех же котов — игрушками. За окном в раннем декабрьском закате светится выпавший ночью снег. У локтя столетняя чашка английского фарфора с китайским чаем. По радио еле слышный прохладный джаз. Вечером будут гости, а потом — наполовину прочитанная книжка про Венецию. Но пока я пишу что хочу, о том, что люблю. Пишу от руки, то вдоль, то поперек линованной страницы, не для себя, не для других, а потому, что никогда ни о чем другом не мечтал.

Остановись, мгновение, я выхожу.

*Нью-Йорк, декабрь 2017*

## Об авторах

**НАРИНЭ АБГАРЯН.** Прозаик, автор серии книг о девочке Манюне, романов «Люди, которые всегда со мной», «С неба упали три яблока», сборников прозы «Зулали» и «Дальше жить». Рассказ «Ангелы» написан специально для сборника «Счастье-то какое!».

**ЕВГЕНИЙ БАБУШКИН.** Прозаик, поэт, театральный критик, блогер. Автор книг «Песенка песенок», «Сказки для бедных», «Библия бедных». «Сказка про серебро» написана специально для этого сборника.

**ПОЛИНА БАРСКОВА.** Поэт и филолог, живущая в США. Автор книг «Методу», «Эвридей и Орфика», «Живые картины» (книга удостоена премии Андрея Белого), «Хозяин сада», «Воздушная тревога».

**КСЕНИЯ БУКША.** Прозаик, поэт, журналист. Автор книг прозы «Жизнь господина Хашим Мансурова», «Мы живем неправильно», «Рамка», «Открывается внутрь», «Мое лимон-

## Об авторах

ное дерево» — под псевдонимом Кшиштоф Бакуш, биографии Казимира Малевича для малой серии «ЖЗЛ» и романа «Завод “Свобода”», удостоенного премии «Национальный бестселлер».

**МАТВЕЙ БУЛАВИН.** Выпускник “Creative Writing School”. Лауреат Волошинской премии в номинации «драматургия» (2017).

**ДМИТРИЙ БЫКОВ.** Прозаик, поэт, журналист, литературный критик, теле- и радиоведущий. Автор романов «Оправдание», «Орфография», «Остромов, или Ученик чародея», «Июнь». Лауреат премий «Большая книга» (дважды) и «Национальный бестселлер» (дважды).

**ЯНА ВАГНЕР.** Прозаик, переводчик. Автор романов «Вонг-озеро», «Живые люди», «Кто не спрятался».

**ТИМУР ВАЛИТОВ.** Выпускник “Creative Writing School”, студент магистерской программы «Литературное мастерство» НИУ ВШЭ, финалист премии «Лицей», победитель Российско-болгарского литературного конкурса для молодых прозаиков и переводчиков.

**МАРИНА ВИШНЕВЕЦКАЯ.** Прозаик, автор сценариев более 30 анимационных и документальных фильмов, книг прозы «Вышел месяц из тумана», «Увидеть дерево», «Опыты» и романа «Вечная жизнь Лизы К.». Эссе «Что есть счастье» — из неопубликованной части цикла «О природе вещей».

**ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ.** Поэт, эссеист. Автор восьми книг стихов и сборника эссе «Воденников в прозе»; «король поэтов», ведущий программы «Поэтический минимум» на «Радио России».

**ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН.** Прозаик, доктор филологических наук. Автор романов «Соловьев и Ларионов», «Лавр»

## Об авторах

(удостоен премии «Большая книга») и «Авиатор» (вторая премия «Большой книги»).

**СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ.** Поэт, прозаик, эссеист. Автор нескольких книг лирики и книг прозы: «Трепанация черепа», «НРЗБ», «Бездумное былое». Лауреат ряда литературных премий.

**АЛЕКСАНДР ГЕНИС.** Писатель, эссеист, радиоведущий. Совместно с Петром Вайлем написал книги «1960-е. Мир советского человека», «Родная речь», «Русская кухня в изгнании». Автор бестселлеров «Довлатов и окрестности», «Камасутра книжника» и «Обратный адрес». Текст «Уколы счастья» написан специально для сборника «Счастье-то какое!».

**ИРИНА ЖУКОВА.** Выпускница “Creative Writing School” (CWS), кандидат экономических наук, преподаватель в CWS для детей.

**ЕКАТЕРИНА ЗЛАТОРУНСКАЯ.** Выпускница “Creative Writing School”. Публиковалась в журналах “Сноб”, “Сеанс”, “Interview”, “Идиотъ” Петербургский журнал и др.

**КАТЯ КАПОВИЧ.** Русский и американский поэт, прозаик, редактор. Лауреат «Русской премии». Автор книг «Свободные мили», «Веселый дисциплинарий», «Вдвоем веселее».

**ТАТЬЯНА КОКУСЕВА.** Прозаик, преподаватель русского языка и литературы. Выпускница “Creative Writing School”.

**ЕВГЕНИЯ КОСТИНСКАЯ.** Литератор, экономист, кандидат экономических наук. Выпускница “Creative Writing School”.

**МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ.** Литератор, выпускник “Creative Writing School”.

## Об авторах

**МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ.** Прозаик, академический руководитель магистерской программы «Литературное мастерство» в НИУ ВШЭ, создатель и руководитель “Creative Writing School”. Автор книги «Современный патерик», романов «Бог дождя» и «Тётя Мотя», сборников рассказов «Плач по уехавшей учительнице рисования» и «Ты была совсем другой».

**АННА МАТВЕЕВА.** Прозаик, журналист, драматург. Автор романов «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Есть!», «Завидное чувство Веры Стениной», сборников рассказов и книги о екатеринбуржцах «Горожане». Рассказ «Ида и вуэльта» написан специально для сборника «Счастье-то какое!» и войдет в новую книгу А.Матвеевой «Спрятанные реки».

**МАРИНА МОСКВИНА.** Прозаик, детский писатель, радиожурналист. Автор романа «Крио», сборника рассказов «Моя собака любит джаз» и множества книг для взрослых и детей. Рассказ «Глория мунди» написан специально для сборника «Счастье-то какое!».

**ЕВГЕНИЯ НЕКРАСОВА.** Прозаик, сценарист. Печата-лась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Урал», «Искусство кино». Лауреат премии «Лицей» за книгу «Несчастливая Москва», автор романа «Калечина-Малечина». Рассказ «Лакшми» написан специально для сборника «Счастье-то какое!».

**СЕРГЕЙ НОСОВ.** Прозаик, драматург. Автор романов «Хозяйка истории», «Грачи улетели», «Дайте мне обезьяну», «Франсуаза, или Путь к леднику», «Фигурные скобки» (премия «Национальный бестселлер»), «Тайной истории петербургских памятников» и сборника малой прозы «Построение квадрата на шестом уроке».



## Об авторах

**ЛЕВ ОБОРИН.** Поэт, переводчик, литературный критик. Автор нескольких книг стихов, лауреат премии журнала «Знамя». Редактор образовательного проекта «Полка», редактор серии «Культура повседневности» издательства «Новое литературное обозрение».

**ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ.** Литератор, драматург, сценарист. Автор пьес «Наташина мечта», «Жанна», «Земля Эльзы» и многих других, лауреат премий «Голос поколения», «Дебют», «Евразия», «Новая пьеса» (в рамках «Золотой маски»), «Арлекин», «Текстура». Рассказ «Кредит» написан специально для сборника «Счастье-то какое!».

**ИГОРЬ САХНОВСКИЙ.** Прозаик. Автор романов «Насущные нужды умерших», «Человек, который знал всё» (по роману снят одноименный фильм), «Заговор ангелов», «Свобода по умолчанию».

**АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ.** Прозаик, драматург, сценарист. Автор романов «Я — не я», «День денег», «Победительница», «Они», «Неизвестность» и многих других.

**МАРИЯ СТЕПАНОВА.** Поэт, прозаик, эссеист, автор десяти книг стихов, двух книг эссе и документального романа «Памяти Памяти», лауреат ряда российских и иностранных литературных премий. Главный редактор сайта COLTA.RU.

**МАРИНА СТЕПНОВА.** Прозаик, редактор, переводчик. Автор романов «Хирург», «Женщины Лазаря» (удостоен премии «Большая книга»), «Безбожный переулочек» и книги рассказов «Где-то под Гроссето». Текст «Эфир» предоставлен специально для сборника «Счастье-то какое!» и войдет в новый роман М.Степновой.

**СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ.** Прозаик, журналист, депутат Государственной думы. Автор биографии В.П.Катаева в серии

## Об авторах

«ЖЗЛ» (удостоенной премии «Большая книга»), романов «1993», «Книга без фотографий», «Птичий грипп» и книги рассказов «Свои».

АЛЕКСАНДРА ШЕВЕЛЕВА. Журналист, литератор. Выпускница факультета журналистики МГУ и “Creative Writing School”. Работала редактором журналов “Esquire” и “The Village”, ведет телеграм-канал для кудрявых людей «Так и ходи».

*Литературно-художественное издание*

## **СЧАСТЬЕ-ТО КАКОЕ!**

**В прозе и стихах**

Составители *Майя Кучерская, Алла Шлыкова*

16+

Главный редактор *Елена Шубина*

Редактор *Алла Шлыкова*

Художник *Андрей Рыбаков*

Корректоры *Ольга Грецова, Андрей Иванов*

Компьютерная верстка *Елены Илюшиной*

Подписано в печать 06.04.2018. Формат 60х90/16.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 27.

Тираж 5 000 экз. Заказ 3832



<http://facebook.com/shubnabooks>



<http://vk.com/shubnabooks>

ООО «Издательство АСТ»

129085 г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 1, комната 39

Наш электронный адрес: [www.ast.ru](http://www.ast.ru)

E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)

«Баспа Аста» деген ООО

129085 г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 1 кұрылым, 39 бөлме

Біздің электрондық мекенжайымыз: [www.ast.ru](http://www.ast.ru)

E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;

E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Отпечатано с готовых файлов заказчика в АО «Первая Образцовая типография», филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ» 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Милости просим. Заходите в пестрый мир нового русского счастья. Вы и сами не заметите, как в погоне за его призраком окажетесь в сладком уединении, в чужом городе – однако ненадолго; как поколотите замучившего всех гада, как с перехваченным от ужаса горлом будете ждать рождения нового человека,



В ПРОЗЕ И СТИХАХ

*Сергей  
Носов*  
*Агорь  
Сахновский*  
*Сергей  
Тандлевский*  
*Марина  
Москвина*  
*Марина  
Вишневецкая*  
*Алексей  
Слаповский*  
*Евгения  
Некрасова*  
*Арслава  
Пулинович*  
*Ксения  
Букша*  
*и другие*

как встретите брата из армии, жадными ложками будете глотать розовый свадебный торт, запивая испанским хересом, – словом, заживете жизнью героев всех помещенных в сборнике историй и из всех переделок внезапно вынырнете счастливым...

СОСТАВИТЕЛЬ **МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ**